

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (461)

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Валерий Шубинский. «Роланд кричит на смерть из рогового рупора...» *и др. стихи....3*
Сергей Шикера. Египетское метро. *Роман.....9*
Елена Михайлик. «В новом сладостном вкусе...» *и др. стихи.....134*
Григорий Стариковский. «кривизна облезлых заборов...» *и др. стихи.....139*
Владимир Тучков. Русский холод. *Надуманное.....144*
Вадим Месяц. Преступление и наказание. Шинель для Лейбы. *Рассказы.....164*
Егор Фетисов. В противоположную сторону. *Рассказ.....170*
Вадим Шамшурин. Вокруг кошки. *Рассказ.....171*
Герман Власов. «Теряет, кто боится потерять...» *и др. стихи.....173*
Феликс Чечик. «под какую мелодию примем...» *и др. стихи.....178*
Рафаэль Шустерович. Скворечник №13. *Стихи.....180*

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Самовар лоцмана Воронина. *Окончание.....184*

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Виктор Селезнев. Социалистическая утопия или социалистический реализм? *Сон Веры Павловны, или Явь XX века*
Публикация Елены Селезневой.....209

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Анна Сафронова. Живое дело Виктора Селезнева
А. Сухово-Кобылин. Дело: драма в пяти действиях / Комментарии В. М. Селезнева, Е. С. Калмановского, послесловие В. М. Селезнева.....214

Алексей Александров. Варианты прочтения
Іванів В. Себастиан и в травме.....216

Сергей Трунев. Алексей Григорьев: неслучайность случайного
Алексей Григорьев. Книга случайных чисел. Стихи.....217

Андрей Пермяков. Частности
Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола; Александр Ильянен. Пенсия.....218

АРХИВ

Михаил Решетников. Книга воспоминаний *(Фрагмент)*
Публикация Олега Решетникова.....223

© «Волга», 2016

Валерий ШУБИНСКИЙ

***

Роланд кричит на смерть из рогового рупора
ему несет на блюдечке заря
кишки предателя как розовая руккола
и голубое сердце упыря

над пу́стынями черными, над белыми пустынями
тогда светало а теперь закат
и под гору идет с худыми свиньями
и холстяною наволочкой кат

труби дурак – что дальше? – рай: свечение
над тундрами лучистых батарей
труби труби – а дальше ад: лечение
в огне развоплотившихся царей

Роланд кричит на смерть но ей не страшно – гурии
ждут мавров там но больше никого
а страшно знать что вещи – аллегории
не означающие ничего

и страшно слушать как навроде кенара
кричит солдат сжимая кость слона
и фыркает на недотепу кесаря
напрасно победившая луна

и к ней идет палач с ненужною секиркою
за ним лиценциат с восьмеркою в уме
а следом наш начальник с новой дыркою
куда упасть тебе и мне и тьме

Памяти Дунаевского

кто прыгает к огню
кто ездит по коню
кто любит сердце капитана...

Валерий Шубинский родился в 1965 году, печатается с 1984-го, автор книг «Балтийский сон» (1989), «Сто стихотворений» (1994), «Имена немых» (1998), «Золотой век» (2007), «Вверх по теченью» (2012), многочисленных статей о русской поэзии, а также документальных биографий (Н. Гумилева, В. Ходасевича, Д. Хармса и др.). В 1980-е – участник содружества «Камера хранения», в 2002–2015 – один из кураторов сайта «Новая камера хранения».

смешное как смола
сухое как игла
больное сердце капитана

весь в штрипках и звездáх
в дакотских поездах
Эльбрус и марьинская бездна
зверям и городам
он говорил мадам
что смерти нет и неизвестно

кому пулять в висок
кого всосал песок
все любят песню капитана
нет вас он не винил
но под иглой винил
заводит песню капитана

и Африка и тьма
и Озрика жена
и Фортунатоса жилище
кто высосал коня
и бросил в столб огня
и вышел вон и выбил днище

Смерть П.

рыбки меленькие/пчелки маленькие
если хочешь то убей

развяжу рубашку если будешь паинькою
говорит алжирский бей

мечутся в глазах лягушки изразцовые
вспыхивают хитрые цветы

как приятны вещи как бы новые
после темноты

хороши в Эдеме водка и настурция
и любовь и фуа-гра

хороша Испания неплоха и Турция
хорошо что это не игра

прыгать с бабочками и собаками
в набегающей волне

разговаривать одними знаками
хорошо что это не

рукава развяжут вскорости
перестанут воду на голову лить

буду в лодке на последней скорости
к белой точке плыть да плыть

Восьмая баллада

донья Аня или дева Света
выйдет попросить у Боганета
свежую страну
зеркальце луну

зеркальце в котором Аня
видит сон-не сон:
двор какой-то на экране
золото больных осин
и луну в чьем свете Света
видит сизые болота
но средь их лилей
ты не всех белей

воздух для таких вот альбиносок
плохо скроен хоть и носок
слишком стоек чтобы спеть
слишком тонок чтобы спать

ночь растает время станет
серебряным деньком
куропатка с неба канет
речью ни о ком
от рассвета до заката
раздвигаются болота
между их лилей
воды всё гнилей

упадешь – вода пойдет кругами
тяжкими свинцовыми шагами
в дверь заходит Мойдодыр
насекомых поводырь

он летел сюда в прохладном теле птицы
после шел пешком
пересыпаны его ресницы

серым порошком
он пришел свое посеять семя
он теперь начальник надо всеми
высмотри его висок
бей наискосок

Стихи на упразднение и восстановление электричек

1
Что это? Вокзамок. Расписание.
Где твой поезд – до утра ищи.
Фонари с лучистыми усами и
неба суточные щи.

Фонарей-шнырей мигающие шарики,
циферблата грязная луна.
Теребя каталептические шарфики
ходит за ларьками шпанская шпана.

Подойдут с ухмылочкой, ответят что не спрошено
и отправят на икс-игрек или в пи
в полупоезде, идущем на Антропшино
по совхозной ледяной степи.

2
Что это? Тупик. Тугое несвечение.
Дырка. Ветер изнутри.
Где платформа – напряги-ка зрение,
где твой путь – поди-ка разбери.

Рельсы сходятся, расходятся, теряются
где-то в лобачевском далеке,
а оттуда – что-то простирается,
что-то длится, что-то виснет на руке.

Схватит замертво, едва лицо приблизь, оно,
было морок, станет долгий бред
и отправит на чугунке в Новолисино
к новым лисам на обед.

3
Что это? Вагон. В его чугунной полости
кожаные мерзлые скамьи.
Вётлы за окном летят на смертной скорости.
Где-то вышли все попутчики твои.

Брызжет и свистит в стекло дырявое
загородный воздух, ветер, ветр.

В лубяной степи за сотою заставою –
Пост Надцатый Километр.

И никто не знает, что там вспомнится
за тарелкою нещей,
что приснится, что за сон исполнится,
что подарят из вещей.

Воркута – Ленинград

Где кривые березы, как битые трефы,
Лежат по границам собачьей страны,
Где лысые елки, как лысые грифы,
Кричат на луну и боятся луны,

У чернолюдков их черное злато
Нам колами-кайлами западло отбивать.
Мы убежали, и теперь мы на воле,
И мы будем на воле вдвоем воровать.

Но косматые елки, как косматые графы,
Все тискают роман про мор и вину,
И весною под снегом просыпаются трупы,
Чтоб услышать известья про мир и войну.

И ползет этот поезд, и черное злато
Для войны и для мира везет в пустоту.
А где этот поезд? – ты спросишь когда-то.
Ах, где он, тот поезд. Давно уже тю-тю.

Ничего не осталось, остался лишь запах
Провезенного кем-то когда-то угля.
Он везде, он у гулек в натруженных зобах,
И однажды им станет родная земля.

Девятый каталог

Этот острый городок у реки урчащей,
это горка с на неё надетой тихой чащей,
трамвайчик делает тарах, умельцы точат лёд –
а кто там узкой улочкой под гору идёт?

Кто-кто там идёт? А ну, кто идёт?
Да-да-да, это мы, это мы с тобой!

Эти грязно-белые человечьи ульи,
эти на снегу следы песьи или гульи,
а кто это в железной коробочке хромой
сюда зимой приехал как домой?

Кто-кто? Кто такой, кто здесь теперь живет?
Да-да-да, это мы, это ты да я!

Эта яма в камени, и море в нее налито,
эта яма в небеси – горами она набита,
а кто здесь взял за моду идти ничком по дну
и в ясную погоду ловить сачком луну?

Кто у воды? Кто на горе? А, ну, кто там стоит?
Да-да-да, это мы, и там и тут – мы с тобой!

Этот луч, на конце – с длинною заточкой,
эта точка впереди – ну а что там за точкой?
Двести граммов музыки, кучевая вата –
это небо для кого не великовато?

Для кого оно как раз? По мерке оно для кого?
Это небо на двоих, а кто они? – ты да я.

Этот хлад машинный, этот жар протонный,
этот столп воздушный двадцатидвухтонный,
эта боль, что зайчиком прыгает по жилам –
для кого все эти ады, скажите мне, по силам?

Кто выдержит их? Кто одолеет их?
Нет, не я, нет, не ты, разве что мы с тобой.

Эта белая полость – зеро без предела,
где тело теряет голос, нет у голоса тела,
где атом рассыпается на вспышки просто так,
где Фатум просыпается и достает пятак –

Сейчас он полетит. Никто не знает пока,
что выпадет – решка или орел, кто выйдет – ты или я.

Сергей ШИКЕРА

ЕГИПЕТСКОЕ МЕТРО

Роман

I

Еще час назад это был поезд как поезд. Прибывающий в Одессу по расписанию ежедневный московский скорый. Готовились, не спеша, к выходу пассажиры, проводники разносили билеты, голосило поездное радио. А теперь в одном конце вагона, в купе, лежал труп, а в другом, в тамбуре, валялся связанный по рукам и ногам убийца. Минут сорок назад раздался короткий резкий крик и по коридору пронеслась проводница. За ней промелькнуло красное платье пассажирки из крайнего купе. Тягин слышал, как быстро набирает силу скандал, но поднялся только на истошное: «Мужчины, помогите!» Когда он подошёл, там, у открытого купе проводников, мешая друг другу, шумно возилось несколько человек, между ними металось красное платье. Под подошвой одного из участников свалки хрустнул катавшийся по полу стакан. Пройти дальше Тягину мешала проводница. Да он уже и был лишним. Молодого человека в изорванном красном платье, едва прикрывавшем крепкий торс, поставили на ноги. Тягин встретился с его замаянным взглядом. Парня развернули и потащили в тамбур. Запрокинув лицо, он фальшивым женским голосом закричал: «Меня зовут Александра!» Все пассажиры вышли из своих купе, и в узком коридоре было не протолкнуться. «Задушил, – услышал Тягин; и еще раз, – задушил». Впрочем, всё произошло так быстро, что никто, похоже, и заснять не успел; во всяком случае, ни одной поднятой руки с телефоном, направленным в сторону свалки, Тягин не заметил. Растрёпанная проводница принялась на весь вагон отчитываться об увиденном в последнем купе, надеясь, кажется, что её громкая уверенная речь сделает понятней случившееся:

– Только вошла, смотрю: труп. Сразу видно было: серый уже. Подумала, это он. Потому что она в красном платье спит на своей нижней. Ну, а как еще?! Их же там только двое ехало. Парень и она. В красном платье. Что я должна была подумать? Оба еще с короткой стрижкой. Какой цвет волос?! Я там чуть с ума не сошла, а вы мне про цвет волос! Вот я её бужу, а это он в её платье. А она лежит в его одежде!..

Напарник проводницы вернулся из тамбура с человеком в застегнутом кителе и фуражке и, зло толкаясь, провёл его к роковому купе. Заперев купе на ключ, человек в фуражке попросил пассажиров разойтись и после остановки поезда оставаться на своих местах. Тягин вернулся к себе, сел у окна. За мостом над Водопроводной открылась широкая дельта привокзалья со множеством переплетённых путей, и, переходя с одной колеи на другую, притихший поезд как будто нехотя приближался к зданию вокзала.

Размеренный, бьющий в ноги стук колес. Внятный скрип купейных перегородок в паузах. И в довершение несколько капель дождя, растекшихся по стеклу. Тягин качнул головой. Надо же. Дежавю.

Он еле дождался конца неторопливой, муторной процедуры расспросов и быстрым шагом вышел на людную платформу, в теплый сырой день. Дождь так и не начался, дул легкий свежий

Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. Публиковался в «Новом мире»; в «Волге» напечатаны роман «Стень» (2009, №9–10, 11–12), рассказы «Идущий против ветра. Записки неизвестного» (2010, №7–8), «Маклер» (2012, №9–10), роман «Выбор натуры» (2014, №3-4).

ветер – самое то после двадцати пяти часов, проведённых в пересушенном воздухе вагона среди запертых запахов. Из вещей у него были только нетяжелый рюкзак и небольшая брезентовая сумка в форме армейского планшета, и к дому в начале Канатной он решил идти пешком. Однако, оказавшись на привокзальной площади, вдруг передумал. В пустовавшую два года квартиру совсем не тянуло. У него было поручение из Москвы – передать деньги и несколько книг, и он поехал в Шампанский переулок. Тихая пожилая пара бывших университетских преподавателей угостила его чаем. Говорили они больше о Тягине и о Москве. Последних тутошних событий коснулись только вскользь и в самых общих чертах. Вот так и следует вести теперь здесь разговоры с незнакомыми людьми, отметил себе Тягин, таковы теперь здесь правила приличия.

Обратный путь он проделал вдоль моря. В переливах от свинцового до изумрудного, в холодных солнечных бликах, с гребнями пены вдоль волнорезов и у берега, оно ходило и волновалось так, будто его раскачали изнутри. На крепких, широко расходящихся лучах стояли до самого горизонта тяжелые низкие тучи. Тягин спустился, вышел на плотный и гладкий, штормами отутюженный песок, по которому, задыхаясь от счастья, носился черный щенок, и пошел вдоль кромки, мимо мокрых пирсов с рядами скучающих чаек. Надышавшись морским воздухом и перекусив в безлюдном кафе, он поднялся в город и вышел по Базарной на Канатную к началу сумерек. Опять заморосил дождь.

За то время, что он здесь не был, город обветшал ещё больше, и оттого ещё нахальней бросались в глаза рекламные щиты и яркие заплаты новостроев. В таких декорациях и при такой погоде и идущие по своим делам прохожие казались озабоченными и потерянными. Он подходил к улице Греческой, когда оттуда вывернула колонна – больше сотни человек с факелами, в камуфляже и масках. Они нестройно тянули какую-то, саму по себе вероятно бодрую песню, и в конце куплета разрозненно выкрикивали «Гей! Гей! Гей!». Тягин никогда не видел факельных шествий и, как и некоторые прохожие, остановился посмотреть. Когда толпа с ним поравнялась, песня закончилась, и сразу стал слышнее мрачный монотонный шум шаркающих об асфальт десятков пар тяжелой обуви. За марширующими шли люди в цивильном, было несколько детей; замыкала шествие крупная дворняга. Всё это на расстоянии, мигая и крякая, сопровождала патрульная машина.

Перед самым домом Тягин зашёл в магазин и купил хлеба, сыра, банку маслин, бутылку красного вина и кое-что на завтрак. К дому подошёл в восьмом часу. Когда он последний раз уезжал отсюда, весь двор сплошь был засыпан золотой листвой. Теперь всё выглядело куда скромнее: серенько и мокро.

Поднялся на третий этаж. Квартира встретила неожиданным приятным теплом, но, включив свет в гостиной, он огляделся и приуныл. Всего лишь пустая тарелка на столе, далеко выдвинутый стул и обрывок газеты на полу, а впечатление, будто квартиру покидали в спешке. Оставленная на два года без хозяев, она теперь словно глядела на него с укором. Всего же больше расстроили окна без занавесок и штор. В последний свой приезд он зачем-то отдал их соседке.

Когда Тягин вышел из ванной после душа, голые черные окна поразили его еще неприятней. Он походил по квартире и сел на выдвинутый стул. Прогулка по городу не помогла: половина его как будто так и осталась в Москве, а другая продолжала трястись в вагоне, в конце которого то и дело вспыхивало алое платье. Зачем это всё было, думал он, глядя в окно. Да еще именно в его вагоне. Для чего? Пополнение жизненного опыта? Чтобы теперь время от времени при случае рассказывать: «а вот помню, ехал я однажды из Москвы в Одессу...»? С нарастающей тоской он стал думать о том, какие страшные часы переживают сейчас близкие и убитой девушки, и сошедшего с ума парня, и этот накат хандры был не менее странен, чем первоначальное равнодушие. Нет, сидеть в укоризненной тишине почти чужой квартиры не хотелось. К тому же за сутки он вдосталь выспался, а значит предстояло маяться до глубокой ночи. И, прихватив вино, он отправился на Пушкинскую, к Тверязову.

Об убийстве в поезде, о котором Тягин с порога начал рассказывать, Тверязов уже знал.

– По нынешним временам это всего лишь один неприметный мазок в общей картине нашей жизни... – с едва различимой усмешкой и словно кого-то цитируя, произнес он.

Из коммунального коридора они вошли в полутемную комнату и сели за длинный стол у окна.

– Надолго? – спросил Тверязов.

– Не знаю. Продам квартиру и назад.

– Как вообще?

– Нормально. Тебе привет.

– Спасибо.

Помолчали.

– А у нас тут человек-свинья объявился, – сообщил хозяин.

Тягин не сразу и вспомнил этого легендарного персонажа городского фольклора более чем двадцатилетней давности.

– Опять?

– Герои городских мифов не умирают. Хотя, возможно, это уже какой-то другой. Может быть, преемник. Или даже сын. Человек-свинья юниор. Будущее предсказывает.

Заговорили о событиях последнего года, об общих знакомых. Говорил больше Тверязов. Тягин слушал без интереса. От здешних новостей он устал еще в Москве. К тому же он уже давно решил, что всё происходящее здесь не его дело.

В большой, с лепниной и высокими окнами, но донельзя захламленной комнате не было верхнего света, по углам ютились мелкие тусклые светильники, и обступавший полумрак, мороча Тягина, как будто не позволял ему без оговорок признать в собеседнике прежнего Тверязова. Как если бы в наружности того, кроме естественных изменений (он заметно похудел), произошли и некоторые невозможные. Прежде всего с глазами – они, казалось, стали ближе друг к другу, глубже и меньше, и оттого обычно рассеянно-усмешливый взгляд Тверязова превратился в неподвижный и настороженный. Как из подвала, снизу вверх. Тягин встречал такое выражение у завязавших наркоманов. Продолжая рассказывать об общих знакомых, Тверязов время от времени выходил за чем-нибудь в смежную с комнатой ярко освещенную кухню, и Тягину показалось, что происходит это всякий раз, когда он, Тягин, невольно начинает к нему приглядываться. По дошедшим до Тягина слухам Тверязов за те два с лишним года, что они не виделись, успел жениться и разойтись.

Усевшись, наконец, за стол, Тверязов подытожил:

– В общем, кто во что горазд.

– Ну а ты-то как тут? – спросил Тягин.

Тверязов пожал плечами.

– Живу себе. Повесть о голом и небогатом человеке. Продолжение.

– Погоди. А чем кончилось у вас с Абакумовым?

Это была скверная история. Тверязов выручил из беды их общего старого знакомого – одолжил крупную сумму. Когда подошёл срок возвращать долг, тот на пустом месте устроил громкую демонстративную ссору, объявил Тверязова негодяем, изобразил себя смертельно обиженным и под этим предлогом отказался платить. А потом и вовсе исчез. Тягин столкнулся с ним как-то раз в Москве.

– Да ничем, – нехотя ответил Тверязов. – Хотя он теперь опять здесь ошивается.

– А ты что?

– А! – махнул ладонью Тверязов. – Там, кажется, уже и срок расписки истёк... или вот-вот.

– Щедрый ты, такими деньгами разбрасываться. Он, кстати, где живёт, там же?

– Вроде бы да. У него там еще сосед Бурый. Помнишь такого?

– Художник?

– Да. Говорят, в Киеве на Козьем Болоте Леконт де Лилля читал восставшим.

– Красиво.

Когда они распили бутылку вина, Тверязов побежал в магазин. Пока его не было, в дверь постучали, и женский голос позвал: «Саша?» Вернулся Тверязов довольно скоро; тяжело дыша, повалился в кресло. Тягин сидел, заложив руки за затылок и вытянув ноги.

– Что-то не идёт из головы тот парень в красном платье, – сказал он. – В ту минуту вдруг показалось, что сейчас то ли я его узнаю, то ли он меня. Именно так – не друг друга, а кто-то один. Странное ощущение. Какое-то муторное...

– Добро пожаловать в Одессу!

Скосив глаза, Тягин неодобрительно посмотрел на бутылку водки в руке у Тверязова. Тот быстро открутил крышку, разлил и, еще не отдышавшись, как бы торопясь, заговорил:

– Вот ты спрашиваешь: как тут. Я бы сказал: всё как-то очень неожиданно. Ужасно неожиданно.

– Что, например?

– Я же говорю: всё. Вообще всё. Касается жизни в целом. Пусть всё происходит последовательно, по какой-то своей естественной логике, одно вытекает из другого и так далее... а в итоге всё равно неожиданно. Такая вот ерунда. Давай. – Они выпили и Тверязов продолжил: – Ну, вроде как садишься выпивать в хорошем настроении с приятными людьми, всё так тепло, мило, душевно, и вдруг, в какой-то момент – бах! – обнаруживаешь, что всё вокруг чужое, злое и жуть какое опасное... и как выбираться хрен его знает...

– Хвёдора видишь?

– Заходит иногда. Больше по телефону. Или вот еще как-то нафантазировалось, тоже, кстати, железнодорожное: какой-нибудь заснеженный полустанок в открытой степи, морозная ночь. Стоянка пара минут. С несколькими пассажирами выходишь покурить. Налегке, без шапки. Вокруг тишина, темень, в станционном здании ни огонька. Докурил, оборачиваешься, а на платформе никого нет, все разошлись по вагонам и двери закрыты. Стучишь – не открывают. А в окнах свет горит, люди ходят. Поезд трогается. И ту-туу! – поехал себе. Вот такое, да. – Тверязов вздохнул. – У меня таких мыслей, как у дурака махорки. Пора в монастырь уходить.

Тягин выпил рюмку и, в отличие от хозяина, больше не стал. Когда он поднялся из-за стола, чтобы уходить, Тверязов ринулся к двери, включил верхний свет и спросил его в спину:

– Роман не хочешь почитать?

– Роман? Чей?

– Мой.

Тягин коротко, закатив глаза, поморщился. Обернувшись, сказал:

– Конечно. Давай.

Тверязов тут же подошел и протянул Тягину рукопись. Тот посмотрел на пустую, в размашистых росчерках страницу и спросил:

– Как называется?

– Еще не придумал. Пусть пока будет «Хроники».

– Хроники?

– Хроники. В разных смыслах. – Помолчав, Тверязов добавил: – Там самое начало нулевых. Неплохое было время... Как оказалось. Правда, он не окончен.

– Так может, тогда лучше...

– Дают – бери. Может, я его и не закончу никогда. Или сожгу.

– Ладно. И это... ты пока не говори никому, что я приехал. Вообще никому. И Хвёдору тоже.

– Как скажешь. А ты по ночам меньше шастай.

В дверях, когда Тягин уже шагнул за порог, пьяный, горько-весёлый Тверязов его задержал:

– А с ночным поездом еще такой может быть финал. Бежишь следом, колотишь кулаком и, наконец, в последнем вагоне открывается дверь – вваливаешься, падаешь на пол и готов от счастья целовать ноги отворившему. Аж губы стереть об его холодные ботинки. Слушай! у меня тут грандиозная идея возникла, подарю, если хочешь. Можешь в Москве продать. К юбилею Достоевского. Скоро двести лет. Надо соорудить на орбите гигантскую штуковину, отражающую свет. Какую-нибудь там конструкцию или платформу. Чтобы с Земли по ночам это выглядело как лезвие топора. Спутник такой. Астрономы вычислят восхождение и захождение. Можно назвать РРР. Спутник р-ррр, – прорычал, качнувшись вперед, Тверязов. – Ничего, да? Ночной

привет от классика. А заодно и ответ на вечный русский вопрос: может ли в космосе случиться топор?

Когда Тягин подходил к дому, где-то в районе Соборной площади прогремел взрыв.

II

Утром Тягин первым делом позвонил в агентство, которое ему посоветовал недавно перебравшийся в Москву знакомый, и уже в середине дня прискакал Филипп – весёлый молодой человек, одетый во всё узкое, кургузое, с завязанным удавкой шарфом. Лёгкая картавость как будто ускоряла его и без того быструю речь. Приговаривая «окей-окей-окей», он вприпрыжку побегал по комнатам, и за какие-то пятнадцать минут они договорились о цене с учётом срочности продажи. Тягин дал ему вторые ключи на случай, если его дома не окажется. Первого клиента Филипп привёл в тот же день. На другой еще двух. У Тягина даже появилась надежда, что всё может произойти так скоро, как он и не мечтал.

Квартира Тягину досталась в наследство от отца, военного врача, умершего три года назад. Последний раз Тягин виделся с ним за полтора года до этого на похоронах матери. К тому времени он уже жил в Москве. Ему было девять или десять лет, когда отец от них ушел в эту квартиру к молодой красивой женщине. Тайком от матери Тягин ходил сюда какое-то время, потом, подростком, перестал. И уже много-много позже только слышал, что с новой женой отца случилась в Крыму беда, она потеряла в аварии ребенка, которым была беременна, покалечилась сама и потом довольно быстро угасла. Несчастье отца, ликующее злорадство – такое неожиданное, ужасное – всегда мягкой, доброй матери, когда она о несчастье узнала... – ничего этого не хотелось вспоминать, но разве здесь, в двух небольших комнатах с коридором и кухней это было возможно? Мало того, что квартира всегда казалась ему неприветливой и крайне неуютной, так сейчас она еще была вдобавок как-то странно, местами, опустошена. Не было штор, но в ванной висел его халат; книжные шкафы стояли неприятно пустыми (все книги подчистую вымел и увёз к себе в село Тверязов), но платяной был до сих пор забит отцовскими вещами...

На второй день Тягин навестил старого товарища отца, фельдшера, сослуживца по госпиталю. Он ходил за больным отцом последние дни и потом хоронил его, когда Тягин, поменяв адрес, ненадолго потерялся в Москве. Нашел его Тягин с трудом. Из своей двухкомнатной фельдшер переехал в однокомнатную неподалеку, и новые жильцы показали куда. Открывшая дверь женщина, которую Тягин принял за дочь фельдшера (он не видел ее много лет), только успела впустить его, как за ним быстро вошли двое юношей с мешками и, оттолкнув, прошли в комнату; там гремела музыка и был слышен шум швейной машинки. В коридоре было душно и пыльно. С криком: «Мальчики, мальчики!» женщина ринулась за мешочниками, и через минуту-другую вышла в сопровождении какого-то чучела в лохматом наряде лешего.

– Вот! – сказала она Тягину и обратилась к чучелу: – Света, покрутись, покажи. Можете зайти, там еще посмотреть.

– Это маскировочный костюм? – наконец сообразил Тягин.

– Да, для снайперов, – радостно закивала женщина, сделав ударение на «о». – Видите, как всё аккуратненько? Прямо ниточка к ниточке... Пощупайте.

Тягин потрогал.

– Вы ведь от Луценко? – спросила женщина.

– Нет, я сам по себе, – сказал Тягин и стал объяснять, кого ищет.

Женщина такого не знала и посоветовала Тягину обратиться к соседям, что он и сделал. Соседи направили его в дом напротив. Там выяснилось, что и они напутали. Наконец нашел.

Почти всё время, что Тягин пробыл у старика фельдшера, тот сидел нахохлившись, высоко сложив на груди руки и посторонним наблюдателем глядел на повернутую к нему боком шахматную доску, словно ждал отлучившихся игроков. Тягин его помнил веселым бородачом с трубкой.

Сейчас он был выбрит, и как-то слишком выделялась на его старческом лице непривычно голая широкая верхняя губа. В беседе (у него был всё реже встречавшийся старый одесский выговор) он то и дело пожимал плечами и недоверчиво, часто невпопад махал рукой. Привезенные Тягиным подарки, четыре пачки голландского табака и маленькую вересковую трубку, брать отказался: «Я своё откурил».

Тягин поделился первыми после двухлетнего перерыва безрадостными впечатлениями от увиденного, пожаловался на запущенность и какой-то внутренний упадок.

Старик раздраженно, всем телом дернулся.

– А что ты хочешь от города, в котором меньше года назад загубили полсотни душ? Так и будет. Им завтра плаху на Соборке поставят и начнут головы рубать, а они будут ходить и пожимать плечами... – и он обречено махнул ладонью.

Зато на сообщение Тягина о продаже отцовской квартиры одобрительно покивал, правда тут же предупредил:.

– Ты тут вообще потише будь и сильно не торгуйся. Бери сколько дают и тикай отсюда. Ты ж еще и журналист...

– Я всего лишь какой-то там обозреватель: кино, литература... К политике никакого отношения...

– Да кого это е**т! – нетерпеливо воскликнул фельдшер, впервые при Тягине матерно выругавшись. – Тикай, говорю.

Как и в прошлый раз, Тягин собирался кое-что спросить об отце и, как и тогда, настраивал себя, настраивал, но так и не решился. Так и ушел ни с чем.

– Противные времена настали, – говорил, провожая его, фельдшер. – С погодой тоже что-то не то. Раньше перед переменой поясницу тянуло, мебель трещала, аж подскакиваешь. А сейчас раз – и дождь пошёл. Ни с того, ни с сего. Или снег. Раз – и пошел. Без подготовки, без предупреждения, без ничего... как будто так и надо.

Следующие два дня Тягин провёл в одиночестве; слушал пластинки на старом проигрывателе и смотрел телевизор, чего не делал много лет. В углу стояли принесённые с балкона, кое-где тронутые ржавчиной двенадцатикилограммовые наборные гантели. Утром он бегал вдоль моря, во второй половине дня выходил прогуляться по парку или выбирался в город. Ужинать ходил за несколько кварталов, в ресторан гостиницы.

Лишь на пятый день Тягин почувствовал себя готовым встретиться с Хвёдором. Чтобы не блуждать по пересыпским переулкам в темноте, решил выбраться пораньше. Перед выходом он наскоро перекусил и только налил кофе, как с известием, что вот-вот, с минуты на минуту подъедет покупатель, примчался Филипп.

– Вы пока, если что, не говорите, откуда приехали, – попросил он.

– Это почему?

– Он москвичей не любит.

– Он, кажется, квартиру придёт смотреть, нет?

– Да! конечно! Но лучше подстраховаться. Очень капризный клиент. Занервничает еще, потребует цену снизить...

– ?!

– Вы давно здесь не были. Слушайте, а давайте еще проще? Сделаем вид, что вы глухой.

– Как?

– Глухой. Я ему скажу, что хозяин глухой. Или глухонемой. Вам как удобней? Меньше хлопот, честное слово. А то он вдруг поговорить с вами захочет, что-то спросит, а вы не то ответите. Нехорошо выйдет. Мне потом придётся оправдываться, а он под это дело начнёт цену сбивать... О! Приехал.

Филипп выхватил из кармана заверещавший телефон и побежал встречать, а Тягин вернулся в кухню. Пару минут спустя он услышал, как щелкнул замок и Филипп с покупателем вошли и прошли сразу в комнату. Речь покупателя была настолько густо пересыпана незнакомыми слова-

ми и насыщена шипящими (так, например, несколько раз произнесённое им «специально» звучало как «шпечьяльно»), что Тягин с трудом улавливал смысл. В кухню вошёл Филипп и, протянув руку, попросил глоток кофе. Тягин удивленно дал ему свою чашку. Между глотками Филипп кивнул в сторону комнаты и, поморщившись, покачал головой. Наконец он вернул чашку, и Тягин поставил её в раковину. В это время в дверях вместе с волной сладковато-горького запаха бесшумно появился одетый с иголочки покупатель и произнес:

– Слава Украине!

И в то же мгновение Филипп выкинул в его направлении ладонь и отчаянно гаркнул в тягинское ухо:

– Мыкола!

Вздрогнув от неожиданности и боли, Тягин ударил Филиппа кулаком в лоб, да так сильно, что тот, ухватившись двумя руками за голову, качнулся, присел и опустился на одно колено. Тягин, сам не ожидавший от себя такого, подхватил его под локоть. Филипп с виноватой улыбкой сообщил покупателю:

– Михайло дуже погано чуе...

Тягин посадил его на табурет и ушёл в комнату, так и не разглядев толком покупателя, успев лишь отметить маленькие блестящие глаза, тонкие губы и тяжелый нос сливой. Когда гости ушли, вызвал такси и стал собираться в дорогу.

Сразу за мостом, на Московской, он попросил водителя остановить и еще не успел закрыть за собой дверь, как к нему, словно она только его и ждала, кинулась цыганка.

– Мужчина! Парень!..

– Можешь не трудиться. Денег всё равно не дам, – осматриваясь, строго предупредил Тягин.

– Слушай, я тебе просто сказать хочу. Тебе пригодится, увидишь. У тебя сейчас очень тяжелая положения, – деловито начала цыганка.

– Так, гражданка, в чём дело? – вмешался подошедший постовой. – Почему пристаёте к прохожим? А ну, кыш!

– Не хочешь, как хочешь, – сказала цыганка Тягину и присоединилась к шумной ватаге своих товарок у дверей магазина.

Чувствуя лёгкую досаду от того, что цыганка не успела сказать больше, Тягин поблагодарил избавителя коротким кивком.

Он почему-то думал, что дом Хвёдора стоит в двух шагах от моста, за ближайшим углом, а оказалось, что от моста еще надо было идти и идти. К нужному двору в раскисшем от края до края переулке вышел в перепачканной обуви, с мокрыми ногами. В своей московской жизни Тягин как-то совсем отвык от таких пейзажей. Всё вроде бы хорошо знакомое, но, однако же, какая ужасающе грязная дыра! К тому же Хвёдора он не застал. Глупое минутное облегчение сменилось злым раздражением: придется переться сюда еще раз.

Домой Тягин вернулся усталым и замерзшим. Переодевшись, выпив чаю, взял тверязовскую рукопись и залез под одеяло. Плотные, желтоватые, чуть ворсистые листы (где он бумагу-то такую древнюю взял?), машинописный текст. И конечно первый экземпляр, он же, скорее всего, единственный. Саша Тверязов. Этим всё сказано.

Как там, он говорил, называется? Хроники? Ладно, хроники так хроники, разберемся.

Отвел первую, всю в росчерках страницу.

> Затворничество Фомина становилось отчасти понятным Фомскому всякий раз, когда он взбирался к нему на седьмой этаж по самой крутой, самой грязной и – когда перегорали лампочки – самой темной из всех известных ему лестниц. Фомский и сам, предвидя трудности возвращения, сто раз подумал бы, прежде чем отправиться в путь.
>
> Открыла домработница Фомина Марина – бойкая крашеная блондинка.

Зазвонил телефон. Это же надо: Тверязов.

– Как там мой роман? идет?
– Ну и чуйка у тебя. Не поверишь, но вот только что, минуту назад начал.
– Ну конечно! Да шучу я, можешь вообще не читать.
– Нет уж, я почитаю. Не мешай мне.
Тягин дал отбой.

Открыла домработница Фомина Марина – бойкая крашеная блондинка.

Опять телефон. Филипп.
– Завтра после пяти придем смотреть квартиру – вы будете?
– Думаю, да.
– Замётано. Тогда до завтра.

Открыла домработница Фомина Марина – бойкая крашеная блондинка.

Телефон. Опять Тверязов.
– Я чего звонил-то... Не хочешь в субботу на Староконный сходить, проветриться?
– Можно.
– Так я еще позвоню?
– Хорошо.
Ловко как обложил, усмехнувшись, подумал Тягин. Теперь хочешь не хочешь, а к субботе что-то придется прочесть. Он отложил телефон, и крашеной блондинке Марине с приставшей к ней фамилией Фомина пришлось открывать дверь в четвертый раз.

III

«Кофе? Чай?» – спросила она с порога.

«Потом. Дай отдышаться», – ответил Фомский и, раздевшись, прошел в комнату.

Фомин с книжкой лежал в халате на своей более чем двуспальной кровати.

«Привет, Фома», – поздоровался Фомский.

«А, Фома! Привет, – отозвался Фомин и обратился к вошедшей Марине: – Принеси нам мадеры и еще чего-нибудь».

Марина, кивнув, исчезла.

«Что читаем?»

«Роман Гадёныша».

«Как?»

«Гадёныш. Новый писатель. Наш, местный. Возможно, псевдоним. Я, точка, Гадёныш».

«Ну и как?»

«Ничего. “Человек-удав” называется. Терпимо. Лучше предыдущего».

«И о чем там речь?»

«Человек-удав, его зовут Станислав, питается людьми. Знакомыми и работниками коммунальных служб. Он их вызывает на дом, как пиццу. Вообще-то он писатель, и на тот момент пишет роман о писателе. У него мягкие кости черепа и, очевидно, всего прочего. Он сразу обхватывает пастью голову и потом лежит в кухне на полу и заглатывает жертву всё глубже и глубже. Происходит это довольно долго. Приляг».

Фомский подошел и прилёг в ногах у Фомина.

«Сначала жертва кричит, просит о помощи, а потом, смирившись, начинает, уже изнутри, рассказывать свою жизнь, в некотором смысле, исповедоваться. Постепенно речь жертвы становится всё глуше и тише...»

Фомский, прикрыв глаза, почесывал лоб над бровью (кухня, сумерки; в углу темнеет что-то вроде большого свертка; еле заметное движение, шур-шур, и далёкий сдавленный голос, слов не разобрать).

«...пока не затихает совсем. Такое вот познавательное пищеварение. Ничего, читать можно. Предыдущий, "Женщина-паяльная лампа", был послабее».

Вошла Марина и поставила между ними поднос с бутылкой португальской мадеры и блюдом с сушеными фруктами и орешками.

Фомин не выходил из дому несколько лет, с тех пор как его единственная разбогатевшая в браке сестра, десять лет назад уехавшая в Испанию, взяла на себя все расходы по его содержанию. Всегда имевший склонность к такому образу жизни, он, впрочем, сдался не сразу и еще целых полгода продолжал ходить на службу в гимназию, но с того дня, как уволился, больше из квартиры не выходил. Время от времени он порывался прервать свое затворничество, приурочивая это событие то к первой годовщине, то ко второй, а то и еще к чему-нибудь, но все как-то не складывалось. Последний раз он назначил выход на начало весны и продвинулся дальше чем всегда, то есть до самой двери. Он уже натягивал с Марининой помощью пальто, когда вдруг, сославшись на дурноту, передумал. Выход был перенесен на конец весны – начало лета.

И вот, в середине мая Фомин и Фомский лежали на кровати, попивали замечательную мадеру, и на этот раз у Фомского были основания полагать, что выход состоится.

«Ты по делу или так?»

«И так, и так».

«Интересно», – промолвил Фомин и закурил маленькую сигарку.

Помолчали. Три книжных шкафа, шифоньер, комод, еще две этажерки с книгами, кресло, столик, канапе, два глухо зашторенных окна, ковры – ничего, как и следовало ожидать, не изменилось, и взгляд Фомы, пройдясь по комнате, вернулся к Фоме.

«Ты ведь собирался где-то в этих числах выйти, помнишь?»

Фомин вздохнул и задумчиво покивал.

«Да... но... – опять вздох, – ой, не знаю...»

«У тебя появился повод, – сказал Фомский. – С тобой хочет поговорить Вера».

Фомин поднял брови.

«Есть телефон. И она может зайти, – сказал он. И добавил: – В крайнем случае».

«Может. Но не хочет. Она хочет, чтобы ты приехал к ней. Завтра».

«Она с ума сошла? С чего вдруг? Я...»

В комнату вошла Марина. Широко расставив ноги, она наклонилась и провела ладонями вниз по черным кожаным брюкам, потрясла ногами, расправляя складки (и все-таки: спит он с нею или не спит?), сдула со лба челку и сказала:

«Я могу идти? Кофе в кухне на столе».

Фомин кивнул.

«До понедельника», – сказала Марина и вышла.

Фомин вопросительно уставился на Фомского.

«Пропал Сыч», – наконец сообщил тот.

«Давно?»

«Неделю назад».

«Ну и?»

«Фома, я ничего толком не знаю. Мне вчера позвонила Вера, сообщила, что пропал Сыч, и попросила, я бы даже сказал, потребовала, чтобы ты пришел к ней. Всё. Если хочешь, можешь ей позвонить, но я думаю, что она будет стоять на своем, то есть на том, чтобы ты приехал к ней. По-моему, у нее истерика».

«Ерунда какая-то...» – сказал Фомин; он погасил сигарку, лег на спину и, заложив руки за голову, прикрыл глаза.

«Да... что ж... видно, судьба», – тихо произнес он минуту спустя.

«Значит, я могу ей сказать, что завтра ты будешь?»

«Только при одном условии: один я не поеду, поедем с тобой».

«Хорошо, я ей скажу».

Когда через полтора часа Фомский уходил, они договорились с Фоминым вечером созвониться и условиться о времени встречи.

Выражение лица при этом у Фомина было очень грустным.

***

Чтобы понять причину, по которой Фома так легко согласился выйти из дому после нескольких лет (четыре? пять? – я уже счёт потерял) самоизоляции, надо бы, хотя бы в самых общих чертах, рассказать довольно запутанную историю его отношений с Верой и ее пропавшим мужем. Надо бы, конечно, но мне, честно говоря, лень. Если только очень коротко, по пунктам. Ну, в общем, когда-то мы втроем – я, Сыч и Фома – крепко дружили. Потом Сыч познакомился с Верой. Потом Фома увел Веру у Сыча и они поженились. Потом Веру потянуло заграницу, в Америку. В самый последний момент Фома передумал и решил никуда не ехать. Думается, что к тому времени он к Вере остыл и предпочел такое вот романтическое завершение их совместной жизни: дескать, она туда, а ему, не нашедшему в себе сил расстаться с родиной, пришлось остаться здесь. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон, но только в облагороженном, возвышенном смысле. Не вышло. Вера наотрез отказалась ехать без Фомы. Вскоре они разошлись, и Вера вышла замуж за Сыча, который только того и ждал.

В конце концов всё разложилось следующим образом:

а) Вера живет в полной уверенности, что Фома погубил ей жизнь;

б) Сыч, в свою очередь, пребывает в уверенности, что женившись на Вере, он выполнил унизительную роль запасного игрока, и изначальной причиной своих бед (жизнь у них с Верой не очень складывается) тоже считает Фому;

в) Вера утверждает и всячески дает понять, что искренне, всем сердцем привязана к Сычу, при этом, как мы помним, считая свою жизнь непоправимо загубленной, но их счастливому существованию мешает его комплекс запасного игрока (крик Веры: «Да ты же сам, сам испоганил все что можно было своими комплексами! Сам, понял?!» Из соседней комнаты к ней выскакивает Сыч и, задыхаясь от возмущения, кричит: «Я испоганил?! Это я испоганил?! Ну ты и сука!» Через минуту хлопает входная дверь, и Вера видит в окно, как Сыч быстро пересекает двор; она обессилено опускается на стул, ставит на стол локоть и закрывает ладонью лицо), и потому во всем винит Фому, виноватого в данном случае самим фактом своего существования;

г) все эти годы Фома чувствует себя вполне виноватым и перед Верой и перед Сычом, и как умеет пытается как-то скрасить их жизнь, в том числе выслушиванием бесконечных жалоб Веры по телефону и небольшой финансовой помощью, выделяемой им из сестринских пособий.

Кажется, так.

На следующий день мы сидим у Веры. На столе бутылка водки, нехитрая закуска; над столом дым коромыслом. Фома в распахнутом плаще и Вера в коротком летнем платье сидят за столом визави, я – у немытого окна, листаю какой-то журнал. С самого утра я не в духе. Помню свою злорадную усмешку, когда я увидел Фому в плаще и шляпе (на дворе +25, на минуточку) у выхода из подворотни, где мы договорились встретиться в 16.00, чтобы я лишний раз не поднимался к нему. По лицу его – так в уличной луже всеми цветами радуги переливается бензинное пятно – сменяя друг друга, проплывали гримасы ужаса, брезгливости, недоумения, отвращения и проч. «Что, сукин сын, отлежал себе бока, пока мы тут суетились да бегали, высунув языки... Ну вот теперь и ты попробуй».

Итак, сижу, листаю журнал, о чем они там говорят, не слушаю. Заложив пальцем страницу, кладу журнал на колени и тянусь к столу за своим стаканом. Тут до моего слуха долетает странное, выпадающее, как мне кажется, из контекста, словосочетание «египетское метро». Я выпиваю, закуриваю и прислушиваюсь.

«Ну, как тебе сказать, – горячо говорит Вера (в бутылке уже меньше половины), – это что-то вроде визионерской реконструкции. Оно ему явилось, понимаешь? Ты же знаешь, сейчас такое время, когда вокруг открывается масса информационных каналов...»

Фома (осторожно):

«Где открывается?»

Вера:

«Везде. Вокруг нас. Не придуривайся. И вот он однажды все увидел в подробностях, и потом еще видел. Ему это открывается».

Вера опрокидывает в себя треть стакана, икает, морщится и вытирает пяткой ладони слезящиеся от дыма глаза. Между прочим, весьма недурной из себя девицей была всего лишь несколько лет назад, но:

Если уж крепких мужей, не живущих вседневной заботой
Как бы наружность свою поберечь, не сносить раньше срока,
Долгий и тесный союз с алкоголем не делает краше,
Что ж говорить о девицах с их нежною кожей, которым
Год такой дружбы идет за все три, а кому и четыре...

Впрочем, у нее и сейчас еще ноги очень даже ничего; кстати, никогда не обращала на меня никакого внимания.

Фома:

«Я так понимаю, что это что-то вроде фантаз...»

«Нет! – резко обрывает его Вера. – Нет! Абсолютно. Я же тебе говорю: ему открылось. Это гениальное прозрение, понятно? Гениальное! Переворот в истории! Там никаким шлиманам не фиг делать!»

Фома:

«Я понял. А он много пил в последнее время?»

Вера (пожимая плечами):

«Да нет... как обычно».

«А наркотики?»

«Нет. Ты же знаешь, он всегда был противник. И причем здесь это?»

«Просто спрашиваю».

«Это здесь ни при чем».

Фома грустно кивает.

«Нет, это и в самом деле что-то удивительное! – горячо продолжает Вера. – Как будто снисходит на него, понимаешь? Когда его слушаешь, то прямо видишь все эти станции: Луксор, Карнак, как их там еще... Если у греков был их греческий огонь, то можно допустить, что он был известен еще египтянам, и вот они использовали его как реактивную силу для своих повозок – понимаешь, да? Таким образом они пытались оживлять покойников. Там, под Долиной Царей. Они верили, что набрав определённую скорость можно пустить процессы вспять, воскресить умершего, и тогда уже он приобретёт бессмертие. Представляешь? Ты где-то такое слышал?»

«Нет, конечно. Где я еще мог такое услышать?»

«Только не надо вот этой твоей иронии».

«Какой иронии, Вера? Никакой иронии. Ты только не волнуйся».

«А я и не волнуюсь. Перестань из меня идиотку делать, ладно? Я тебя не для этого позвала».

«Вера, ну зачем ты... я ничего, просто...»

«Не надо! Он должен закончить вот это!»

Вера со всего размаха хлопает по папке перед собой; бутылка на столе падает, я ее тут же поднимаю.

«Эге, ребята, – думаю я, – да вы, я вижу, времени тут зря не теряли».

Фома:

«А почему ты решила, что он исчез надолго? Такое ведь бывало. Может быть, надо просто подождать?»

«Нет!»

«Почему?»

«Я говорю: нет! Я чувствую... Ладно. В общем, мы сильно поругались. Очень сильно. Ему надо помочь. Тебе недостаточно?»

«Хорошо. Он что-то в последнее время писал еще?»

«Да. Есть один незаконченный роман, в той комнате».

«Дай мне его почитать, можно?»

«Зачем?»

«Не знаю... просто так. Люблю читать».

«Бери».

«И этот с подземными поездами, если можно».

«Только ненадолго. Я сама еще не читала».

«Не читала? Откуда же ты знаешь...»

«А всё рождалось вот здесь, при мне!»

«Понятно. И дай мне еще адреса людей, у которых он мог бы быть».

Фома с Верой встают и выходят в другую комнату.

На обратном пути Фома уговаривает меня помочь в поисках Сыча. Я соглашаюсь. Вид у Фомы убитый, просто убитый.

«Да... – тихо произносит он. – Кажется, я влип. Выпить хочется. Давай?»

***

Среди ночи Фомский, спавший на канапе, проснулся от почти физического ощущения, что на него смотрят, и тихо позвал:

«Фома...»

«Чего тебе?» – отозвался Фома.

«Спишь?»

«Нет, как видишь. Вернее, как слышишь».

«Извини».

«Ничего. Что-то хотел сказать?»

«Да... Не знаю... Мне как-то не по себе...»

«Плохо?»

«Да. Вроде того... И еще почему-то лезет в голову египетское метро Сыча. Все эти огромные подземные станции с колоннами, стены в иероглифах, чаши с огнем... и поезда... черт бы их побрал...»

«Ты уже читал?»

«Нет».

«Ну, в общем, похоже».

«А ты прочёл?»

«Нет, только пролистал».

Пауза.

«Что-то мне худо, Фома...»

В изголовье кровати бесшумно загорелся светильник, и Фомский увидел на высоко поднятой подушке бледное лицо Фомина, который устало и недобро глядел на него. Они некоторое время смотрели, не мигая, друг на друга; у Фомского перехватило дыхание.

«Тебе страшно со мной?» – произнес Фомин.

«Да. Если честно».

«Мне с тобой тоже».

Фомский медленно, стараясь, чтобы под ним не заскрипело канапе, сел, опустил ноги на пол; Фомин молча исподлобья следил за ним.

«Я хотел тебя спросить, Фома...» – начал Фомский осторожно и запнулся.

«Спрашивай».

«Нет... лучше как-нибудь в другой раз...»

«Спрашивай сейчас».

«Ну, хорошо... – Фомский, вздохнув, опустил глаза, продолжая искоса следить за Фоминым. – Скажи, Фома, только честно... у тебя ведь под подушкой...»

«Да».

«Это ведь на тот случай, если бы я подошел?»

«Да».

«Только на этот случай?»

«Да», – опять произнес, словно выронил, Фомин; за все время он не шелохнулся.

«Я бы не подошел. И не подойду. Можешь быть уверен».

«Хорошо».

Помолчали.

«И что же нам делать?» – спросил Фомский.

«Надо выпить. Принеси чего-нибудь».

«Ты очень бледный»

«Я знаю. Неси».

Фома откинул одеяло, опустил на ковер босые ноги. Не сводя глаз с Фомы, поднялся и пошел в кухню. Пока он шел по коридору, его трясло от холода и страха, ему казалось, что Фома, выскользнув из-под одеяла и прихватив из-под подушки заранее приготовленный нож, уже бесшумно бежит за ним на заплетающихся, непослушных ногах. И бежит вовсе не для того, чтобы зарезать, зарежет он потом, в самом-самом конце, а до этого произойдет что-то невыразимо ужасное. Фома вбежал в кухню, ударил по выключателю. В стенной кладовке был целый склад самых разных вин, но сейчас требовалось что-то покрепче. Панически оглядываясь на темный коридор, Фома открыл холодильник, выхватил бутылку джина, открутил крышку, сделал большой глоток и кинулся к буфету за стаканами. Там он сделал еще пару глотков из горлышка и замер, дожидаясь, когда начнет легчать. Дождавшись, вытер холодный пот со лба, разлил джин по стаканам, нарезал сыр и хлеб, все поместил на поднос и понес в комнату.

IV

Утром следующего дня Тягин проснулся в панике – во сне он по неосторожности непоправимо что-то стер: то ли очень важный номер в телефоне, то ли дорогое сердцу воспоминание (возможно и то, и другое разом)... – и поднялся затемно. Так рано на пробежку он еще не выходил. В холодном парке под сырым белесым небом было безлюдно. Заставленная кранами Карантинная гавань вся сияла желтыми и белыми огнями, и отсвечивающая, подернутая лёгкой рябью вода между причалами напоминала мелкую брусчатку.

За завтраком он подумал: а чего, собственно, тянуть? и в начале десятого уже сидел у Хвёдора. У того день был в самом разгаре: гремела музыка, свистел чайник, щелкал попугай в клетке. В синем рабочем халате, перетянутом солдатским ремнём, Хвёдор, как всегда, что-то увлечённо мастерил. У него были золотые руки и удивительная склонность к бессмысленным занятиям. Так он мог провозиться полдня, переделывая одноразовую зажигалку в многоразовую (при том, что не курил), или угробить неделю на ремонт никому, в том числе и ему самому, не нужной пишущей машинки. Впрочем, и на такие работы иногда находились заказчики. Зарабатывал он какие-то копейки, и непонятно было, на что бы вообще жил, если б не регулярные денежные переводы от сестры. Ну а деньги были известно чьи, тягинские. Лет Хвёдору было тридцать... четыре? Но уже имелись широкая седая прядь, больной желудок и изможденное лицо с малоподвижным взглядом, иногда загоравшимся фанатичным огнем.

За окном было хотя и пасмурно, но достаточно светло, норовило вот-вот выглянуть солнце, и у Тягина так и тянулась рука погасить горящую во все три лампы люстру. «Как можно жить среди такого хлама?» – раздраженно думал он, обозревая комнату, по всему периметру заставленную разномастной уродливой мебелью; пространство между верхами и низким потолком было плотно забито стопками книг, журналов и газет. В этой давившей, словно виснувшей на плечах, тесноте Тягину всё труднее становилось дышать. К тому же он устал от хозяина – невмоготу было ни видеть его, ни слышать. Вот уж где чудеса: впервые увидев Хвёдора у Тверязова много лет назад, разве он мог представить, что недалекий молодой человек, с которым он и знаться-то никогда не собирался, станет когда-нибудь его родственником (ну, или почти)? Тогда это был тихий скромный работяга из начитанных, занимавшийся квартирными ремонтами. В разговор, если не спрашивали, вступал редко и больше слушал, чем говорил. Теперь на правах дважды шурина Хвёдор, кажется, решил наверстать упущенное. Тверязова он поучал, а с Тягиным почему-то взял на себя странную роль трагического свидетеля, едва ли не жертвы.

– Чай будешь? – спросил Хвёдор, сметая ладонью в ладонь яичную скорлупу с грязной клеёнки; смазав каплю майонеза, присосался к мизинцу.

Тягина передёрнуло.

– Нет, – отказался он и, подводя итог, сказал: – В общем, если это делать, то лучше сейчас, пока у меня есть такая возможность.

– Спасибо. Обойдусь.

– Как это? Ты же хотел.

– Как хотел, так и расхотел.

– Ну, как расхотел, так можешь и опять захотеть. Впрочем, тебе решать. Я только предлагаю. Инициатива, сам понимаешь, не совсем моя.

– А если не твоя, так и нечего тебе беспокоиться. Такой вот я придурок, не хочу в эту вашу Москву. Да и на какие шиши я там буду существовать? Хотя бы первое время. Накоплений у меня никаких нет. Кормить меня кто будет?

Тягин не смог отказать себе в удовольствии воспользоваться предложенным словцом.

– Ну, кто ж тебя, придурка, будет кормить? – спросил он, широко и зло улыбаясь. – Я, естественно.

Хвёдор, цокая и передразнивая тягинский оскал, закачал головой.

– Ты слишком веришь в свое обаяние. Оно, может быть, у тебя и есть, но не на всех действует. Это вечно пьяный Тверёзый пусть тебе свою жену прощает, которую ты у него увёл, он добрый...

– Может, обойдемся без этой ахинеи про жену Тверязова? Прекрасно ведь знаешь, что никуда я её не уводил, они сами уже расходились...

– Да, «расходились», конечно. Если б ты не влез между ними в критический момент, никуда бы они не разошлись. Поломал двум хорошим людям жизнь и радуешься.

– Кому еще поломал? – терпеливо спросил Тягин.

– Тебе лучше знать. Ты думаешь, тот парень в красном платье, в поезде, на тебя просто так посмотрел, случайно? Нет. Ошибаешься. Это, – Хвёдор поднял к лицу полусогнутый указатель-

ный палец, – твоя совесть на тебя посмотрела. То ли еще будет. Всё в жизни взаимосвязано. А ты думал!..

Тягин едва не выкатил глаза от изумления: это еще что такое?! Нет, ну вот как это понимать! Как такое вообще возможно?! Ведь попросил же о приезде никому не говорить, и вот, пожалуйста: мало того, что разболтал, так еще и в деталях. «Что тут творится, интересно? И что я здесь делаю? – как бы глядя со стороны, воскликнул он про себя. Виду, однако, все-таки не подал и даже попробовал отшутиться:

– Совесть в красном платье. К тому же мужик. Богатая у тебя фантазия, Федя.

– Не жалуюсь. Да и вообще... – Хвёдор сделал паузу. – Я, может, еще воевать пойду.

Он отошел к входным дверям, выкинул ладонью хвостик из-под воротника и стал звонко мочиться в пустое ведро у порога.

– За кого?

– Еще не выбрал. И там, и там наши люди. А от тебя мне ничего не надо. Достаточно того, что сестрица помогает, спасибо ей. Мне и так нормально.

«Сестрица помогает». Тягин почувствовал, что если будет сдерживать себя и дальше, ничем хорошим здесь не кончится. Он уже и так с трудом балансировал между крайностями: плюнув на всё, пуститься в слезливые просьбы с предложением хороших денег или же, ухватив за хвост на затылке, хорошенько стукнуть Хвёдора мордой об стол. К тому же не было сомнений, что первое потянет за собой второе, и наоборот. Какой-то пар надо было выпустить, и он решил кое-что себе позволить:

– Нормально, говоришь? Что ж ты тогда сестрице плачешься, как тебе плохо и как ты хочешь в Москву, если тебе здесь нормально? Может объяснишь?

Хвёдор шумно завозился в выдвинутом из буфета ящике, подбирая и злобно швыряя какие-то железки, и сделал вид, что не слышит. То что паразит набивает себе цену и наверняка собирается ставить условия, на которых соблаговолит ехать в Москву, у Тягина уже сомнений не вызывало, но вот чего он не мог понять – как Хвёдор учуял, что позарез ему нужен?

– В общем так, – сказал он, направившись к выходу. – Пока я здесь, думай. Нам с Дашей нужен твой твердый ответ.

– Ничего, я ей расскажу про твой визит, – пообещал Хвёдор, собираясь закрыть за ним дверь.

– Что ты ей расскажешь? – Тягин придержал дверь ладонью. – Как я пришел и просил тебя?

– Она сама всё услышит. Я нашу беседу записал.

Тягин вдруг пришел в исступление.

– Записал?! А ну покажи!

Он крепко схватил Хвёдора за грудки и шумно, чуть не опрокинув отхожее ведро, затолкал обратно в комнату.

– Да нет никакой записи, пошутил я! – испуганно ответил оторопевший от натиска Хвёдор.

Тягин перевел дух и опустил руку, которой сжимал ткань халата.

– Извини. Я сейчас немного на нервах. Извини.

«И стоило ради этого сюда ехать! – воскликнул он про себя, как будто забыв, что приехал продавать квартиру. – Довёл-таки, идиот! Сжечь бы к чертям его хибару, тогда и уговаривать не пришлось бы...» Сразу за воротами он поскользнулся и едва-едва удержал равновесие, даже пот прошиб. Поднятые его дерганными движениями собаки, до того тесно лежавшие на сухом пятачке под стеной дома, сначала метнулись кто куда, а потом с оглушительным лаем бросились за ним и преследовали до выхода из переулка.

Самое время навестить Абакумова, подумал Тягин. А что? и настроение подходящее и, раз уж так пошло, лучше покончить с малоприятными встречами в один день. Злой энергии было хоть отбавляй, не пропадать же ей даром. К дурному расположению добавилась еще и досада на финальную вспышку гнева у Хвёдора. «Глупость какая! Да если бы он и записывал – я-то ведь ничего такого не сказал...»

Он сел в такси, и когда машина вынырнула из под арки Пересыпского моста, его поразило неожиданное совпадение: а ведь у истоков истории, в которой он завяз и из которой теперь с

помощью Хвёдора пытался выскочить, стоял тот самый Абакумов, к которому он ехал, и следовательно сейчас он как бы перемещается из конца истории к ее началу. Или скорее прологу. На лет двадцать назад. Как-то всё здесь рядом, раздраженно подумал он. Во всех смыслах. Не Москва. Хрен что забудешь, живя здесь.

Я хорошо помню, как увидел ее первый раз на выставке уже покойного художника Банникова восемь лет назад. Она стояла с фужером белого вина, в шелковом приглушенно-пестром платье, в соломенной шляпе с широкими полями. Помню ее улыбку. Сиянием свежести и красоты она преображала всё вокруг. Преображала, украшая. Как букет цветов, внесённый в комнату. Я не большой специалист в описании красивых женщин. Поэтому и не стану этого делать. Скажу только, что к ней и подойти-то было боязно. Казалось, будто она появилась ниоткуда, потому что ну не могла же она жить между нами, оставаясь незамеченной. Таким было первое впечатление. А мы явились на выставку втроем: я, Т. и А. – веселые, глазастые уроды, и, конечно, А. сразу же взял ее в оборот. Он тогда увлекся фотографией и всем представлялся художником-фотографом. Для соблазнения девиц лучше не придумаешь. На наших глазах он уговорил её попозировать, и чуть ли не на следующий день она перебралась к нему. Месяца через три... да, через три, уже было начало осени, А. передал ее Т. Именно так: передал. Потом пришла и моя очередь.

Так начиналась его исповедь. Её он сгоряча решил опубликовать в газете, в которой тогда работал, и когда ему отказали, хлопнул дверью. Потом, правда, вернулся.

Девушку звали Катя. Она была не очень умна, еще по-детски доверчива и не сознавала в должной мере своей привлекательности, как молодые большие собаки некоторое время не чувствуют собственной величины и силы. И в привязчивости её было что-то собачье. Вероятно, она решила, что передача её из рук в руки происходит по их взаимной договоренности, и покорно ждала, когда они определятся, с кем из них ей всё-таки жить. А еще она очень не хотела возвращаться к себе домой, в какую-то страшную пьющую семью. Ну и они вполне этим попользовались. Где-то через три месяца Абакумов пришел с ней в гости к Тверязову и просто оставил ее там. С Тверязовым она могла бы прожить долго, может быть, и всю жизнь, если бы её не увел Тягин. Увел шутя, между делом. А прожив с ней месяц, отправил обратно к Тверязову. И тут тихий Тверязов взбунтовался и не принял её. Она попробовала вернуться к Тягину, он её выставил. Она исчезла. Года два спустя Тягин увидел ее возле Привоза у входа в один из прибазарных зловонных дворов. Она крепко выпивала, что было видно по её окружению, и по лицу, уже приобретавшему общие для алкоголиков черты, выделяющие их как бы в отдельную народность. Прошло еще сколько-то лет, и вот однажды в редакцию, где он в тот вечер одиноко засиделся, занесло посетительницу лет пятидесяти, испитую, косноязычную бабу. Непонятно даже было, как она в столь поздний час там оказалась. Странных просителей тогда по редакциям ходило немало, но ничего более дикого, чем просьба этой бабы, Тягин не слышал. Она рассказала, что летом её старшую дочь нашли убитой в одном из строящихся в Аркадии многоэтажных жилых домов. И вот не могла бы их газета посодействовать в том, чтобы хозяева этого дома, когда его достроят, *раз уж убийцу не нашли*, выделили в нем ей и ее семье хотя бы самую маленькую квартирку. Жить им, после того как сгорел их дом под Одессой, негде, а так она еще и была бы всегда рядом со своей любимой доченькой, с памятью о ней. Когда опухшими руками она стала выкладывать вслед за свидетельствами о рождении, о смерти и еще какими-то бумажками, наконец, фотографии, у Тягина потемнело в глазах. Он дал ей денег, что-то наговорил и выпроводил. Помнится, его поразила изощренная драматургия возмездия. И постоянно крутился вопрос: почему именно к нему? Недели две спустя, выпивая в одной компании с Абакумовым и Тверязовым, он рассказал им о визите бабы. На что Абакумов, вздохнув, произнёс: «Вот и это лёгкое дыхание растворилось в окружающем воздухе». Позже Тягин подумал, что Кум, может быть, и вздохнул и сказал вполне искренно, с горечью, но в тот момент услышал только обычное абакумовское глумление. Выждав с четверть часа, выпив еще, он прицепился к какой-то его очередной шутке и набросился на него с таким остервенением, что их едва растащили.

И вот после этой удивительной истории, глубоко его поразившей, – что было у него в голове, какой лукавый его попутал, когда он увидел под тверязовским домом Дашу, жену Тверязова, вы-

скочившую на улицу после очередной ссоры? С дорожной сумкой на плече и курткой на локте, она сказала, что у неё с Тверязовым всё кончено. И вместо того чтобы отвести ее, подвыпившую, к мужу и помирить, он увел ее на Канатную. На следующий день они улетели в Москву. Бежали. Ужаснувшийся содеянному Тягин думал, что там, отдышавшись, он что-нибудь придумает. И ведь даже тени мысли не мелькнуло, в какую ловушку он себя загоняет! Что тогда чувствовала и о чем думала Даша, Тягина не очень интересовало, ему меньше всего хотелось повторить историю с несчастной Катей (а если еще учесть, что до того, как Даша стала женой Тверязова, за ней пытался приударить Абакумов, неприятная параллель просто била в глаза), и он полагал, что через Москву это будет выглядеть не так похоже. Возвращение однако с неделю на неделю откладывалось, и зажили они какой-то тусклой, через силу жизнью. У него хотя бы были дела, работа. Даша, сосредоточившись на обустройстве быта, жила еще стесненней. За всю жизнь никуда ни разу не выезжавшая, она была к тому же напугана Москвой, что несказанно раздражало Тягина, которому казалось, что она притворяется.

Возник его план полгода назад. Даша была в ванной, когда на ее телефон позвонил Тверязов, и Тягин в первый раз с ним поговорил. Он и раньше знал, что Тверязов, напиваясь, ей звонит. И после неожиданно теплого, освобождающего разговора Тягин окончательно решил, что будет делать. План был такой. Он привозит в Москву Хвёдора, который к тому времени уже закидывал намеки о переезде, помогает ему обустроиться, через какое-то время расстаётся с Дашей и она уходит к брату, потому что больше ей идти не к кому. Ну а уж дальше они как-то строят сами (может, и с его помощью) свою жизнь в Москве или же, что вероятней, под давлением невзлюбившей Москву Даши уезжают в Одессу. И там возможно и скорее всего Даша возвращается к Тверязову. Не исключено, что тот и сам примчится, как только узнает, что они расстались. Так или иначе, но после двух-то лет это уже будет несколько отличаться от истории с несчастной Катей, согласитесь. Главной задачей было придать возвращению Даши максимально натуральный вид. Чтобы никто из невольных участников операции «Возвращение» ничего не заподозрил. Просто всем однажды самым естественным образом должно стать хорошо.

V

Тягин вошел в знакомый подъезд и замер, прислушиваясь к скандалу наверху: оттуда неслись громкие мужские крики. Ругались двое, и один из них был Абакумов. Вот он выкрикнул что-то задорное, и тут же его голос был перекрыт криком:

– А это мы посмотрим! Кровью умоешься, сука! На поломанных костях ползать будешь! Обещаю!

Наверху громко захлопнулась дверь, но еще какое-то время оттуда доносилось возмущенное сходящее на нет бормотание. Тягин стал подниматься и на полпути встретил медленно спускавшегося хорошо одетого человека. Когда расходились на площадке, тот приостановился и вежливо спросил:

– Цветы где-то тут рядом можно купить, не подскажете?

Тягин не знал ничего ближе пересыпского моста.

На двери напротив абакумовской висела табличка: «Не стучать, не звонить, не беспокоить!»

– Я сейчас ментов вызову! – отозвался Абакумов на стук, но когда Тягин назвал себя, защелкал замками и воскликнул: – Ух ты! День приятных сюрпризов просто!

Волнение хозяина Тягин, если бы не стал свидетелем скандала, мог бы принять и за радость.

– Проходи!

После Хвёдоровой захламленной халупы светлое и просторное до гулкости помещение с ободранными стенами и наполовину обвалившимся потолком несказанно обрадовало Тягина. Половину без потолка отгораживала великолепная резная ширма с вышитыми по шелку пионами и утками; в книжном шкафу тусклым затертым золотом отсвечивали широкие корешки томов; прямо

напротив Тягина ярким красным пятном горела картинка на ткани с толстомясым Шивой, весёлой многорукостью напоминавшим швейцарские перочинные ножи с рекламных щитов. У Абакумова при всей его страсти к старине, к вещам и вещицам, было странное равнодушие к уюту.

– Это от тебя с таким боем выходили? – спросил Тягин.

Румяный от возбуждения Абакумов махнул рукой.

– А! ерунда. Небольшое недоразумение. Люди сами не знают, что хотят. – Беспечный тон хозяина был вполне искренним – скандалы для него всегда были делом почти обычным. – Но ты-то какими судьбами? Садись.

Покрытый скатертью стол, как всегда, был отлично сервирован – любил, стервец, хорошую посуду.

Вешая на спинку стула сумку и усаживаясь, Тягин поймал себя на том, что готовится к долгому, нелегкому разговору, и подумал: да какого черта! Здесь, где всё рядом, на расстоянии вытянутой руки, какие могут быть церемонии? И он решил не тратить времени на вступление.

– Извини, но я к тебе тоже с угрозами, – сказал он. – Не с такими кровавыми, как предыдущий гость, но...

Абакумов несколько секунд смотрел на Тягина, потом сказал:

– Час от часу не легче. То есть ты тоже, что ли, ругаться пришел?

Тягин не ответил.

– Вот тоска! – горько воскликнул Абакумов.

– А что тебе? Пока не остыл, пока в образе...

– Да ну!.. Это, знаешь, как одна соната заканчивается аллегро, и следующая начинается с аллегро. Нудновато как-то. Ладно, давай, что там у тебя: за что ты меня решил покарать?

– Кум, надо вернуть Ферзю его деньги.

(«Ферзь» была еще юношеская кличка Тверязова, полученная им, видимо, по отдаленному созвучию с фамилией, но очень редко употреблявшаяся ввиду полного несоответствия).

Абакумов удивлённо поднял брови.

– Что, прямо специально для этого из Москвы ехал? – спросил он, веселея на глазах. – Ты пьяный, нет?

– Из Москвы я приехал продавать квартиру. Нет, не пьяный.

– А почему тогда начинаешь с угроз, требований? Ни тебе здрасьте, ни пожалуйста... что за манеры?

Тягин тем временем достал записную книжку, написал на листке свой номер телефона, листок вырвал и положил на стол перед Абакумовым.

– В общем, вот, если что, мой телефон. На всякий случай.

Еще более повеселевший Абакумов, подтянул листок к себе, посмотрел, качнул головой и сказал:

– Крутой ты, конечно, парень, Миша. Пришёл, процедил что-то сквозь зубы, бросил на стол номер и пошёл себе. Молодец. Всегда тебе завидовал чёрной завистью. Ты посиди пока. Я сейчас.

Чему-то усмехаясь и качая головой, хозяин вышел в другую комнату.

Со школьным еще приятелем Абакумовым Тягин и Тверязов расходились и сходились не один раз. При желании можно было бы даже проследить некоторую периодичность. Причем никогда не было такого, чтобы Абакумов был в ссоре одновременно с обоими. Свои пронырливость, цинизм, сомнительную предприимчивость, которые у него назывались практической жилкой, Абакумов объяснял придуманным происхождением (фамилия, что ли, его надоумила) из древней династии купцов-старообрядцев. В золотую свою пору он возил в Москву антиквариат и редкие книги, попадавшие к нему не только из частных библиотек, а обратно модные на то время препараты, и подсадил на них не одного человека. Даже Тягину он однажды ухитрился скормить какую-то гадость, от которой тот едва не загнулся и пришел в себя только на третий день. (История, кстати, странная, оставившая мутный нехороший осадок.) Года три назад, попав в полосу безденежья, Абакумов решил тряхнуть стариной, попался и едва не сел. Выручил Саша Тверязов.

Пока Абакумов отсутствовал, в комнате побывала рослая, томная, одетая как секретарша девица лет двадцати в очках. Еле кивнув высоко поднятой головой и неслышно поздоровавшись, она поставила на стол со стороны Тягина тарелку и бокал, положила нож и вилку и так же торжественно, под траурный стук каблуков удалилась. И сама девица, и кое-какие предметы обстановки, как будто встрепенувшиеся с её появлением, отослали Тягина прямиком к тверязовскому роману, к одному из его главных героев Фомину, в котором Тягин уже с первых страниц стал угадывать некое мерцающее сходство с собой. Теперь оказывалось, что прототипов у сибарита Фомина, как минимум, двое, и Тягину придётся потесниться. «Так вот с какой грязью смешал меня Тверязов», – усмехнувшись, подумал он.

Вернулся хозяин уже сияющим вовсю. Подошёл к гостю и развернул перед ним принесённую бумагу, дёрнув её так, что она щелкнула.

– Расписка, – объявил Абакумов.

– Можно?

– На. Только не съешь.

Тягин взял расписку, посмотрел и отдал.

– Что, неловко? – спросил Абакумов, аккуратно складывая листок. – Принимаю твои молчаливые извинения.

– Да, извини. Раз так. Но... откуда она у тебя?

– Украл. И вот теперь перед тобой хвастаюсь.

– Почему тогда Тверязов... – рассеянно протянул было Тягин и умолк, не зная, как закончить фразу.

– А что – Тверязов? – быстро переспросил Абакумов.

– Ничего. А всё-таки: как она у тебя оказалась?

Абакумов сел за стол и жестом пригласил Тягина подвинуться ближе. Тот остался там, где сидел.

– Ты его бывшую жену не видел? – спросил Абакумов. – Тверязова. Последнюю, я имею в виду. Жаль. Колоритная обезьянка. Ему всегда с бабами не везло. – Вскинув палец, Абакумов поспешно оговорился: – За редкими исключениями, конечно! – и продолжил: – Но эта что-то особенное. Знаешь, есть виды деятельности, до которых нормальный взрослый человек ни при каких условиях всё-таки не должен опускаться, ниже только эксплуатация калек и выманивание денег у одиноких стариков. К ним я отношу авторскую песню, всякие интеллектуальные угадайки, ролевые игры, сочинение фэнтези... в общем, ты понял. В ту же кучу мусора можно добавить граждан, работающих до седых мудей весёлыми и находчивыми. Так вот эта барышня ухитряется заниматься всем перечисленным одновременно. Ты можешь себе такое представить? Мама мия, да мне тут и чего-нибудь одного с головой бы хватило, а он с ней год прожил! Год! – Абакумов шумно выдохнул. – Понятия не имею, как ей досталась расписка. Я ведь не обязан знать, как они там делили имущество. Пришла сама, я её не искал. И, честно говоря, не собирался с ней иметь дело. Так она мне даже угрожать стала какими-то своими друзьями. Вот тут я – да, страху натерпелся. Как представил себе этот кошмар: открываешь дверь, а на пороге бригада эльфов – ну, думаю, потом перед соседями стыда не оберешься. В общем, пободалась она со мной, пободалась – клятая такая! – и предложила отдать расписку за половину. Кто бы отказался? А то, что Тверязов не помнит и путается, так это она его, может быть, совсем уже с ума-разума свела, окончательно... Да! Она ж еще и психолог! Се-мей-ный.

– Ну хорошо, половину ты ей отдал. А вторую не хочешь ему вернуть?

– Вторую? Как тебе сказать... Я себе до сих пор простить не могу, что вернул первую! Шучу. Очень хочу вернуть, Миша. Очень. Прямо ночей не сплю. Но не сейчас. И не в ближайшем будущем. Единственное, правда, что хотелось бы знать: а с какой стати?

«Нельзя обманывать Тверязова, это грех», – чуть было не произнёс Тягин, но, слава Богу, удержался. Даже поморщился и от приторной слащавости едва не произнесенной фразы, и: уж кому-кому...

– Видишь, как получается, – продолжил Абакумов, воодушевившись и взяв назидательный тон. – Я только что тебе честно, по-дружески рассказал, как было дело, а ты сразу же пользуешься. Нехорошо. Я ведь могу и поправиться, и сказать, что вернул не половину, а всё полностью. Доказательство – вот оно, – он похлопал по листку на столе.

Тягин усмехнулся.

– В то, что ты отдал всю сумму какой-то бывшей жене, я бы всё равно не поверил. Поэтому ты и сказал про половину. Кстати, может, и половины никакой не было. Впрочем, разбирайтесь сами.

– Так вроде ж разобрались. Садись ближе, перекуси.

– Спасибо. Надо идти.

Тягин перевёл дух. Чувствовал он себя странно. Его собеседник сегодня явно выглядел победителем, и это было впервые за все долгие-долгие годы, что они знали друг друга. Конечно, на мнение Абакумова Тягину всегда было наплевать, но лоб от щелчка таки горел. Чтобы не заканчивать встречу на столь непривычной для себя ноте и хоть немного отвлечь Абакумова от его триумфа, он спросил:

– А чем это Бурый так занят – «не звонить, не стучать, не беспокоить»?

– Что? А! Нет, это его жилец, Кишинёвер. Про́клятый собственной женой поэт. Сбежал сюда от неё аж из самой Каховки. Он тут и раньше останавливался, а теперь, похоже, перебрался надолго. А объявление так, для привлечения внимания.

Зазвонил телефон, и Абакумов поднес его к уху. Он долго слушал, потом сказал: «Этот абонент для тебя больше не доступен, гнида» и дал отбой. Повозившись с телефоном, поднял голову:

– Так о чём я?

– О поэте.

– ?

Тягин показал большим пальцем за плечо, на дверь.

– Ах, да! Кишинёвер. Тоже, между прочим, весьма поучительная история. Представь. Человек всю жизнь писал себе стихи. В основном почему-то про Русь. Такие, знаешь, разудало-горькие вирши: «А веселье Руси – плаха да топор...». В таком духе. Гражданская ай-лю-ли лирика. Это он теперь призывает всю эту «гой ты Русь» извести под корень, а тогда всё больше печалился. Я его, кстати, спрашивал: ты в России-то хоть бывал? Молчит. То есть тогда молчал. А теперь говорит, что его ноги там больше не будет. – Абакумов рассмеялся. – Короче говоря, несколько лет назад угораздило его жениться. Жена с ним пожила-пожила, посмотрела-посмотрела и тоже давай стихи строчить. Причём о том же и теми же словами, не отличишь. Ну, это естественно – образец-то постоянно перед глазами. В общем, прогоревали они над нескладной недотёпистой Русью сколько-то там лет, не так уж много, и решили разойтись. Собственно, и развелись-то из-за того, что девица уж слишком, по мнению Кишинёвера, увлеклась стихотворчеством, в ущерб всем своим прямым обязанностям. Может быть, ещё и ревность заела, творческая, не знаю. И вот тут первый интересный поворот. Они расходятся, но фамилия-то у неё остаётся его, Кишинёвера... Да! Забыл самую важную деталь. Имя. Мало того, что она взяла его фамилию, так они ж ещё и тёзками были. Он Евгений и она Евгения. Думаю, что когда-то их это умиляло. Ну и вот после развода оказывается, что в Каховке теперь целых два поэта по фамилии Кишинёвер и оба Евгении, что, согласись, для небольшого города многовато. То есть оно так и раньше было, но тогда жена как бы пребывала в тени своего именитого мужа, а тут вышла на свет. Дальше больше. Кишинёвер обычно подписывался: «Евг.Кишинёвер», и под такой же, как бы от руки, шапкой выпускал свои книги. И вот поэт Кишинёвер-женщина издает свой первый сборник стихов с точно таким же написанием имени на обложке и со своей веселой физиономией на второй странице. Мало того: с десяток ранее нигде не публиковавшихся стихов Кишинёвера вдруг оказываются в книге бывшей супруги, которая на вполне законное возмущение теперь уже однофамильца: «Что ж ты, зараза такая, делаешь?!» обвиняет его же в неоднократных кражах её виршей и вдобавок рекомендует взять псевдоним, чтобы их не путали. Предлагает свою девичью фамилию. Говорят, в централь-

ном, он же единственный, книжном магазине города Каховки имело место даже публичное выяснение отношений с зуботычинами и таскaнием друг друга за волосы. Но баба молодец, да? Сейчас Кишинёвер завёл с ней тяжбу, а пока суд да дело, его потрёпанную лиру прибило к нашему берегу. Как по мне, история еще не исчерпала весь свой потенциал. Почти уверен, что мадам тоже очень скоро здесь объявится. С удовольствием на неё посмотрю. А кроме того, есть еще хороший задел на отдалённое будущее, потому что там, в Каховке, у Кишинёвера остался сынишка, и догадайся с одного раза, как его зовут. Вот так. Умеют люди выбирать жён, ничего не скажешь. Это Бурый его сюда поселил, он недавно дом на Слободке купил, а здесь у него теперь вроде гостиницы. Порадел родному человеку – у него же тоже похожие проблемы с Руденко, если помнишь...

Бурый и Руденко были известные в городе художники, годами обвинявшие друг друга в подражательстве, плагиате и тому подобном.

Тягин поднялся и снял со спинки стула свою сумку.

– Рассказывают, что в Киеве Бурый с горящим факелом преградил путь бойцам «Беркута» и стал им читать «Одно лето в аду», – говорил Абакумов, провожая Тягина к двери. – А потом бросил факел в кучу покрышек. Так началась революция.

– Я слышал о Малларме, кажется.

– Тоже неплохо. Будь здоров.

А хорошо, что так получилось, с распиской, думал Тягин на обратном пути. Да и как бы, интересно, он заставил Абакумова раскошелиться, если бы тот всерьез заартачился? Ну, потаскал бы за ворот, погонял бы по квартире. Куму это как с гуся вода. К тому же, что-то подсказывало Тягину, что Абакумов сегодня и без расписки не стал бы сдаваться. Видно, многолетняя инерция их отношений уже сошла на нет, и эта бумажка тут пришлась очень кстати. День как-то вдруг – раз – и переломился. Сидя на заднем сидении везущей его домой машины, Тягин с удовольствием потянулся: «хорошо-то как!». На весёлой волне он вернулся к мыслям о Хвёдоре и быстро утешил себя некой бодрой импровизацией, странным рассуждением, что ничего для него не значащая ненависть Хвёдора (а ведь дурачок с косичкой его по-настоящему, если убрать всё лишнее, ненавидит) явилась заменой той ненависти, которую должен бы был испытывать к нему Тверязов. Как если бы она ошиблась адресом. Что ж, он был вполне удовлетворен таким замещением. И уже ради одного этого можно было потерпеть хвёдоровские выбрыки. Конечно, Хвёдор как-то почуял, что очень уж нужен, но эйфория от привалившей удачи и ощущение власти настолько застят ему взор, что он не в состоянии задуматься: а зачем он нужен? Нужен и всё. Он, сукин сын, может быть, своего и добьется, и Тягин, в конце концов, согласится на все его условия, но – полгода, не больше, и фраза «сестрица помогает», как и сама помощь, останется в невозвратном прошлом. Полгода. Тягин злорадно усмехнулся. В операции по водворению Даши обратно в Одессу у него появился дополнительный мотив – наказать Хвёдора за его жадность.

VI

Около недели Фомин и Фомский провели в поисках. Неоднократно заходили во все известные им питейные заведения, прошлись по всем адресам, которые были известны Вере, побывали и там, куда их направляли некоторые из проживающих по этим адресам, – Сыча нигде не было. Как в воду канул. Где-то его не видели не один месяц, где-то он побывал только вчера...

Первым не выдержал Фомский:

«Черт бы его побрал с этим Египтом! И чего ему вообще дался этот Египет? Почему – Египет? Кстати, никогда не замечал за ним особого интереса к древней истории, а ты? С чего это вдруг?»

«Вера сказала, каналы сейчас повсюду открываются. Информационные».

«И по ним вот такая дичь прёт? Я с ней вчера говорил по телефону, с Верой, так там

уже безумие во всей своей красе. Она и меня чуть с ума не свела. Слушай, она действительно во всё это верит и всерьез полагает, что если Сыч издаст свою галиматью, то ею тут же заинтересуются историки и археологи, и все кинутся искать и раскапывать эти подземелья. Это же белочка! Реальность, вымысел – у них там уже всё перепуталось. Допились ребятки. Молодцы. И почему – метро?! Вот тоже вопрос. Ну вот скажи, что это за чепуха вопиющая, что за египетское метро?! Бред какой!..»

«Не понимаю, что тебя так раздражает? – бурчал Фомин. – Название? Ну, метро и метро. В конце концов, есть же в Египте метро...»

«Есть. Каирское. А никакое не египетское. Как есть парижское и московское. А не французское и русское. Так не говорят. Само словосочетание какое-то дурацкое. А если он тот Египет имел в виду, древний, то опять-таки: почему – метро? Почему вообще вся эта его подземная хренотень называется метро – может мне кто-нибудь объяснить?!»

«Вера, кажется, говорила, что в обычное время эта штука функционировала как метро».

«Но главное-то её назначение было... ладно! черт с ним, с названием! Хотя мне кажется, что оно – это такая ловушка для ума, беличье колесо, в которое запирается сознание. Открытие Сыча. Потому что – не знаю как у тебя, а у меня оно из головы не выходит. Крутится и крутится. Ладно, черт с ним. Но что ты скажешь о содержательной стороне этого бреда? Скорость, воскрешение – какая связь? Хоть какое-то слабенькое, условное правдоподобие должно быть?..»

«Ты же еще не читал. Я, правда, тоже только открыл. Может быть, там всё объясняется...»

«Не думаю».

«Но всё равно – ты как-то слишком горячишься по этому поводу».

«Тут я с тобой согласен. Меня это бесит. Не знаю почему».

«Вот и мне странно. Мало ли что человеку на ум взбрело или пригрезилось. Я вот однажды на отходняке провел жуткую ночь под названием “римские аттракционы”. Мне представлялся парк развлечений, напичканный всяческими увеселительными штуками в древнеримском духе. Выбирай, что хочешь. Но едва я оказывался у какого-нибудь из аттракционов и пытался узнать, в чем его суть, как меня оттаскивали к следующему, и не успевал я толком разглядеть его, как тащили к третьему, там – к четвертому, пятому... ну и т.д. Я не мог задержаться ни у одного из них и даже не успевал толком расслышать название. Я бесился, просыпался в поту, опять засыпал, морок продолжался, и я снова просыпался. Думал, с ума сойду, ей-богу. Да дайте же хоть что-то разглядеть, изверги! Так и не дали. Я эти “римские аттракционы” на всю жизнь запомнил. Всю эту изматывающую маету. А вот Сычу, может быть, разглядеть дали. Да и вообще. Когда долго и много пьешь, как это делает Сыч, и не до такого додуматься можно. А когда еще и другой сильно пьющий человек пытается что-то понять, как это делаешь ты... Говоришь, абсурд? Вот и прими как всеобщую метафору всего вокруг и успокойся».

«Легко сказать».

«Да и сделать не трудно».

Но Фомский еще долго не успокаивался и время от времени вместо привычных ругательств произносил в сердцах: «Да это же просто какое-то египетское метро!» Или: «Е-гипетское метро!» И даже: «Ё-гипетское метро!»

После их поисковых прогулок Фомин еле живой добирался до дому и падал, как подкошенный, на свою кровать. Легкий на подъем Фомский страдал куда меньше и к тому же провел время не без пользы для себя: по одному из адресов, где жили когда-то какие-то дальние родственники Сыча, ему удалось снять хорошую чистенькую комнату, стоившую почти вдвое меньше, чем та, что он снимал до сих пор.

Каждый вечер Вера звонила Фомину и требовала отчета. Тот докладывал. А на следующий день отправлялся к Фомскому. Иногда они целый день просиживали там

– Фома серьезно опасался, что Вера нагрянет к нему с проверкой. В такие дни туда приходила Марина и что-нибудь готовила им на общей кухне.

Соседями Фомского по квартире оказалась тихая пара: поджарый седой старичок и молодая женщина – отец и дочь, занимавшие две довольно большие комнаты. Дочь производила впечатление неприступной строгости, старичок был спокоен и приветлив. Дня через три Фомский познакомился с ним при несколько странных обстоятельствах. Он варил на кухне кофе, а когда вернулся к себе, старичок в светлом костюмчике сидел на стуле у раскрытого окна, смиренно соединив колени и уложив на них худые длинные кисти в голубых венах.

«Здравствуйте», – кивая, поздоровался он с вошедшим Фомой.

«Добрый день. Хотите кофе?» – предложил Фома.

«Нет».

«Чаю?»

«Нет, и чаю не хочу. А нет у вас чего-нибудь покрепче?»

«Ликер подойдет?»

«С удовольствием».

Фома достал ликер, налил рюмку и протянул гостю.

«Спасибо», – поблагодарил тот и медленно, маленькими глотками, прикрыв глаза от удовольствия, стал пить.

Фома заметил за собой, что смотрит на соседа с удовольствием. В наполненной солнцем уютной комнате он – тихий, светленький, опрятный – был как-то чрезвычайно уместен.

Допив ликер, старичок подмигнул и попросил еще. Фома налил.

«Вы квартирант?»

«Да. Меня зовут Фома».

«Редкое имя».

«Это не имя, кличка. От фамилии Фомский. Так меня все называют. У меня есть друг, он здесь был...»

«Я видел».

«Его фамилия Фомин, и он тоже Фома. Мы учились в разных школах и поэтому одинаковые клички. А как вас?»

«У меня нет клички. Просто Игорь Сергеевич».

Они пожали друг другу руки; старичок еще потянул из рюмки и сказал:

«Когда-то давно здесь уже жил квартирант. Валентин. Он убил сапожника. Не слышали? Попал в сумасшедший дом».

«Нет. А за что?»

«За что? За то, что убил сапожника».

«Нет, я как раз и имел в виду: за что он убил сапожника?»

«А ни за что, просто так. Поэтому и попал в сумасшедший дом. А если бы убил за что-то, попал бы в тюрьму. Очень просто».

Фома вежливо покивал, мол, бывает, и спросил:

«И как он его убил?»

«Ножом. Три раза ударил и все. Хотя уже первый удар был в сердце».

«А кем они были друг другу? Друзья? Родственники?»

«А никем. Совершенно. Они и знакомы-то не были. В том-то ж и дело. Вбежал с улицы в мастерскую, схватил нож и убил».

Старичок допил рюмку и облизал губы.

«Еще?» – спросил Фома.

«Если можно. Очень вкусно».

«Да, – протянул Фома, наливая ликер. – Странно. Вот так сидишь, а тебя вдруг раз и всё...»

«Это если смотреть со стороны. Тогда действительно странно и непонятно.

«А вам понятно?»

Старичок вздохнул, поднял глаза в потолок и пожал плечами.

«А что если так: однажды юноша вдруг раз и навсегда усомнился в подлинности окружающего и с тех пор ощущал себя чем-то вроде агента другой реальности, настоящей, который послан сюда с какой-то пока скрытой от него целью. Случай не такой уж редкий. И вот сапожник, который, допустим, чем-то поразил его воображение, был в его фантазии тоже таким глубоко законспирированным агентом. Настолько глубоко, что никакое общение с ним было невозможно. Еще допустим, что во сне сапожник-агент время от времени приходил к юноше-агенту, и это было единственным местом, где они могли откровенно поговорить. Там они и договорились, что если кого-нибудь из них раскроют, другой обязательно должен ему помочь уйти. И вот как-то раз молодой человек смотрит в кинотеатре кино, пленка рвется, и в зале начинают кричать «Сапожник! сапожник!», знаете, иногда кричат. Молодой человек понимает, что сапожник раскрыт, и прямиком отправляется из кинотеатра в сапожную мастерскую. Ну и... Все очень просто. А? Как вам такая версия?»

Фома смотрел на Игоря Сергеевича с недоумением.

«Хотя возможно, – продолжил тот, – всё было иначе и несчастный сапожник тут действительно был совсем ни при чем, а его убийством юноша подал знак кому-то. Может быть, какому-то другому сапожнику. А может, и не сапожнику. Кто его знает. Я к тому, что жизнь чрезвычайно многообразна и полна скрытого движения. Внешний наблюдатель между точками А и Б видит, как правило, прямую линию. Но иногда подденешь эту линию ножичком, и вываливается столько всего неожиданного... Не так ли?»

«Да, конечно... – растерянно произнес Фома. – Вы психиатр?»

«Ну, не то чтобы...» – уклончиво ответил старичок, и тут в полураскрытой двери появилась его дочь.

«Папа, что ты здесь делаешь?» – строго спросила она.

«Иду-иду!» – быстро отозвался старичок и вскочил со стула.

«Занятный дедушка», – подумал Фома, когда они ушли.

***

В один из дней нашей поисковой эпопеи мы с Фомой быстрым (что вовсе не значит: бодрым) шагом идем на Новый базар. Официальная версия похода: поиски проклятого Сыча, но мы-то понимаем, что это для нас уже не больше, чем легенда, прикрытие, потому как настоящая цель попить вначале огуречного рассола из бочки, потом капустного, потом поесть фантастически вкусного украинского борща на том же базаре, выпить под него по сто пятьдесят, послушать, о чем говорят сидящие вокруг крестьяне, строители или рыбаки, ну а там как Бог даст.

Значит, идем мы – быстро, не глядя друг на друга, – и вдруг сталкиваемся лицом к лицу с неким Б., давно не виденным старым знакомым. Кивком так просто не отделаешься, приходится остановиться и поболтать из вежливости.

«Привет».

«Привет».

(говорим попеременно я и Фома)

«Как дела?»

«По-всякому».

«Вы как здесь?»

«Да вот, по делу, а ты?»

«Тоже. На работу».

Мы с Фомой немало удивлены, потому как никогда не знали за Б. такой слабости.

Фома:

«На работу?»

«Да».

«Где-то сторожем?»

(время около пяти вечера)

«Нет, здесь во дворце. Я преподаю, веду кружок».

(вышеуказанное удивление умножаем на десять; но виду не подаем)

«Да... интересно... а что за кружок?..

(мы и не подозревали, что до сих пор существует это милое сердцу словцо)

«Кружок сужения сознания».

Я или Фома, не помню:

«Как?»

«Кружок сужения сознания».

«В смысле?»

«КСС. Кружок сужения сознания».

«И это кружок... в смысле, этот кружок, в смысле такой кружок, с таким названием находится вот здесь, во дворце, куда мы ходили, когда были пионерами?»

«Да, кружок, вот здесь, во дворце».

Пауза. После паузы:

«И это вполне официально, да? В смысле (извини), со всеми бумагами, разрешениями?..»

«Есс-стественно. В смысле».

«Я просто тоже преподаватель, мне интересно... хм... и часто у вас занятия?»

«Раз в неделю».

«Ну ладно... то есть... нет. Сейчас... (пауза) А чем вы там занимаетесь?»

«По-моему, название говорит само за себя – сужением сознания».

Я замечаю, что Фома нервничает. Видно, что с одной стороны, его жжёт желание побыстрей добраться до места назначения, а с другой, очень хочется, прямо сию же минуту, не сходя с места, добраться до самой сути услышанного.

А вот чем занимаются в кружке, я расскажу чуть позже.

***

Фрагмент главы из романа Сыча.

«Милая княгиня! – писал несчастный. – Зная Вашу потребность в свежих впечатлениях и неистребимое влечение ко всякого рода рискованным предприятиям, хочу, прежде чем Вы отправитесь в свой voyage, самым серьезным образом предостеречь Вас от возможного решения воспользоваться услугами “Цыганских авиалиний“ (“Ром Авиа“), как это произошло со мной. Упаси Вас Бог! Я и сам, часто ищущий на одно место (pardon!) приключений, однажды попался на эту удочку. То был небольшой в сотню мест самолет. Лишь только я вошел в салон, как понял, что в поисках острых ощущений зашел уж слишком далеко: какие-то пестрые тряпки, которыми был завешан весь салон, сопливые ребятишки, ругань, дикая, бьющая по ушам музыка... Я удивляюсь, как сей аппарат вообще взлетел. Помню как однажды, когда мы в очередной раз находились в воздухе (это “в очередной раз“ вам скоро станет понятно), по проходу между креслами, от кабины вечно пьяных пилотов в сторону хвостовой части пробежали, обгоняя друг дружку, две огромные, бурые крысы. “Крысы бегут с корабля!” – мелькнуло у меня тогда, и, очевидно, не только у меня, поскольку большей частью пассажиров, ставших свидетелями этой пробежки, овладело беспокойство. Вскоре, однако, наши грызуны сообразили, что бежать с корабля некуда, и через две-три минуты мы увидели, как они с той же скоростью проследовали в обратном направлении. Мы

немного успокоились, но ненадолго: началась такая болтанка, что вряд ли у кого-то из летевших тем злосчастным рейсом оставалась хотя бы крошечная надежда на благополучный исход. Это был, поверьте на слово, сущий ад: крики взрослых, визг детей, рев бьющихся в клетках багажного отделения медведей... Я видел, как те же крысы опять промчались в хвост и менее чем через минуту опять же бежали назад, и мне даже показалось (или то была игра расстроенного воображения?), что я разглядел на их усатых отвратительных мордочках выражение панического недоумения. Слава Богу, мы сели. Я не в силах передать вам всех злоключений, выпавших на долю пассажиров. Достаточно сказать, что только до Вены мы добирались 18 часов. (Конечным пунктом у нас была Барселона.) Каким-то образом (впрочем, когда имеешь дело с цыганами, то очень даже известно каким) стюардессы (две толстые, постоянно курящие цыганки) завладели нашими документами. Каждые два-три часа мы садились в каком-нибудь аэропорту, где нам всем, вместе с экипажем и медведями, надо было заработать на керосин, чтобы лететь дальше. Кстати, прожорливость этого летательного аппарата была просто фантастической. Итак, мы пели, плясали, боролись с медведями... и летели дальше. А как ужасно они (экипаж, стюардессы) во время всего перелета обращались с этими бедными, доверчивыми немцами! (Помню, как однажды... нет, не хочу.) Я мог бы еще много чего Вам рассказать (мы, например, побывали в Ницце. Не могу понять, княгиня, что Вы в ней находите – хлопающие двери подъездов и, извините, убийственное ambre урины из каждого), но зачем нанизывать друг на друга эти ужасы! Просто поверьте мне, и да хранит Вас Бог!»

Совершенно ясно, что он пытался пройтись тут (зная некоторые факты его биографии) по Фоме, но... дальнейшее – молчание. А все-таки – что за сволочь!..

VII

Да уж: трудно было не догадаться, по кому в этом весёлом письме прошёлся Тверязов – когда-то газета, в которую Тягин позже пришел работать, опубликовала серию его путевых заметок о небольшом путешествии автостопом по европейскому югу. Но еще до письма, с самых первых страниц тверязовских хроник Тягин стал замечать свое в них присутствие. С каждым следующим абзацем странное, немного волнующее ощущение узнавания навещало его всё чаще и отчетливей и скоро переросло в твёрдую уверенность: один из главных героев романа, Фомин, списан по большей части с него. Так же как приятель Фомина Фомский был списан с автора. В обоих случаях, как и во всех других, не обошлось без примесей. В том же Фомине, как уже было замечено, мелькнул кое-какими деталями обстановки и девицей (естественно, не той вчерашней, а какой-нибудь из прошлых, которые у него не переводились) Абакумов. А в упоминании о разбогатевшей в браке сестре издевательски подмигнул Хвёдор. Тут, однако, и не пахло злой преднамеренностью, желанием уязвить или выставить в невыгодном свете. К тому же Тверязов вольно или невольно избегал точного копирования. Казалось, всё, что имелось в его распоряжении – биографии, характеры, внешние данные, – он тщательно перемешал и раскидал в произвольном порядке, не заботясь о том, кому что достанется. В этих переливах, в пестрой многоликости героев, которые при каждом повороте неожиданно оборачивались еще кем-то, была особая дополнительная прелесть – удовольствие, доступное, увы, только посвященным. Нравилось Тягину и то, как, с какой тёплой непосредственной живостью всё подавалось, и вот это уже касалось качества и содержания написанного. Начиная читать, он готов был к тому, что роман окажется какой-нибудь развесёлой, с подмигиванием на все четыре стороны, одесской литературой, к которой Тверязов (с его-то характером и образом мыслей!) имел парадоксальную и необъяснимую для Тягина склонность. Одесским колоритом самого дурного пошиба, вплоть до фразочек, якобы подслушанных на Привозе, он когда-то даже пытался, правда не очень успешно, зарабатывать. И тут – такое.

Словом, Тягину, к его облегчению, было за что, не кривя душой и без всякой натуги, похвалить Тверязова. Вот уж действительно: не ожидал. Главное – откуда? Выходит что ж? Страдания и в самом деле того... не проходят даром? Вот тебе, Саша, и компенсация какая-никакая. Чем не? Уж не завидовал ли он ему? Ну, да, было чуть-чуть. Сам он никогда не умел придумать не то чтобы сюжета, а хотя бы общего движения, захватывающего и увлекающего героев. Да и с героями было не очень. И, если уж говорить начистоту, не было по большому-то счету вообще ничего, кроме мучительного желания писать и быть писателем. Нет, то была не зависть, конечно, а почти изжитое, но сейчас вновь вспыхнувшее сожаление о том, что так долго томившая его страсть ничем не увенчалась. Чувство вроде того, что оставляет после себя безответная любовь. Ощущение не из сильных. Скорее из разряда мелких мимолетных беспокойств. Требующих, впрочем, почему-то иногда столь обширных объяснений.

Всем этим (кроме последних умозаключений) Тягин собирался поделиться с Тверязовым по дороге на Староконный, но тот сразу же уклонился от разговора и попросил не доверять впечатлениям от первых нескольких страниц и не торопиться с выводами. Разогнавшийся на получасовой монолог Тягин дернул плечами.

– Как хочешь, – недовольно сказал он. – Но если всё там и дальше в таком же духе, можно кое-кому предложить в Москве.

Но еще перед этим, едва они, встретившись на Пушкинской, пожали руки, Тягин сердито отчитал Тверязова за болтливость. Речь шла о вопиющем, по его мнению, случае с Хвёдором.

– Ничего я ему не сообщал, – удивлённо возразил тот. – Он знал, что ты приехал. Ему сестра звонила.

«Как же он боится произнести это имя: Даша», – подумал Тягин и сказал:

– А про парня в красном платье, про его взгляд? тоже сестра?

– Так то уже потом, когда разговорились, – усмехнулся Тверязов. – Мне просто понравилось, как ты испугался, что кто-то из вас сейчас узнает другого.

Тягин, впрочем, и сам догадывался, что вряд ли Тверязов стал бы специально рассказывать туповатому Хвёдору о его встрече взглядами с убийцей. Скорее всего, хватил за воротник и начал, по своему обыкновению, разглагольствовать. Уровень собеседника никогда не имел для него особого значения. И тем не менее.

– А, ну да, ты же писатель... – пробурчал Тягин.

По рядам блошиного рынка он ходил через силу. Вид выложенного на асфальте и развешенного по стенам и деревьям барахла действовал на него так же удручающе, как квартиры одесских знакомых. Тверязов это заметил.

– Скучаешь?

Тягин вяло поморщился и сказал:

– Я, кстати, теперь, как бык, дергаюсь на красный цвет. На этот оттенок.

– На какой?

Тягин поискал глазами и показал на висевший среди старого тряпья широкий женский пояс:

– Ну, вот где-то такой. Алый.

После прогулки по рядам, когда спустились вниз, Тверязов завёл Тягина в тесный дворик, открыл без стука одну из дверей, откинул занавеску и они вошли в небольшую кухню, в которой сидели и смотрели телевизор две женщины; одна из них, отложив вязание, взяла у Тверязова деньги, вторая сделала телевизор потише и разлила водку. Тягин выпил, не закусывая. Тверязов взял с тарелки дольку соленого огурца; выпив, весело крякнул.

– Ну что? – сказал он на улице. – Настал момент истины? Идём.

– Куда еще?

– Пошли-пошли. Всё равно ж гуляем.

Они вышли за Колонтаевскую, прошли квартал или два, повернули налево, поднялись еще на полквартала и вошли в калитку в деревянных воротах, которыми была наглухо запечатана подворотня. Небольшой двор, куда они попали, был, по всей видимости, выселен; кое-где в двухэтаж-

ных домах с деревянными галереями зияли пустые оконные проёмы. По левой стороне тянулся ряд сараев под сырой известняковой стеной с одним маленьким оконцем на самом верху. В центре двора, рядом с водяной колонкой высилась огромная черная акация и под нею понуро стояла перед ведром грязная лошадка пони с заплетенными в гриву разноцветными ленточками; тут же на скамейке у стола сидел, обхватив живот руками и согнувшись в три погибели, мужичок в телогрейке. По плитам бродили куры и пара гусей; в углу блеяла коза на привязи. Где-то гулко стучал молоток. Следом за ними во двор вошли две девочки лет двенадцати, одна из них несла седло.

– Девочки, Георгия позовите, – попросил Тверязов. – Он есть?

– Есть, – ответила та, что с седлом. – Сейчас.

Тверязов повернул в правый ближний угол двора и подвел Тягина к полутораметровому забору из продольных досок в разоренной части первого этажа. Видимо, заслышав их голоса, из погруженного в сумеречную темноту помещения к загородке подтянулось, отрывисто похрюкивая, с десяток молодых бодрых свиней.

– И куда мы пришли?

– К человеку-свинье. Ты же хотел? Вот.

– Я хотел?!

– А что – не хотел?

– Ладно. И что дальше?

– Сейчас увидишь. Вернее, услышишь. Его апартаменты, – сказал Тверязов, показывая на загон перед ними.

– Ты хочешь сказать, там где-то человек?

– Терпение.

Пока ждали Георгия, Тягин спросил, что это за двор, и Тверязов рассказал, что с тех пор, как отсюда выселили жильцов, здесь держат животных, которых выводят на заработки в парки и скверы. Летом разъезжают передвижным зверинцем по области.

– И много тут животных?

– Хватает. Половина квартир заняты. Сейчас все в городе на работе.

Подошла какая-то баба в грязном фартуке с ведром, опрокинула его в кормушку за досками, и оттуда вместе с паром поднялась тёплая кисловатая вонь. Свиньи забушевали, завизжали, зачавкали, толкаясь в доски.

Наконец, во втором этаже появился некто в ковбойской шляпе, и Тверязов взмахнул рукой.

– Георгий!

После неспешного прохода по верхней галерее и столь же неторопливого по нижней, пред ними наконец предстал тот, кого они ждали – цыганистого вида щеголь в кожаной жилетке и остроносых сапогах на высоких скошенных каблуках. Тверязов их познакомил. Возня в свинарнике к тому времени стала затихать. Георгий щелкнул зажигалкой, прикурил и пригласил их отойти чуть в сторону, где пространство над загородкой было закрыто двумя желтыми фанерными листами. Георгий пошлепал по фанере ладонью.

– Васька, к тебе пришли!

Еще и пронзительно свистнул. По ту сторону было тихо.

– Эй-эй-эй! – опять захлопал по фанере Георгий.

Они подождали еще с минуту, и Георгий крепко ударил носком сапога по нижним доскам. Сквозь продольные щели между ними Тягин заметил какое-то движение, даже почудился обращенный на него взгляд, и он едва удержался от того, чтобы наклониться и рассмотреть получше.

– Может, он сегодня не в духе? – спросил Тверязов.

– Нормально! Ему немножко разогреться надо. Васька! Эй! Давай уже, ну! Хрюкни что-нибудь!

У Георгия был заметный, отдающий некоторым курлыканьем, бессарабский акцент.

– Спит, может быть? – опять предположил Тверязов.

– Свинья спит – служба идёт, да? Ничего, спит – разбудим.

Георгий развернулся к свинарнику спиной и саданул раза три скошенным каблуком по пру-

жинящим доскам. Прислушавшись, приложил палец к губам и отступил на шаг. За перегородкой послышалось шевеление, толчки и, наконец, оттуда донеслось низкое, напряженно-утробное:

– Мыхаил...

После паузы еще утробней:

– Мыхаил...

Молчание и опять ворочание, толчки.

– Ты – Михаил? – спросил Георгий Тягина.

– Михаил, – подтвердил тот. – Он наверное услышал имя, пока мы здесь вас ждали, разговаривали...

– Тогда отвечай.

– Здесь! – громко, отрывисто произнёс Тягин.

Георгий кивнул, раздавил носком сапога окурок и, повышая голос, опять обратился к перегородке:

– Ну! Михаил. Дальше что?! Говори, не зли меня! А то на колбасу пущу... – он подмигнул Тягину.

– Мыхаил... – опять донеслось с той стороны. – Мыхаил, слышишь?

– Слышит-слышит, давай! – приказал Георгий. Он отхаркнул в сторону и, приготовившись слушать, расставил ноги пошире, сложил на груди руки и опустил голову.

– Знай же, – отозвался человек-свинья за досками.

Он несколько раз глухо и отрывисто прохрипел, видимо прочищая горло, чем-то пошуршал и, наконец, медленно с паузами затянул:

– Знай же... не смертное зло, а бессмертное скилла... свирепа... дико-сильна... ненасытна... сражение с ней невозможно... мужество здесь не поможет... одно здесь спасение... бегство.

Он умолк и Тягин переглянулся с Тверязовым, который, усмехаясь, гримасой изобразил: «так-то!».

– Откуда это? – вполголоса спросил у него Тягин.

– А вот думай. Тебе же сказали.

– Васька, всё? – спросил Георгий.

– Всэ. Крапка, – ответили ему.

– Тогда повтори. Давай. Еще раз.

И так же медленно, и с теми же паузами всё было повторено.

– Вы что-нибудь поняли? – повернулся Георгий к Тверязову.

– Да, спасибо, – кивнул тот и сунул хозяину деньги.

– Точно? Он может еще повторить. Сколько надо, столько повторит. Васька!..

– Спасибо, достаточно.

– Пожалуйста. Приходите еще, – сказал хозяин и попрощался.

За перегородкой было тихо.

– Ну, в принципе, придумано неплохо, – произнес Тягин, когда они вышли на улицу. – Новая точка на туристической карте города. Он якобы живет в этом загоне?

– Якобы да. А представь, если он и в самом деле лежит там в жиже и картофельных очистках...

– Ты так и не сказал, что это было.

– Одиссея. Он всем оттуда читает. У тебя, если не ошибаюсь, был отрывок со Сциллой и Харибдой.

– Он там с книжкой сидит?

– Не знаю. Может наизусть помнит. Что тебя смущает?

– Нет, ничего, – ответил Тягин, которого и впрямь несколько смутило совпадение только что услышанного с настойчивым советом фельдшера быстрей уезжать. – А тебе он что зачитывал, если не секрет?

– Не помню уже. Но там были слова: «земли бесполезное бремя».

– Ну, такое любому подойдёт.

– Так и твоё любому подойдёт. Как посмотреть.

– И давно он здесь пророчествует?

– Около месяца. Только еще набирает известность.

Тверязов потянул его в близлежащую рюмочную. По дороге Тягин от только что увиденного вновь перешел к убийству в поезде.

– Я тут вот что подумал, – говорил он. – Может человек совсем не случайно становится свидетелем каких-то происшествий, всех этих аварий, катаклизмов?..

– Сейчас все всему свидетели, – сказал Тверязов.

– Нет – речь только о непосредственном присутствии. Вживую. Мы же как к этому относимся: произошло, прошло и ладно. Слава Богу, что не с нами. А если это и с нами? Я о чем. Не следует ли толковать некоторые происшествия как сны? Ну, хотя бы самые яркие, чрезвычайные. Которые слишком выбиваются из обычного порядка вещей. Они и отдают часто сновидением. Говорят же: как во сне. Может быть, надо и относиться к ним так? Открываешь сонник и смотришь: железная дорога. Поезд. Красное платье. Произошло к тому-то, жди того-то. А вот это символизирует то-то.

Тягин вдруг вспомнил: а ведь что-то похожее он слышал от Хвёдора, когда тот водил у него перед лицом заскорузлым пальцем и говорил, что парень в красном платье посмотрел на него не просто так.

– Слишком сложно, – возразил Тверязов. – Так совсем с ума сойдешь: толкования на толкованиях и толкованиями погоняют... брр!..

– Я говорю об исключительных событиях.

– Начнешь с исключительных, закончишь всеми подряд.

Всю их прогулку Тягин ломал голову: стоит ли рассказывать Тверязову о своём посещении Абакумова? знает ли тот вообще, что расписки у него больше нет? Самым подходящим был момент после того, как они выпили, и Тверязова немного развезло, но тут Тягин как-то замешкался. Да и на скандал боялся нарваться. А позже, с походом на скотный двор эти раздумья и вовсе вылетели у него из головы.

На следующий день ему позвонила бывшая жена Тверязова и предложила встретиться. Когда он вышел на угол Канатной и Карантинного спуска, там не было никого кроме пьяной немолодой бабы у киоска. Держась за прилавок, она маялась, топталась, то и дело роняла голову. «А по голосу не сказал бы», – пошутил про себя Тягин. В ту же минуту из-за киоска быстро вышла маленькая, похожая на подростка женщина лет тридцати, в очках. На левом плече у нее висела гитара в кожаном чехле, а за спиной был рюкзак с торчащей из него деревянной рукоятью меча, обмотанной между головкой и крестовиной черной изолентой. Она решительно подошла к Тягину и окинула его строгим оценивающим взглядом с головы до ног.

– Я Мальта.

Тягин пожал энергично протянутую руку.

– У меня есть к вам серьёзное предложение, – сказала Мальта.

И рассказала, что ей позвонил испуганный Абакумов и попросил, чтобы она сказала Тягину, если тот к ней обратится, что получила половину от суммы, указанной в расписке. Обещал отблагодарить. Попросил даже как-нибудь погрубее отшить Тягина. На самом деле она никакой половины не получала. Из разговора же поняла, что Абакумов очень Тягина боится, а следовательно, у Тягина есть хороший шанс заставить его расплатиться по полной. Она готова всячески способствовать.

– Это он вам дал мой телефон? – недоверчиво спросил Тягин.

– Я взяла его у Тверязова. Сказала, что мне надо узнать у вас кое-что насчет работы в Москве.

Тягин задумался: нет ли здесь подвоха.

– Так сколько же вы тогда получили? – поинтересовался он.

Мальта помялась и сказала:

– Мне срочно нужны были деньги. – Она запнулась. – В общем, он сказал, что в таких случаях полагается десять процентов.

– В каких таких случаях?

– Когда расписку приносит кто-то другой, не хозяин.

– Ну, что-то вроде этого я и предполагал. Я думаю...

– Давайте так, – нетерпеливо перебила она. – Я ему скажу, что вы звонили и я сделала всё, как он сказал, то есть подтвердила вам про половину. Он расслабляется. А потом мы с вами неожиданно приходим к нему вдвоём, и там, на встрече, я говорю, как было на самом деле. И всё! – она звонко щелкнула пальцами. – Он у нас в кармане!

– Пи*дой щелкни, – сказала пьяная за её спиной.

Мальта обернулась, быстро подошла к бабе и, вскинув над головой кулак, качнулась на неё всем телом. Та замерла, потом медленно, косясь по-собачьи, отвернула лицо и пошла прочь.

– Как вам такая идея? – вернувшись, спросила Мальта. – Получим деньги – треть ваша, остальные мои.

– Не многовато? – спросил Тягин.

– А вам трети мало? Всё-таки расписка моя.

– Ваша? Я думал, Тверязова.

– Она досталась мне. Когда мы расходились.

– А он об этом знает? Мне показалось, что нет.

Она подкинула рюкзак, поправила очки и, обнажив в улыбке немного выступавшие вперёд верхние зубы (если б не этот небольшой дефект, её смело можно было бы назвать хорошенькой), сказала:

– Ладно. Можем обсудить. Соглашайтесь. Всё должно получиться. Он хоть и жадный, но трус и дурак.

«Ты умная, – подумал Тягин. – И щедрая».

– Ничего тут уже не может получиться, – сказал он. – Вы взяли деньги и отдали расписку. Всё. Конец истории.

– Это несправедливо.

– Да уж, – согласился Тягин. – Только что, собственно, изменилось? Почему вы сейчас об этом вспомнили?

Мальта несколько секунд смотрела на него немигающим взглядом.

– Я просто вижу, как он вас боится, – наконец сказала она. – Я это очень хорошо почувствовала. И этим надо воспользоваться. Наказать его.

– Забудьте. Бог накажет.

– Это несправедливо.

– Ну... справедливо, несправедливо... – усмехнулся Тягин. – Вы вот получили деньги по Сашиной расписке, а он ни сном, ни духом.

– Вы опять? Вы ничего не знаете и не можете судить.

«А в самом деле, что я знаю? Только то, что мне рассказал Абакумов. И почему из того, что Тверязов не захотел говорить на эту тему, я решил, что он ничего не знает?»

– Тут вы правы, – согласился Тягин.

– Я на днях опять уезжаю, а когда вернусь, мы могли бы всё сделать, – предложила она.

– Нет, – покачал головой Тягин. – Я же вам только что объяснил.

Мальта крепко задумалась, потом быстро проговорила:

– Вы домой сейчас? Вы тут рядом живёте? Можно я у вас помоюсь? Утром только приехала из Львова, а дома воды нет. У меня всё с собой: полотенце, шампунь...

– Э-э... – растерянно протянул Тягин и, не придумав от неожиданности причины отказать, согласился. – Ну ладно, идёмте.

По дороге он спросил:

– Мальта – ваше настоящее имя?

– Так меня называют друзья.

Как-то она стала ему даже интересна. Впрочем, ненадолго.

Пошумев в ванной, после того как Тягин показал ей что и как делать, она вышла нагишом в кухню и присела над своим рюкзаком. Свесив узкий продолговатый зад, вытянула за рукоять меч в кожаных ножнах с медными кольцами, поставила его в угол и стала рыться в вещах.

– Шампунь забыла, – пояснила она, уходя обратно в ванную.

Тягин поставил на огонь чайник и выложил на стол нехитрое угощение.

Выкупавшись, Мальта вышла в его халате.

– Увидела, сразу захотелось закутаться. Ничего?

Она опять показала торчащие вперед крупные детские зубы и сев напротив, поджав ногу, стала расчесываться. С каждым движением рук халат распахивался всё шире. У неё были маленькие острые груди с лиловыми сосками-наконечниками. Еще и блядь, подумал Тягин. Теперь понятно, как Тверязова угораздило жениться. Бедный, бедный Саша. И тут у Тягина от отвращения и ужаса даже дернулся низ живота. До него как будто только сейчас дошло: да ведь нагая гостья в его халате, вот эта дамочка с мечом и гитарой – не только знакомая Абакумова (что его странным образом и сбило с толку), но и – в первую очередь! – бывшая жена Тверязова! Еще одна его бывшая жена. Ёлки-палки, да у нее, может быть, и фамилия его! Мальта Тверязова, прости Господи. Пришла узнать кое-что насчет работы в Москве. О Боже! Ему тут, в этот приезд, совсем, что ли, мозги отшибло? Всё разом так нахлынуло, что Тягин, не усидев, резко поднялся и сказал.

– Будете уходить – захлопните дверь.

– У вас ничего нет выпить? – спросила Мальта.

– Дома не держу.

Он ушел в комнату и сидел там как на иголках, запугивая себя всё больше и больше: вот раздается звонок в дверь и на пороге стоит Тверязов. И в дверь таки позвонили. Но это был не Саша Тверязов, а Филипп с очередным покупателем.

VIII

«Слушай, Фома, тут ко мне сейчас должен зайти некто Юлик, придется тебе его взять на себя. Я – болен».

«А кто это?»

«Да хрен его знает. Пишет в газеты какие-то омерзительные рассказы в одесском духе. Мы с ним давным-давно выпивали, и меня угораздило завести его к себе. Не знаю, зачем я ему понадобился. Я даже отказать не успел. Сказал, что сейчас будет, и бросил трубку, скотина. (Раздается звонок в дверь.) О, слышишь? Всё, я пошел к себе».

Я открываю дверь. На пороге стоит полный, лысоватый человек.

«Здравствуйте. Мне нужен Фома».

«Вы Юлик?»

«А что, не видно? Вы кто?»

«Я его друг. Входите. Сюда, пожалуйста...»

Я провожу его на кухню, где за плитой орудует Марина. Юлик здоровается с ней и оглядывает помещение.

«Ты только посмотри, какая здесь у вас чистота!.. (За день до этого Марина сделала генеральную уборку.) Плюнешь – отскочит. А где хозяин?»

«Садитесь».

Юлик садится на предложенный стул. Я не люблю плохо выбритых людей; или совсем не брейся, а если уж бреешься – будь добр.

«Извините, но Фома очень болен и не сможет уделить вам времени, – говорю я, усаживаясь напротив Юлика. – Если у вас есть какие-то вопросы, можете передать через меня».

«Болен? А чем он может быть болен?!»

«Он в глубокой депрессии. Глубочайшей. Я такой не помню».

«В депрессии? Нашли болезнь! Где он? Проведите меня к нему, и через пять минут он будет живчик! Я мертвого могу поднять! Вы нашу газету читаете? Нет? Напрасно. Тогда бы вы поняли, что я имею в виду. Давайте, ведите меня к нему!»

«Боюсь, что это невозможно».

«Тогда пусть выйдет сам».

«Боюсь, что это тоже невозможно».

«Боюсь! Боюсь! Что вы боитесь? Мне надо с ним встретиться. Он меня знает. Хотите свежий анекдот на эту тему?»

«Нет, не сейчас, потом как-нибудь».

В это время Марина проходит мимо нас и уходит в коридор.

Юлик (подмигнув ей вслед, понизив голос):

«Это кто?»

«Домработница».

«Как звать?»

«Марина».

«Ничего деваха. Фома ее (два коротких свиста, сопровождаемые движением кистей на уровне чресел), да?»

«Не знаю. Не спрашивал».

«А что тут спрашивать? И ежу понятно».

«Ежу – может быть. Мне – нет. Давайте перейдем к делу».

«Так он таки не выйдет? Вы не шутите?»

«Нет, это исключено».

«Точно?»

«Абсолютно».

«Странно... Ну хорошо: не выйдет так не выйдет. Хорошо».

Юлик достает носовой платок, сморкается, прячет платок в карман и наклоняется ко мне.

«Понимаете, от меня ночью ушла жинка и прихватила с собой, сучара, всю наличность. Мне срочно нужны деньги».

«Хорошо, – говорю я, поднимаясь, – я сейчас спрошу Фому, подождите минутку».

«Что значит “спрошу Фому”? Вы даже не спросили сколько!»

«Я для начала узнаю, готов ли он в принципе одалживать деньги. Я сейчас».

«Может быть, сходим вместе?»

«Я же вам сказал: он очень болен».

«Ну, хорошо, хорошо. Болен. Чтоб я был так здоров, как он болен».

Я захожу в комнату Фомы. Фома слушает Сару Вон и танцует, лежа на спине, на своей кровати; танцует он, извиваясь всем телом и поводя вытянутыми вверх руками; в зубах дымится сигарета; Сара Вон поет «Black Coffee»; рядом с Фомой на столике бутылка «Бомбей Сапфир». Заметив меня, он откладывает сигарету, делает музыку потише и наливает джин в два стакана, один из которых протягивает мне. Мы чокаемся и выпиваем.

«Итак?» – спрашивает Фома.

«Он просит в долг. От него ночью ушла жена и забрала все деньги».

Фома задумывается, потом медленно качает головой и говорит:

«Вот его жене, за то что она ушла, я бы дал, а ему нет. – Фома задумывается. – Впрочем, если только язык... Тем более что я не знаю, ушла ли она на самом деле, да и была ли она у него вообще. Нет. Твердое нет».

«А причем тут язык?»

«Язык?»

«Ты что-то начал о языке».

«Ах, да! Спроси у него, сколько будет стоить отрезать ему язык».

«Ты серьезно?»

«Совершенно».

«Смотри. Я ведь могу и спросить».

«А я о чем? Давай. Я за ценой не постою».

«Хорошо».

Уже в коридоре я слышу голос Юлика:

«Ты ж понимаешь, Мариша, одессит – это национальность. Я тебе в любой точке земного шара узнаю одессита за километр. Ты не читаешь нашу газету? Я как раз там много пишу за Одессу. За ту, настоящую. Заходи в редакцию, я тебе дам подборочку...»

Я вхожу в кухню и сажусь на свой стул. Юлик поворачивается ко мне. Марина у раковины хмуро драит сковородку.

«Ну как наш больной? Еще жив?» – спрашивает Юлик.

«Спасибо, ничего. Фома передал, что не расположен сейчас одалживать деньги, но у него есть встречное предложение...»

«А почему это он не расположен?»

Я пожимаю плечами.

«Хорошо, ладно. А что за предложение?»

«Только я вас сразу предупреждаю, что это не шутка и не розыгрыш».

«Интересно».

«Фома спрашивает, за какую сумму вы бы согласились, чтобы вам отрезали язык. Сколько, по-вашему, это может стоить. Он готов заплатить».

Долгая пауза, в течение которой Юлик смотрит на меня, я на него. Марина у раковины замирает. Слышны только крики детей во дворе. Наконец Юлик произносит:

«Это что, шутка?»

«Я же вас только что предупреждал. Это вполне серьезное предложение».

«Так. Серьезное предложение. Хорошо... – Юлик поджимает губы и вытягивает их в ниточку. – А ну, позовите его сюда!»

«Я вам сказал: это невозможно».

«Ах, невозможно... – Юлик размеренно кивает. – Ну тогда я сам!»

Он вскакивает, опрокидывая за собой стул, и бежит в коридор; я кидаюсь за ним; меня обгоняет Марина; она перехватывает Юлика у входной двери и, замахнувшись сковородой, кричит:

«А я вот сейчас как пере**у тебя этой сковородкой, так ты у меня не то что без языка, без головы останешься, козёл!»

Юлик замирает и, не мигая, смотрит на Марину. Я отпираю дверь и говорю:

«До свидания».

«Хорошо-хорошо... хорошо... – говорит Юлик, поворачиваясь то ко мне, то к Марине. – Мы еще посмотрим. Мы тоже умеем шутить. Мы так пошутим в нашей газете, что вам и ему мало не покажется!»

«До свидания», – повторяю я.

Юлик выходит, и Марина запирает за ним дверь.

В комнате Фомы звучит какое-то печальное струнное адажио. Лицо Фомы мокро от слез.

«Ну что?» – спрашивает он и шмыгает носом.

«Язык не продается».

«Жаль. Кстати, звонил наш тезка, писатель, сказал, что в городе, зайдет».

«Наш тезка?!»

«Ну писатель. Фома. Помнишь такого?»

«Ах, этот! Конечно, помню!»

Открывается дверь, и Марина командирским голосом объявляет:

«Обед!»

***

Немного воспоминаний.

«А теперь после музыкальной паузы – скажу вам по секрету, мой напарник от переизбытка чувств пытался тут под этот полонез из убойного тройного бетховенского концерта даже сплясать – итак, после музыкальной паузы мы предлагаем вам послушать два коротких рассказа нашего постоянного слушателя и корреспондента Фомы. Надо сказать, редкая радиопередача обходится без своих радиослушателей...»

(убирая звук) «Что ты несешь, пьяная ты морда?! Ты только хотел сказать, что Фома – это редкое имя...»

«А я не сказал?»

«Нет».

«Ах ты ж. Кстати, тебе не кажется странным такое совпадение: ты – Фома, я Фома, и нам приходит письмо от Фомы?»

«Нет, не кажется. Может быть, он псевдоним в честь нас взял».

«Думаешь?.. А что? Вполне может быть. Решил подольститься. Ты же знаешь, какая это изворотливая публика – писатели...»

«Ты читать будешь?»

«Буду. Включай».

«Поехали».

«Итак, рассказ Фомы “Братья”.

Давно пора было это сделать, да всё как-то руки (грубые, заскорузлые руки водилы) не доходили. А тут вспомнил за ужином, что у Мишки-то через неделю день рождения и, чтоб уж больше не откладывать, отодвинул пустую тарелку, попросил у сына листок из тетради и ручку и принялся писать: “Здравствуй, брат!“. Его брат Михаил в это время за тысячу километров от него вскочил на подножку тронувшегося от рынка трамвая, надавил на стоящих стеной пассажиров, чтобы дать возможность закрыться дверям за спиной, и полез в карман за мелочью; “Вошедшие пассажиры, оплачиваем проезд!“ – сказала, глядя на него поверх голов, кондукторша, чей брат в эту минуту крушил всё, что под руку попадется, гоняясь по квартире за своей полуодетой женой; брак её оказался неудачным, а последние два месяца, после того как мужа уволили с работы, просто невыносимым. Её брат по отцу теперь каждый день звонил и спрашивал: как дела; вот и сейчас он прижимал к уху трубку и с тревогой слушал длинные глухие гудки, свободной рукой поглаживая таксу Эмму. Брат Эммы, Карл Фридрих, как и она, попал в хорошую, обеспеченную семью: он (банковский служащий), она (домохозяйка) и двое детей; младшую девочку звали Варей, ее брата – Никитой. Никите уже в два года поставили нехороший диагноз, без всякой надежды. Теперь Никите было восемь, и он целыми днями изрисовывал бумагу какими-то каракулями, красным и чёрным фломастерами. Это была хроника многолетней войны братьев Муху (красный) и Хуху (чёрный). В конце концов лист бумаги покрылся сплошным чёрным цветом. “Хуху победил!“– закричал Никита и, вымазав закрашенным листком хохочущее лицо, побежал к родителям, смотревшим в это время в другой комнате фильм об убийстве американского президента Джона Кеннеди, после которого, как известно, президентом решил стать его младший брат, Роберт, которого тоже застрелили, после чего из братьев Кеннеди остался в живых только самый младший, Эдвард, сенатор, о котором всегда ходили слухи, что он такой же ходок, как и его старший брат Джон, убийство которого (Даллас, штат Техас, 1963 год) показывали по телевизору. Но в самый момент убийства по экрану пошла

сильная шумная рябь – это сосед Шевченко включил электродрель, чтобы просверлить несколько дырок в стене для установки аквариума, в чем ему обещал помочь его двоюродный брат Олег, который по дороге к нему завеялся с одной девицей, Верой, на которую он давненько положил глаз и теперь, встретив её в лёгком подпитии, решил этим воспользоваться; он угостил её стаканом кагора и они, прихватив с собой еще бутылку, отправились домой к Вере на массив, где она жила одна. Единственный брат Веры уже три года лежал на 1-м Загородном кладбище. Где-то раз в полгода к нему на могилу приходила маленькая миловидная блондинка и подолгу сидела и плакала. Как и Вера, она тоже была совершенно одинока, поскольку ее брат, 23-летний Вадим Ш., отбывал срок в колонии строгого режима за убийство по пьяному делу жениха своей сестры. Сидеть ему было тяжело, и единственным утешением в последнее время была переписка с девушкой Олей из Краснодара, которая вместо своей прислала ему фотографию подруги, у которой брат работал фотографом в фотоателье и умел делать очень эффектные фотопортреты. Брат подруги однажды предложил Оле сняться обнаженной, так что лица ее не будет видно, но Оля не согласилась, потому что поняла, такой вариант он предложил не потому, что щадил её стеснительность, а потому, что она была некрасивая (она и в самом деле была страшненькая). Чтобы заработать денег на пластическую операцию, Оля пошла работать реализатором на вещевой рынок, куда её устроил брат одноклассницы, который через год после этого ушёл в монастырь. В монастыре он пока был послушником, ждал пострижения и жил в одной келье с братом Досифеем. Брат Досифей в своей прежней жизни воевал в Карабахе и Чечне и, когда попал в плен, дал обет, что уйдет в монастырь, если выживет. В миру у него остались только мать и дядя, брат матери, с которым мать никогда о своем сыне не говорила, потому что тот терпеть не мог всего, что было связано с церковью, а монахов называл «вонючими». Ещё брат матери терпеть не мог правительство, жидов, коммунистов, масонов, косоглазых и черножопых. Он увлекался внеземными цивилизациями и изо всех сил ждал встречи с братьями по разуму. Чтобы вызвать их на контакт, он накупил стальной проволоки и ещё много всяких железок и каким-то затейливым образом выложил всё это хозяйство на заливном лугу за рекой, рассчитывая, что именно здесь контакт и состоится. На этом лугу, тепло одевшись и прихватив бутылочку, он часто проводил ночи. Однажды утром его, насмерть замёрзшего, нашла почтальонша Свиридова. Свиридова была круглой сиротой, и братьев у нее не было.

Спасибо за внимание, это был рассказ “Братья”. И ещё одно сочинение того же автора “Сталевар”.

Откуда он взялся? Сталевар. Вероятно с тех многочисленных старорежимных панно, мозаик, плакатов, где он был одним из непременных членов троицы наряду с ученым в очках с мирным атомом на ладони и молодой крестьянкой в платочке, стоявшей на широко расставленных ногах, державшей в одной руке серп, а другой прижимавшей к груди сноп пшеницы.

Стоило Владимиру открыть посреди ночи глаза, как сталевар поворачивал к нему лицо, озарённое приветливой улыбкой и огненными всполохами печи. Печь размещалась в стенной нише, которую Владимир использовал под книжные стеллажи. Подняв козырьком защитные очки, стягивая на ходу брезентовые с раструбами рукавицы, он подходил к кровати Владимира и садился на краешек. Они говорили. Говорили подолгу. Но вот о чём? Легчайший, но вовсе не поверхностный смысл их беседы таял без следа, и Владимир никогда потом, сколько ни силился, не мог вспомнить предмет их ночного разговора, не говоря о подробностях. Какие-то обрывки... да, обрывки и обрывки... Была ночь, когда он спросил у сталевара что-то о домнах, и тот ему долго и интересно объяснял, но Владимир ничегошеньки из этих объяснений не запомнил. Однажды, когда на работе выдался свободный день, он написал стихи, посвящённые ночному гостю, но прочитать их при встрече постеснялся.

Может быть, они каждый раз говорили об одном и том же? А что? Может быть. Иногда среди ночи просыпалась жена и спрашивала, с кем он разговаривает. После этого Владимир обычно задумывался: уж не сходит ли он с ума. И на удивленье легко отвечал на этот, в другое время прозвучавший бы страшновато, вопрос: ну, а если и схожу – так что? И какая вообще разница: сумасшествие это или нет? Разница – в чём?

В ту ночь сталевар явился позже обычного и вознаградил хозяина за опоздание дивным, завораживающим танцем. В своей колом стоявшей робе (до слуха Владимира не долетело ни единого шороха) он долго танцевал перед печью, освещенный ее волнующимся заревом. Запрокидывая голову и воздевая руки, поджимая то одну ногу, то другую, он мягко подпрыгивал до самого потолка и крутился вокруг своей оси. Когда закончил, пот с него лил ручьями. И тут Владимир понял, что сейчас произойдёт что-то очень важное. Самое важное. Оно и произошло. Отдышавшись, сталевар подошел к нему, взял за руку и тихо произнёс: “идём“. Они пошли к печи. Сталевар завёл Владимира внутрь и сел. Постояв, сел и Владимир. Объятые золотыми языками необжигающего пламени, они сидели бок о бок, обхватив руками колени, и молча глядели перед собой. И – что самое удивительное, – находясь посреди бушующей, грозно гудящей печи, Владимир отчётливо и во всех подробностях видел каждый, самый мелкий предмет в тёмной спальне и слышал как тикает будильник возле кровати. “Вот и всё”, – сказал сталевар, обнимая Владимира за плечи. “Что – всё?” – робко и доверчиво спросил Владимир. “Всё – всё”, – ответил сталевар. Он приложил ко лбу Владимира ладонь, повел ею вниз и Владимир послушно закрыл глаза. Как оказалось – навсегда».

***

Был первый час ночи, и Фома только собрался раздеваться, когда в дверь торопливо постучали. На пороге стояла дочь Игоря Сергеевича. Незадолго до этого Фома слышал, как старик дважды громко позвал «Маша!», и удивился тому, что они до сих пор не спят. Соседка была сильно взволнована.

«У вас есть что-то успокоительное?» – быстро спросила она.

Фома покачал головой.

«Ну хорошо, а спиртное?»

Фома закивал.

«Несите. Только быстрее!» – приказала она и вышла.

Через две минуты Фомский стоял в комнате старичка и дочери и держал в одной руке бутылку водки, в другой стакан. В комнате было полутемно; в изголовье кровати, на которой лежал Иван Сергеевич, горел маленький ночничок в виде гриба, накрытый платком. Тело старика сводили медленные длинные судороги: сгибая-разгибая поочередно ноги в коленях, выкручивая то в одну, то в другую сторону лежащие вдоль тела руки с растопыренными пальцами, он все время перекладывал голову на подушке, словно пытался уложить ее поудобней; глаза его были закрыты, а губы что-то шептали.

«Извините, – сухо сказала Маша. – Совсем выпустила из виду, что в доме ничего нет».

«Может быть, вызвать скорую?»

«Не надо».

«А что с ним?»

«Бывает. Обычно к резкой перемене погоды. Последствие травмы... контузия. Налейте немножко».

Она подошла к лампе, сорвала с нее платок и, сдвинув шляпку, осветила стену и весь угол комнаты. Фома налил водки на два пальца. Маша стояла над кроватью и, не отрываясь, смотрела на отца; судороги оставили его и он открыл глаза. Маша протянула руку, и Фома отдал ей стакан. Поддерживая голову отца, она влила в него водку. Старик

выпил и повел глазами по комнате. Присутствие Фомы никак не привлекло его внимания. Маша тоже, кажется, забыла о госте; она вытерла отцу рот и, не сводя с него глаз, выпрямилась. Старик негромко, с хрипотцой заговорил:

«Кажется, Франция... нет... да, Франция... Ла-Манш, что ли... доллары... пойдет вниз...»

Маша метнулась к буфету, взяла с него конверт и, вернувшись к кровати, показала отцу.

«Папа, Павлик! Больше месяца ничего! Слышишь?»

Игорь Сергеевич долго смотрел на конверт, потом перевел взгляд на дочь, прикрыл глаза.

«Павлик!» – повторила Маша.

«Все хорошо, – проговорил Игорь Сергеевич. – Был в запое... всё... вышел... пришлет...» – и он умолк.

Маша кивнула, вернулась к буфету и положила на него конверт.

«Спасибо вам, – сказала она, обернувшись к Фоме. – Извините, что побеспокоила».

«Ничего. Я еще не ложился. Спокойной ночи».

И Фома направился к двери.

«У вас есть доллары?» – спросила Маша.

«Да, немного».

«Лучше обменяйте завтра. Он иногда в этом состоянии угадывает. Спокойной ночи».

Когда Фома был уже у двери, Маша его окликнула и быстро подошла.

«Послушайте, – сказала она, – если вдруг это случится с ним, когда меня не будет, вы могли бы помочь? Оно, конечно, и само проходит, но хорошо бы, если б все-таки кто-то был рядом».

«Хорошо, – ответил Фома, – если я что-то замечу...»

«Перед этим им обычно овладевает беспокойство, тревога, и он зовет меня или стучит».

«А что он говорил насчет Франции?» – спросил Фома.

«Понятия не имею. Узнаем. Спокойной ночи».

На третий день после этого ударила настоящая летняя жара, еще через день доллар пополз вниз, а через неделю в проливе Ла-Манш у берегов Франции затонул пассажирский паром.

***

Сыч нашелся, но тут же и потерялся. Соседи видели (Вера была в магазине), как он вбежал к себе и через минут десять пулей вылетел обратно с сумкой через плечо. Вечером Фоме позвонила рыдающая пьяная Вера и сообщила, что исчезли некоторые вещи Сыча и его загранпаспорт. Она предполагает, что Сыч собрался в Египет.

IX

Разбудил глухой стук. Тягин сел. Ну вот, опять к вечеру зачем-то выспался. Он поднял упавшую на пол рукопись, нашёл страницу, на которой его сморило, заложил валявшейся тут же на полу визиткой Филиппа и бросил рукопись на стол. Чувствовал он себя одуревшим, зато полным сил; куда их в таком состоянии и в это время девать – непонятно.

После того как Тверязов из глупого, по мнению Тягина, самодурства не дал высказаться о прочитанном, он резко остыл к роману и вот только сегодня, две недели спустя, одолеваемый отчаянной скукой, снова взял его в руки. Кстати, да – две недели прошло! А со дня приезда и того

больше. Так хорошо и бодро всё начиналось, и вот пожалуйста: третья неделя, как он здесь, и всё по-прежнему. Нет, куда там по-прежнему – хуже. Мало того, что реже стали ходить покупатели, так еще каждый следующий был как будто поплоше предыдущего. Позапозавчера явился крепко выпивший и легко, не по сезону одетый – в рубашке навыпуск под распахнутой курткой – молодой человек из приезжих, который всё хотел посидеть, поговорить, а сегодня пришла полуживая старуха, поддерживаемая под локоть болтливой и кокетливой внучкой. Следующим, через неделю, глядишь, внесут какого-нибудь расслабленного.

– Сам не понимаю, – озабоченно говорил Филипп, почесывая в затылке и нетерпеливо топчась на месте (он постоянно куда-то спешил). – Какая-то она у вас заколдованная, что ли. И место лучше не бывает, и состояние хорошее, и цена... Как-то вы попали неудачно. Потерпите еще немного. Чтобы не получилось по закону подлости: уедете, и тут же придется возвращаться. А сейчас знаете как – могут и не впустить следующий раз. Вы, наверное, слишком этого хотите – вот что я вам скажу. Надо расслабиться и не думать, тогда всё само собой получится. Поверьте моему опыту.

А еще Тягин начал полнеть, несмотря на все свои утренние пробежки и упражнения с гантелями.

Посидев, опять было взял рукопись, подержал её в руках и бросил в угол дивана. Странно. Как будто что-то не пускало добить её в один присест. Вяло, от нечего делать он стал об этом думать. Ну, во первых, в последние годы он совсем потерял интерес к художественной литературе и даже как будто разучился ее читать. Во-вторых, как уже было сказано, мешало ему самому неприятное мстительное раздражение, вызванное требованием Тверязова прочесть обязательно до конца, то есть, иными словами, довольно бесцеремонным поторапливанием. Отчасти мешало и опасение, что дальше пойдет хуже. Всё перечисленное, впрочем, лежало на поверхности. Но были и еще какие-то неясные дышащие под спудом мысли, копаться в которых совсем не хотелось. Проще было крикнуть Тверязову в лицо: хочешь что-то сказать – говори, а романы мне нечего подсовывать! И Тягина словно обдало жарким ветром вины, обиды, негодования, чего-то еще... Нет, надо пройтись. Он резко поднялся и стал одеваться.

До сих пор при выходе из дома его сопровождало ощущение, что, толкнув дверь подъезда, он окажется на московской улице. Странно, но вот остатки Одессы слетали с него в Москве в первые же двадцать четыре часа.

Идти ему, как и во все прочие дни, было некуда. Тягин давно, как только уехал, забросил все свои здешние знакомства, и они постепенно, одно за другим поотмирали. Не любил он неожиданных встреч с одесскими знакомыми в Москве, а потому избегал их и в Одессе.

На улице было так же тепло и сыро, как в день приезда. Под глухое и тягучее пенье ревуна он спустился по Карантинному спуску, поднялся по Ланжероновскому, прошелся по мокрому сверкающему бульвару и свернул к Екатерининской площади. Далее Сабанеев мост, Гоголя и Малый переулок, по которому он вышел на Преображенскую. Сыпавшийся сквозь туман неторопливый дождь вдруг зашумел, стал чаще и крупнее. Тягин, ссутулившись, набросил на голову капюшон, и всё, что было у него под ногами – сияющий желтым светом неровный асфальт, несущие мелкий мусор ручьи у бровок и чахлая, но почему-то зеленеющая всю зиму напролет трава под деревьями, – всё сразу как будто увеличилось и обрело неожиданные подробности. Часы на подсвеченной соборной колокольне пробили шесть, и Тягин решил зайти в восстановленный собор, в котором еще ни разу не был. Оставив за спиной темную саморазрушающуюся махину дома Руссова, он пересёк Садовую, и пока шёл по немноголюдному скверу, такое одиночество внезапно навалилось на него, так захотелось в Москву, что он принялся гадать: а как бы он смог выбраться отсюда, если бы в сию же минуту решил уехать. Освещенная фонарями небольшая площадь перед собором в легком тумане выглядела нарядно и уютно, а дальше Коблевская и Толстого уходили в сплошную темень. Увидев табличку «Храм закрыт», Тягин перешел через брусчатку и зашёл в заведение.

Народу в рюмочной было негусто. Тягин взял бокал пива и сел возле окна. У стола в другом углу солировал посетитель лет пятидесяти, худощавый и не по возрасту гибкий. Говорил он, что

называется, с огоньком, сопровождая выступление (речь шла о нашествии гуннов) широкими жестами и зорко глядя поверх голов слушателей, как если бы всё то, о чём он рассказывал, происходило у них за спинами. Привлечённый не столько рассказом, сколько энергичной пластикой выступающего, Тягин уже через минуту узнал в нём проводника вагона, в котором ехал. Наконец рассказчик закончил и пошёл к стойке. Тягин, допивая на ходу пиво, направился туда же. Когда они встретились взглядами, Тягин кивнул и сообщил, что ехал в его вагоне в тот самый день. Проводник равнодушно пожал плечами.

– Могу вас угостить, – предложил Тягин.

– Спасибо, я и сам могу себя угостить, – ответил тот, впрочем совершенно беззлобно.

– А вы не интересовались, чем всё закончилось?

– А что тут может интересовать? Парень задушил девку, переодел её в свои вещи, сам надел платье. Её на кладбище, его в сумасшедший дом. Над чем тут еще думать?

Тягину стало неловко. Ему налили пиво, проводник взял водку, и они разошлись по своим углам.

После пива Тягину захотелось есть, и он взял салат.

Он собирался уходить, когда проводник подсел за его стол.

– Ладно, хотел угощать – угощай, если не передумал.

Тягин сходил к стойке и принес ему сто грамм и бутерброд. Они познакомились, проводника звали Иваном.

– А вы с ними общались? – спросил Тягин.

– Я нет. Людмила, напарница. Взяли купе на двоих, в Москве сели уже хорошие. Помню, сразу спать завалились, к вечеру только проснулись, ну и пошла жара... Три пустые бутылки из-под коньяка, две из-под шампанского. Хорошо погуляли.

– Да, на славу.

– Подруга потом приходила. Этой задушенной. Майя. Посмотреть на то место. Посидела, погоревала. Мы с ней немного поговорили; думали чаем напоить, отказалась. Про платье не стали рассказывать, чтоб не травмировать... Странная дамочка. Цветы в том купе оставила зачем-то, на том месте. Но – красивая... Очень. Стройная, ни грамма лишнего, и при этом вся такая, знаешь, холёная, гладкая. Кожа просто светится. Это бабы только к тридцати годам такую нежную гладкость нагуливают, да и то не все. А таких как она – вообще считанные единицы. – Проводник усмехнулся. – Уж на что не подходящий был момент, а я не удержался, попробовал даже подъехать, представляешь? Как затмение нашло. Людмила мне потом скандал закатила. «Совсем стыд потерял?!» Что-то еще прям исходило от неё. Ух!.. – Он, опять усмехнувшись, поёрзал на стуле. – А парня – естественно на экспертизу. Куда ж ещё? Вот только мне он ненормальным не показался. Нет. Глаза не те. Да и вообще. Я на Слободке санитаром полтора года проработал, так что... Он, кстати, не очень и сопротивлялся. Это Людмила с перепугу крик подняла, а так я бы и один с ним справился.

– То есть вы считаете, что всё это было...

– Откосить он, сучонок, решил – вот что это было. Уж не знаю, что у них там в купе произошло, но весь этот маскарад с платьем... – проводник, кисло поморщившись, покачал головой. – Не-ве-рю!

Помолчав, подумав, Тягин сказал:

– Чем всё это устраивать, не проще ли ему было тихо сойти на какой-то станции до Одессы?

– Проще, – согласился проводник. – Хотя тоже: как знать. Искать-то всё равно бы стали. Мне кажется, он просто заснул. Присел обдумать, что ему теперь делать, как быть, накатил стакан и отключился. Если он вообще соображал, что натворил – затихла и хорошо. Пьяный же был в умат. В последний раз из вагона-ресторана возвращался, от стены к стене штивало... Так что скорее всего заснул, а проснулся уже после Вознесенска. Это последняя остановка. Следующая уже Одесса – через три часа. Он её не додушил, кстати. Как выяснилось. – Проводник постучал средним пальцем себя в грудь. – Сердечко у девочки слабое оказалось... Так что, строго говоря, он ее не убивал. Но тогда, в тот момент решил, что убил. Поэтому всё это и устроил.

– А что если все-таки не он? А историю с помешательством придумал от безысходности.

– Ну а кто тогда? Там же еще и деньги у нее нашли: двадцать тысяч зеленью, не хухры-мухры. Выходит, не из-за денег? Значит, посторонний исключается. Хотя, конечно, теоретически можно допустить, что где-то в соседнем вагоне ехал, допустим, ревнивый муж или любовник этой дамочки, который ночью прокрался и быстренько всё обделал, её убил, его подставил... Это было бы красиво. Но такое только у Агаты Кристи бывает. А я сторонник объяснений попроще.

– А эта женщина с парнем была знакома?

– ?

– Которая потом приходила. Майя.

– Не знаю. Что-то она мялась-мялась, я так и не понял. Может быть, ей говорить о нем было неприятно... Идём! – Проводник шлёпнул ладонью по пластиковой столешнице. – Идём-идём, два шага.

Он вскочил, запахнул куртку и попросил барменшу не трогать их стол. Они вышли в густеющий теплый туман, прошли по битому мокрому асфальту с полсотни метров, и проводник остановился перед окнами салона красоты.

– Вот она, – показал Иван на парикмахершу, склонившуюся над клиенткой в ближайшем к ним кресле. – Майя. Ну как? Просто звезда!

Образец, как показалось сначала Тягину, несколько уступал восторженным описаниям, но, приглядевшись, он согласился: парикмахерша – яркая, стройная, гибкая шатенка – была и впрямь хороша. Когда она, выпрямившись, повернула лицо к окну, проводник помахал ладонью.

– Привет, красавица!

Из залитого белым светом помещения парикмахерша их, стоящих в темноте, скорее всего, видеть не могла, и, постояв еще с минуту, полюбовавшись, они пошли назад.

– Так вот почему вы теперь здесь сидите, – сказал Тягин, усаживаясь за стол.

Проводник не сразу понял.

– Здесь сижу?.. Почему? А-а, вы о ней, что ли? О Майе? Да ну! Я тут живу через Соборку. На Греческой. Просто совпадение... Нет, мне это ни к чему. Это я тогда под градусом немножко был, вот меня и повело. А так мне и моей Людмилы с головой хватает.

Они посидели еще немного, и неугомонный Иван пригласил Тягина к себе в гости. Кажется, он был из тех, что могут бодрствовать сутками и пить не пьянея. У него оказалась маленькая, очень уютная комнатка в небольшой коммуне. Здесь было много книг, несколько полок виниловых пластинок и чересчур много, на взгляд Тягина, мелких предметов. Судя по обстановке, хозяин был живым, любопытным, жадным до жизни человеком с богатой биографией.

Сидя глубоко в кресле и уже, кажется, борясь со сном, Иван пожаловался:

– В последнее время ерунда одна начала пугать. Боюсь умереть от ужаса перед неопознанным. Серьезно. Сердце разорвётся и всё. И ведь как обидно будет, если окажется какая-нибудь простейшая чепуха. А ведь так и окажется. Такое уже бывало. Однажды ночью, с феном. Шел в темноте из туалета, споткнулся у стола, и он случайно попал под руку. Людмила оставила. И вот я его, собаку, кручу-верчу в темноте, и чувствую: всё, считанные секунды мне остались – или сейчас пойму что у меня в руках или умру. Паника! Но тут ладно: свет включил и увидел. А ведь так же может и мысль какая-нибудь случайная угробить. Недавно, тоже среди ночи, вдруг в голове как завертелась фраза. Ты только послушай, – и проводник, подобрав ноги и наклонившись, отмахивая указательным пальцем, раздельно произнес: – «Приведите реальный пример, показывающий, как одитор стал бы использовать эмоцию, чтобы определить положение преклира на шкале тонов». Каково, а? И сердце сразу, как бешеное: тук-тук, тук-тук, тук-тук! Клянусь, думал помру! Еще секунда и помру! Слава Богу, вспомнил! Такие вот теперь у меня страхи.

– И что же это было?

– Саентологи. Какое-то пособие или руководство, не помню. Читаю всё, что под руку попадётся, всякую ерунду...

Когда они прощались, Иван сказал, что вечером будет там же, на Соборной. Тягин же опять вспомнил происшествие в поезде и, уже переступив порог, спросил:

– А что он хотел, тот парень, когда выбежал в платье и побежал за вашей напарницей, не помните?

Иван, глядя в порог, на минуту задумался и ответил:

– Помню. Чаю, два стакана.

На другой день его в заведении не оказалось. Тягин просидел минут сорок, а то и час, и, выйдя на улицу (опять был туман), двинулся в сторону салона красоты в надуманной надежде встретить Ивана там. Приглядевшись, он увидел, что, несмотря на громкое название, это была обычная парикмахерская, да еще из бедненьких, даром, что находилась в самом центре. В двух ярко освещённых комнатах на подоконниках стояли искусственные цветы, лежали в связках разноцветные шары, а с потолка свисали гирлянды из белых и розовых сердечек. Майя в дальнем углу беседовала с приятельницей.

В этот момент позвонил Хвёдор. Он был на удивление серьёзен, и Тягин предположил, что звонит он после разговора с Дашей.

– Мне надо чтобы ты со мной кой-куда сходил. К одному человеку, – скорбно сообщил Хвёдор. – Завтра можешь?

– К какому человеку? Куда? – спросил Тягин.

– Увидишь, – ответил Хвёдор. И таинственно добавил: – Там всё и решится.

Договорились, что он заедет к Тягину в полдень. Но в полдень, когда Тягин уже был одет и ждал, Хвёдор позвонил и сказал:

– Ты дома? Я заеду через час. Напомни адрес.

Ожидая его, Тягин взял роман Тверязова.

X

К нам приехал наш любимый автор Фома. Мы поговорили с ним о том о сем, в том числе и о Сыче, и тут он говорит:

«Друзья мои, я вообще-то в недалеком прошлом оперативный работник, и скажу вам: найти любого человека очень легко. Гораздо проще, чем потерять. Сейчас я вам продемонстрирую пример быстрого эффективного поиска. Где телефон?»

«Вот».

Пока он набирает номер, в дверь раздается звонок и входит книгоноша с полной торбой книг. Надо ли говорить, что его тоже зовут Фома (Фомичев)? Он принес Фоме два новых романа Я. Гадёныша: «Мальчик – скатерть-самобранка» и «Девочка – вденьнитку». Улучив момент, я наклоняюсь к Фоме и говорю:

«Слушай, Фома, тебя всё это не пугает? Еще один Фома – и я рехнусь».

Фома (пожимая плечами):

«А что я могу сделать? Самому уже не по себе».

Мы продолжаем светскую беседу (опер не дозвонился) и пьем абсент (напиток, как известно, не из простых). Красавица Марина выставляет нам фрукты и недовольно зыркает то на одного, то на другого гостя. Ни оперативник-писатель, ни книгоноша никуда не торопятся. Тогда мы с Фомой решаем выйти вместе с ними прогуляться, где-то посидеть, а там под каким-нибудь предлогом смыться – дел невпроворот.

Через полчаса, когда мы подходим к летнему кафе на оживленной улице, Фома-книгоноша встречает знакомую девицу и предлагает ей присоединиться к нам. Девицу зовут Тома.

Итак, мы усаживаемся, что-то там заказываем, как вдруг Тома весело окликает мимоидущую блондинку, и та не менее весело направляется к нам.

«Садись! Как дела? – говорит Тома и придвигает еще один стул; нам же она сообщает: – Это вот студентка-филолог из Финляндии...»

Фома:

«О, Финляндия! Страна тысячи озер».

Бывший оперативник добавляет:

«И финских ножей».

(мне вообще очень нравятся скандинавки – скуластые, курносые, голубоглазые, плечистые – очень)

Фома представляет сидящих:

«Фома. Фома. Фома. Фома».

«Вы братья?» – говорит, улыбаясь, финка.

У этих заезжих иностранцев мозгов как у летучей мыши или слишком уж богатое воображение, если они могут представить себе сумасшедших родителей, которые всех своих сыновей называют одним и тем же именем.

«Нет. Мы тезки».

«А-а! Тезки. Да-да. Тезки».

«А как нам вас называть, сударыня?»

И тут она произносит (слушайте!):

«Сударыня! Хорошее слово. Меня называть Акка Кнебекайзе».

Мы с Фомой переглядываемся. А дальше события (нет, это, конечно, моя ошибка, мой грех, меа кульпа), дальше события развиваются так. Посидев для приличия пару минут, я отвожу Фому в сторонку и говорю:

«Ты слышал, что она сказала?»

«Слышал».

«Не хочу тебя пугать, но, по-моему, это какая-то провокация».

«Провокация?»

«Ну да. Ты же слышал: она назвалась Аккой Кнебекайзе».

«Ну?»

«Мне неловко напоминать, но Акка Кнебекайзе – гусыня. Из шведской сказки. И девушкой она никак не может быть. Тем более финской».

Фома:

«Ну?»

Я:

«Но она назвалась Аккой Кнебекайзе».

Фома:

«Ну?»

Я:

«Пальцы гну. Что-то тут не то. Возможно тебя таким нехитрым приемом пытаются вывести из равновесия. Может быть, финские спецслужбы?»

Фома (растерянно):

«Какие еще спецслужбы?! И почему финские? Никогда ничего не слышал о финских спецслужбах».

Я:

«То, что мы о них ничего не слышали, ещё не значит, что их нет. Скорее наоборот. В общем, ты понимаешь о чём я говорю».

Фома (раздражённо):

«Нет, не понимаю».

Я:

«Возможно это как-то связано с твоей сестрой...»

«Но она в Испании».

«Ты как будто вчера родился, честное слово. Сейчас все со всеми связаны. Ладно. В общем, я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты, если что, вёл себя спокойно, выдержанно и не давал волю эмоциям. Всё. Тебе это по силам?»

«Вполне».

«Прекрасно. Пошли».

И мы вернулись к столику, за которым шла оживленная беседа ни о чем.

Сидим дальше, разговариваем, разговариваем, разговариваем, и вдруг Фома, поводя в сторону финки полураскрытой кверху ладонью, произносит:

«А позвольте-ка, уважаемая госпожа финка, ваши документики».

Я аж поперхнулся. И похолодел.

«Извините, – с недоумением отвечает финка, – но у меня нет с собой документиков, я их оставила у подруги, у которой там живу...»

«И все-таки, покажите мне ваши документы... по-хорошему...» – настаивает Фома.

«Я же вам говорю, их нет у меня... и зачем?»

«Мне нужны ваши документы. Быстро!»

«Фома, успокойся», – говорю я, и беру его за локоть.

Фома резко дергает локтем и хлопает ладонью по столешнице.

«Я сказал: документы на стол!»

За столом полная и всеобщая растерянность. Тут вмешивается оперативник Фома:

«Слушай, Фома, ты не имеешь права требовать у девушки документы».

«Не твое дело!»

Оперативник:

«Ты не представитель власти, чтобы требовать документы».

«Не твоё дело! Кто ты вообще такой?! Написал пару паршивых рассказов и что-то возомнил о себе! Кто тебя сюда вообще звал?»

«Я могу и уйти», – говорит оперативник.

«Давай, уходи».

«Хорошо», – соглашается оперативник, но никуда не уходит.

Фома между тем распаляется все больше и больше:

«Они думают что мы совсем тут в потемках живем, если вот так, смеясь в глаза, какая-то финская вертихвостка утверждает, что она Акка Кнебекайзе! Финский юмор что ли?»

Оперативник:

«Может быть, она ее тезка? Как мы?»

Фома:

«Ты еще не ушел? Чего ты все время встреваешь? Тебя кто спрашивает? Ты сам-то знаешь, кто такая Акка Кнебекайзе?»

Оперативник (не моргнув глазом):

«Известная эстонская горнолыжница».

Я опять беру Фому за локоть.

«Успокойся Фома, мы же договаривались...»

Фома:

«Да задолбали меня эти финны! Сколько можно, в конце-то концов?! (финке) А вы, дорогая моя, прежде чем называться Аккой Кнебекайзе, могли бы пошевелить своими прохладными скандинавскими мозгами, если они у вас, конечно, есть... и предположить, что для кого-то...».

Финка, до сих пор хлопавшая глазами, начинает плакать.

«Я не знаю что вы говорите... я не понимаю... кто такая Ака?.. меня зовут Пихла...»

Она вскакивает и бежит прочь; за нею бежит Тома; за Томой Фома-книгоноша. Они останавливают такси и Тома с финкой уезжают, а книгоноша возвращается.

Фома выглядит несколько удручённым. Он закуривает, поворачивается ко мне и, свесив набок голову, прищурившись, спрашивает:

«Финские спецслужбы, да?»

Я прячу глаза. Все ясно: мы с Фомой поймали одну слуховую галлюцинацию на двоих. Допрыгались. Абсент. Вычеркиваем.

***

Ну, наконец-то!

Кружок сужения сознания.

На стене, рядом с дверью в кружок висел за стеклом листок, на котором были изложены правила поведения членов кружка. Мы с Фомой внимательно с ними ознакомились.

1. Членам кружка ЗАПРЕЩЕНО какое-либо общение между собой в радиусе 500 м от местоположения кружка. Если, идя на кружок, один из членов кружка встречает менее чем за 500 м от кружка другого члена, он не должен не только здороваться и тем более вступать с ним в какое бы то ни было общение, но даже и как-то обнаруживать, что он заметил кружковца. То же самое касается и времени по окончанию занятий: не менее как в 500 м от кружка члены кружка могут вступать в общение друг с другом. Это касается всех членов кружка без исключения. Нарушение этого правила влечет за собой отчисление из кружка. НИКАКИЕ оправдания и смягчающие вину обстоятельства в расчет не принимаются.

2. Во время занятий в кружке неукоснительно должна соблюдаться АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА. Из всех звуков разрешены только пять: непроизвольный кашель, чихание, сморкание, звук шагов и скрип стульев под членами кружка. Все остальное ЗАПРЕЩЕНО. Нарушитель немедленно изгоняется из кружка без права восстановления.

3. Членам кружка ЗАПРЕЩЕНО какое-либо общение с ведущим кружка не только во время занятий, но и в ЛЮБОЕ другое время, в ЛЮБОМ другом месте. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ также попытки поймать своим взглядом взгляд ведущего. Со всеми вопросами обращаться к секретарше (2-ой этаж, комн. 23), там же производятся и все расчеты. За нарушение вышеприведенного правила член кружка отчисляется немедленно.

4. Разрешено опаздывать на занятия и уходить раньше.

5. Члены кружка имеют право не посещать занятия.

«Первый пункт мы с тобой уже нарушили: всю дорогу трепались, пока шли сюда», – прошептал мне Фома.

«Мы же не знали... и мы еще не члены».

«Ладно. Зайдем что ли?»

Фома потянул на себя высокую тяжелую дверь, мы вошли и оказались в зале, почти сплошь заставленном стульями, и – что самое удивительное – свободных мест почти не было. Навскидку тут сидело человек пятьдесят. А то и больше.

Впереди было возвышение, что-то вроде кафедры, и там слева за столом сидел роющийся в бумагах Б. Все четыре окна были закрыты ставнями, и в помещении горел свет. Мы с Фомой тихонько прошли к стульям и уселись в последнем ряду. Успели к самому началу. Через несколько минут после нашего прихода Б. поднялся из-за стола с листом плотной бумаги размером метр на метр или что-то около этого, вышел на середину кафедры и прикрепил его к стене на высоту своего роста. Затем он отошел к столу, взял ручку и вернулся к листу. Некоторое время он стоял перед листом опустив голову, как бы о чем-то раздумывая, потом, положив на лист левую растопыренную пятерню, поставил на листе почти в центре, но ближе к нижнему правому углу точку и навел ее пожирнее, после чего вернулся к столу, сел, взял книгу и уткнулся в нее. Занятие началось.

Народ на занятии присутствовал довольно разношерстный. Здесь были и совсем молодые люди обоего пола, и старики со старушками; какие-то субъекты полубродяжнического вида и вполне благополучные господа... Все как один уставились в по-

ставленную Б. точку. Не отрывая взгляда, смотрел на точку и Фома. Кажется, только мне одному из всей этой сосредоточенной компании было скучновато, и я украдкой разглядывал кружковцев. А тут еще за два ряда перед нами, слева, я заметил очень недурную собой брюнетку, в соревновании с которой на привлекательность точка явно проигрывала. Так прошло сорок пять минут, по истечении которых Б. встал из-за стола, подошел к листу и снял его со стены. Члены кружка стали тихо подниматься и один за другим покидать помещение.

Мы с Фомой отмахали не меньше километра, прежде чем решились заговорить. Первым молчание нарушил я:

«Как думаешь, Фома: они на каждом занятии пялятся в эту точку?»

«Думаю, да. Только точка каждый раз ставится в другом месте».

«Ну, а вообще что скажешь по поводу увиденного?»

«Неплохо. Даже очень и очень неплохо. Да просто чудесно. Скажу так: сейчас, когда все вокруг точно помешались на расширении сознания – и это вместо того чтобы нещадно его щемить и держать в черном теле! – кружок сей просто как глоток чистого воздуха. Он освежает душу».

«Даешь расширение сужения сознания!» – пошутил я.

«Не кощунствуй. А Б. меня поразил. Кто бы мог подумать? Какой молодец, а?»

«Я тоже, признаться, не ожидал».

«Если бы у меня было достаточно денег, я бы с удовольствием поддержал это начинание».

«Можно было бы создать целую сеть, организацию или движение СС, – согласился я. – Вот только аббревиатура неудачная».

«Да, аббревиатура подкачала».

Жизнь полна совпадений. Свернув за угол, Фомин и Фомский вдруг увидели идущего навстречу знакомого художника, который в целях расширения сознания перепробовал чуть ли не все имеющиеся в природе наркотические вещества и слыл большим пропагандистом этого дела. Не сговариваясь, они укрылись в ближайшей подворотне.

«Фу-у-у...», – облегченно вздохнул Фомин, когда художник пронес свое расширенное сознание мимо них.

Навеянный этой встречей монолог Фомина в переложении Фомского:

Всякий мошенник для нас, благонравных людей, ненавистен,
Но паразит, возжелавший нам наше сознанье расширить,
Будет всегда на особом счету. Тут решать надо просто.
Только заслышишь призывы хорька-расширителя – сразу
Палку покрепче возьми, и без глупых ненужных базаров
Раз за разом пройдись по хребту. Да и всему остальному
(Голову только не трожь) удели часть усилий, чтоб за ночь
Тело набрало объем равномерно и члены распухли
В верной пропорции. Лучше ответа, чем тот, что получит
Наш доброхот расширяльщик, узрев себя в зеркале утром,
Нам не придумать. На том и покончим. Идем, где-то выпьем.

XI

На подоконник неуклюже, толкнувшись в стекло, сел дворовый голубь, и Тягин, оторвавшись от рукописи, поднял глаза. Кажется, собирался дождь. «Нда... заметно похолодало с тех беззаботных времен». Тут позвонил Хвёдор и сказал, что ждёт на улице, у ворот.

Торжественно серьезный, одетый как на именины шурин приехал на своем раздолбанном шарабане – его тарахтенье Тягин услышал сквозь открытую форточку за минуту до телефонного звонка. Под благовидным предлогом не жечь понапрасну дорогой бензин Тягин предложил взять такси, а машину оставить здесь, во дворе. Хвёдор не ответил. Внутри шарабан был не лучше, чем снаружи, а то и пострашнее. Грязные, в темных пятнах чехлы; на заднем сидении пара деревянных ящиков, набитых дружно гремевшими на каждом ухабе железками, крупно дребезжащие в пазах, прихваченные скотчем стекла и какая-то неопознанная штуковина, тяжело и гулко катавшаяся по полу всю дорогу и время от времени толкавшаяся в ноги. За рулем Хвёдор сидел словно кол проглотив. С той же мрачной невозмутимостью он, съехав на обочину, полчаса прокопался в моторе под дождём, когда его зловонный и чрезвычайно шумный агрегат стал глохнуть на полпути.

Конечным пунктом их долгой поездки была квартира в многоэтажном доме с табличкой на двери: «Глафира». К той, чьим именем называлась жилплощадь, их провела девочка. Когда они вошли, необъятная Глафира в черном просторном одеянии докуривала у раскрытой форточки. Широко расставив ноги, она села за стол и, запрокинув голову, стала обмахиваться веером. Правая её ладонь покоилась на большом стеклянном шаре, который она время от времени, переставая обмахиваться, катала по столу к себе-от себя. Тягин знал о слабости Хвёдора к мистике, паранормальному и прочей чепухе, но тут поразился, глядя на его еще больше поглупевшее, совсем уж тупое выражение лица. Почтительно согнувшись, сдавив сложенные ладони коленями, Хвёдор стоял по правую руку от хозяйки, чуть позади, а Глафира ему что-то негромко говорила через плечо, то и дело поглядывая на нового гостя. Сидевший рядом с обогревателем Тягин, борясь со сном, сочинял сообщение о загадочном убийстве прорицательницы и ее клиента. «Вчера по адресу такому-то были обнаружены два трупа: мужчины примерно 35-ти лет и женщины примерно 50-ти. Причина смерти обоих одна и та же – несовместимые с жизнью травмы головы от ударов тяжёлым тупым предметом. Рядом с жертвами найдено и орудие убийства – окровавленный стеклянный шар». После нескольких минут перешептываний хозяйка наконец заговорила во весь голос. Тягин встрепенулся.

– Надо бить только в одну точку, целенаправленно и постоянно, – наставляла Глафира Хвёдора. – Ма-аксимальная сосредоточенность. А так, когда нет четкого сигнала – то то, то сё – результатов особенно ждать не приходится. Вселенная в замешательстве...

После получасового сеанса Тягин вышел на улицу вконец одуревший и злой как черт.

– И зачем ты меня сюда возил? Не мог потом мне своими словами пересказать?

– Ты же наверное думаешь, что я цену набиваю. Вот тебе доказательства. Из первых рук, – ответил Хвёдор.

– Какие доказательства, чего?!

Хвёдор тем временем обошел машину, отпер и со скрипом потянул на себя дверцу.

– Поехали, – сказал он.

– Нет, – решительно отказался Тягин, – поезжай сам. Сюда я больше не сяду.

– Как хочешь, – оскорблено произнес Хвёдор и, выкинув из-под воротника хвостик, сел за руль.

Тягин проследил за тем, как хвёдоровский шарабан, удаляясь, исчез в потоке машин, и пошёл обратно.

Его вдруг взяло за живое. «А вот хрен тебе! Всё равно будет по-моему», – подумал он. К злости примешивалась еще и странное негодование: как если бы не он сам решил не ехать, а Хвёдор отказался его везти.

– Я знала, что вы вернётесь, – сказала, увидев его, Глафира, и Тягин едва удержался от ответа: «А я знал, что вы это скажете».

Как только он принялся объяснять причину возвращения, она его строго осадила:

– Молодой человек, здесь вам не стол заказов!

– Да какой уж тут стол заказов, если за человеком нужен уход. Помогите, пожалуйста, – подпустил слезы Тягин.

Он подался вперед, и шар под пухлой ладонью Глафиры, прокатился по выложенной на стол пятидесятидолларовой купюре. Глафира откинулась на спинку, взяла веер и, обмахиваясь, вкратце описала сложный внутренний мир Хвёдора; упомянула среди прочего о его «мощном интеллектуальном потенциале» (теперь понятно, почему он к ней ходит, подумал Тягин) и закончила своим согласием.

– В конце концов, это и в моих интересах. И если есть кому позаботиться, что ж... Семья это святое.

Тягин под видом просьбы дал кое-какие распоряжения.

– А вот лично вам действительно лучше бы побыстрее отсюда уехать, – сказала Глафира, когда они прощались. – Я серьезно говорю. Что-то мне подсказывает. – И после долгого выразительного взгляда добавила: – Можем как-нибудь поговорить об этом, если хотите. Могли бы где-то посидеть, поужинать...

– Спасибо, я это обмозгую, – кивнул Тягин, и, не уточнив какое из предложений собирается обмозговывать, вышел.

«Ничего, – думал он, садясь в такси, – на всякую Глафиру со стеклянным шаром у нас найдётся свой человек-свинья с Гомером».

Путь его теперь лежал на Молдаванку. Сидя в такси, он вдруг задумался о том, как скудна, однако, его жизнь, и сколько же всего у всех вокруг. У Тверязова вот и литература, и личная драма, и алкоголизм, а еще Мальта, село... У Абакумова – ну, тут вообще черт ногу сломит. Да у того же Хвёдора – куча каких-то знакомых, фантазии насчет Москвы, Глафира эта и прочая паранормальная муть. И только у него, у Тягина – хоть стеклянным шаром покати. А ведь всегда думал, был уверен, что его жизнь будет как-то особенно разнообразна и значительна. Ну и вот – сорок лет, и что? Как он так умудрился её выхолостить, что и остановиться не на чем? Но при этом еще ухитряется глядеть на других чуть ли не свысока – разве не удивительно? Тут наконец-то и оформилось одно, прежде только вскользь отмечаемое, а сейчас вышедшее на поверхность наблюдение: у всех его тутошних знакомых появилась некая новая нотка. Разговаривая с ним, они как будто едва сдерживали улыбку. Еще в речах Тверязова ему послышалась снисходительная усмешка, сродни той, какую и он сам невольно замечал за собой, общаясь с иностранцами. А интонации Абакумова и Хвёдора уже отдавали прямым пренебрежением. Так-то.

От Георгия так же, как и в прошлый раз, попахивало винцом, и пребывал он в том же, кажется, обычном для него, приподнятом настроении. Занятый возней с телефоном, он беспрестанно сиял яркой белозубой улыбкой и весело говорил:

– Всё будет нормально! Нет, Васьки сейчас нет. Васька же у нас большой человек, помощник депутата! Ну! Может много денег запросить. Один раз хрюкнуть – сто долларов. Подходит? Это пока. Потом будет еще больше. Но для тебя сделаем. Как скажешь, так сделаем. Тебе что, книжку дать? Эй, Лёшка, давай книжку сюда принеси! Не надо? Ладно. – Тут ему позвонили и он, прикладывая телефон к уху, подмигнул Тягину. – Приходи, всё сделаем. Будь здоров!

Тягин сказал, что неплохо было бы ему встретиться с человеком-свиньей. Георгий подозвал пальцем того же привратника, велел ему дать Тягину Васькин телефон и отвернулся. Тягин оставил привратнику взамен свой и пообещал, что свинья не пожалеет.

Ночью он долго не мог заснуть. Возможно, собиралась меняться погода. Отчетливей обычного, а это значило, что ветер изменил направление, был слышен порт. К тому же этой ночью гремели и грохотали там особенно лихо, и в какой-то момент так разошлись, что в плавающем сознании Тягина мелькнула мысль о спешной эвакуации: утром выйдешь, а полгорода нет, погрузили и увезли. Казалось, он не спал ни минуты, но всякий раз при взгляде на часы обнаруживалось, что прошло четверть, полчаса, а то и больше. В тягостной утомительной маете он провел почти всю ночь и только под утро как будто забылся. Во сне его вовлекли в дискуссию с большим числом участников и неуловимыми, постоянно ускользающими из поля зрения докладчиками. Обсуждалось возложение цветов в местах гибели. (Днём на обочине, куда съехал Хвёдор, чтобы заглянуть под капот, машина оказалась возле дерева, к стволу которого проволокой были прикручены эма-

лированный овал с фотографией белобрысого юноши и венок из пластмассовых цветов). Разговор шел вокруг этого обычая и, в частности, странного поведения парикмахерши Майи, оставившей, согласно свидетельству проводника, букет на купейной полке. Велись горячие споры, и мнения – что считать в данном случае памятным местом: саму полку или ту точку земной поверхности, в которой находился вагон на момент убийства? – разделились почти поровну. Нашлись и такие, кто говорил, что в движущемся по тому же маршруту поезде цветы рано или поздно всё равно окажутся в нужной точке. Цветы цветами, но как быть с теми, кто пожелал бы помянуть покойную, с родными и близкими? Как им определить ту самую точку, чтобы вовремя совершить, как это, например, делают в открытом море, некоторые ритуальные действия? Бросить, допустим, те же цветы за окно, дать протяжный гудок, произнести короткую прочувствованную речь и выпить за упокой? К судмедэкспертам, которые могли бы по температуре тела определить время убийства, а по нему примерные координаты, труп попал слишком поздно, и они остались не у дел. Какие могут быть еще варианты? Нетерпеливо тянул руку сосед Тягина. И пока ему не дали слова, он наспех изложил Тягину свой невероятный, но доступный каждому способ узнать точные координаты, не сходя с места. Достаточно лишь было перемножить длину и ширину полки на время и скорость, и произвести еще несколько простейших действий, не связанных с вычислениями. Что Тягин и попытался проделать. Это оказалось не просто. Цифры, цифры, цифры, цифры... – с мелким дробным стуком каленых семечек они то и дело просыпались на пол, разбегались вприпрыжку в разные стороны, и он собирал их, просыпал вновь, опять собирал... приседая, качаясь и падая. В болтающемся купе скорого поезда. Бешено летящего сквозь черную февральскую ночь.

XII

В начале сумерек, в самый час пик, он вышел пройтись. Холодный воздух был так прозрачен, что открывшиеся перспективы улиц, заполненных машинами и людьми, казались бесконечными. От чрезмерно четких очертаний разбегались глаза и немного кружилась голова. Было ещё совсем светло, но уже зажглись желтые фонари над Канатной и Строгановским мостом, по которому Тягин обычно выходил в центр. И, как всегда бывает в самом начале сумерек, да еще при такой редкой ясности, всё, что успело загореться, – вывески, свет в окнах, автомобильные фары – сияло как-то необыкновенно ярко, чисто и весело. Тягин любил сумерки и теперь радовался, что так удачно вышел. Неспешно прогуливаясь, подолгу останавливаясь на шумных перекрестках, он дошел до Соборной площади, и к тому времени, когда подходил к салону, короткий праздник веселых огней, воодушевивший его на этот маршрут, уже закончился, и вместе с темнотой в город вернулись обычные будни.

В салоне Майи не было. В бежевой накидке с рыжей горжеткой она неожиданно вышла прямо на него из подворотни. Растерявшийся Тягин дернулся навстречу, сказал «простите» и испуганно замер, не вовремя вспомнив и едва не ляпнув что-то о единственном их общем знакомом, проводнике. Она, словно ничего не заметив, спокойно шагнула в сторону и, опустив голову, обошла его, как обходят лужу. «Просто звезда!» – вспомнился ему восхищенный возглас Ивана. Развернувшись, Тягин пошел за ней. Ни разу в жизни ему не приходилось знакомиться на улице, и теперь, спешно придумывая повод, перебирая всевозможные, один хуже другого, варианты, он замедлил шаг и остановился. За это время Майя успела перейти улицу и выйти к собору, а мостовую, пока он мешкал, от края до края быстро заполнили молодые люди в камуфляже, масках, с флагами и факелами. Откуда-то из гудящей их гущи то и дело, с перерывами на дружный отзыв, вырывался высокий юный, но как будто донельзя изношенный, истрепанный, как тряпка, голос с очередной кричалкой. Колонна была плотной, но не такой уж и длинной, виден был багрово освещенный дымящими фальшфейерами хвост. Можно было и переждать. Но внезапно осенившая Тягина счастливая мысль, которой необходимо было воспользоваться немедленно, не теряя ни секунды, вдруг вытолкнула его на брусчатку и потащила поперек огненного течения толпы. Под троекрат-

ное надсадное «Слава нации!» и троекратный же оглушительный ответ «Смэрть ворогам!» он выбрался на другой берег, быстро догнал Майю и пошел рядом. По ее притворно удивленному взгляду сразу стало понятно, что заметила она его еще у парикмахерской.

– Здравствуйте! – начал Тягин, улыбаясь, прикладывая руку к груди. – У меня к вам буквально два слова. Только, пожалуйста, не смейтесь. А еще лучше: войдите в положение. Я неподалеку работаю, ну и каждый день прохожу мимо. А тут вы в окне. Как на экране. И я каждый раз останавливаюсь, смотрю. Тут еще такое дело: если бы это было какое-то общедоступное место, магазин или кафе, а так – женский салон, то есть без причины не зайдешь, поэтому даже и не думал вас вблизи увидеть. – Заговорив поначалу путано, сбивчиво (отмечая при этом, как уместно сейчас его косноязычие), он постепенно расходился. – И вот такая встреча! Ну, знаете, это как видишь какую-нибудь актрису на экране, такую далекую, недоступную, и вдруг сталкиваешься с ней лицом к лицу. Волей-неволей поздороваешься. Ты-то, конечно, для неё никто, но она для тебя уже вроде и не совсем чужой человек... Понимаете, о чем я? Не мог пройти мимо, извините...

Она шла, склонив голову и, кажется, улыбалась. Когда он закончил, произнесла:

– И что я теперь должна делать? Дать вам автограф?

– О, вот это мысль! Заметьте, вы сами предложили.

Тягин быстро достал из сумки на плече ручку, записную книжку и встал перед ней; они как раз оказались под фонарем.

– Пожалуйста.

– Вы что, серьезно? – спросила парикмахерша.

– Абсолютно.

– Вы какой-то странный...

– Ну, есть немного. Только напишите: Михаилу от... вас как зовут?

Она, пожав плечами, подписала.

– Прекрасно, – сказал Тягин принимая ручку и книжку. – Май-я. Думал, вы и номер телефона свой напишите...

– Еще чего!

Ускорив шаг, она перешла Преображенскую и зашла в магазин. Он постоял у входа, подождал. Потом решил, что чрезмерной настойчивостью может всё испортить, и на сегодня, пожалуй, достаточно. Через полчаса, сидя за пивом в рюмочной возле собора, где он познакомился с проводником, Тягин видел, как Майя прошла мимо окон, и ему стоило некоторого усилия усидеть, не броситься опять за ней.

На следующий день её в парикмахерской не было или же она раньше ушла, а вот на третий он дождался, пока она закончит работу и подошел, когда она свернула на Коблевскую.

– Что еще? – спросила она с напускной строгостью. – Автограф для невесты?

– А вы разве не рады меня видеть?

– Честно говоря, не очень. Не люблю когда... Ну, в общем, вы поняли.

– А я вам сейчас легко всё растолкую. Смотрите. Как бы вам объяснить: после нашей встречи это место приобрело для меня особое очарование. Мне теперь вдвойне приятно здесь находиться и хочется побыть подольше. Даже если вас здесь нет. Ну и вполне естественно, что я могу опять случайно встретить вас. То есть вероятность встречи из-за этого просто возросла. Понимаете?

Она остановилась у входа во двор.

– Понимаю-понимаю. До свидания. Я пришла.

«Тягин-Тягин...» – весело прошептал он, дивясь себе, переполнявшему его задору. Провожая Майю взглядом, он услышал за спиной:

– Вам тут ничего не светит, уважаемый!

Тягин обернулся. Перед ним стоял небольшого роста человек с подстриженной седой бородкой в натянутом по брови берете.

– Что вы хотели от этой женщины? – требовательно спросил он.

– А вы, собственно, кто?

– А вы?

– Я – Михаил.

– Михаил? Ну, вот и идите по своим делам, Михаил. Что вы стоите? Идите отсюда!

Человек внезапно схватил Тягина под руку и молча повёл прочь. Тягин от неожиданности поддался, потом выдернул руку и толкнул незнакомца в плечо.

– Вы сумасшедший?

– Да, я сумасшедший!

Тягин с интересом смотрел на незнакомца. Как-то сразу было понятно, что этот плюгавенький нервный тип не мог быть ни мужем Майи, ни тем более любовником. Тогда кто?

– Еще раз: я Михаил. А вы?

Вместо ответа неизвестный попытался опять поддеть Тягина под локоть, но тот перехватил его за кисть. Когда он толкнул Тягина в грудь свободной рукой, Тягин перехватил и ее. Незнакомец отчаянно толкнулся всем телом. Тягин заломил ему руку за спину и повалил на колени.

– Больно!

Тягин помог незнакомцу подняться.

– Я видел, она вам вчера что-то написала? Покажите!

Тягин достал из сумки книжку, раскрыл на странице с автографом Майи и протянул ему.

– Действительно Михаил, – пробормотал незнакомец и вернул книжку.

– Может быть, зайдем, выпьем за знакомство? Если надо, я извинюсь перед вами, – предложил Тягин. – Вот сюда.

– Сначала извинитесь.

– Извините.

– Ладно. Пошли.

Тягин взял два бокала пива и рюмку водки для своего спутника. Тот как-то назвался, но у Тягина тут же вылетело из головы. Ему было не меньше пятидесяти, а то и под шестьдесят.

– Извините, а можно сразу: вы кем приходитесь Майе? – спросил Тягин, когда они выпили за знакомство.

– Я её верный раб.

Тягин не знал, как к этому отнестись и сказал:

– Да, красивая женщина. Есть от чего потерять голову.

Его собеседник презрительно усмехнулся, потом щелкнул над головой пальцами и выкрикнул:

– Человек! еще водки! – и расхохотался. – Всегда мечтал так сделать!.. – он нетерпеливо похлопал ладонью по столу. – Лю-без-ней-ший!..

– Я принесу, – сказал Тягин, поднимаясь.

Вернувшись с водкой, он во второй раз спросил его имя и опять через минуту забыл, переспрашивать же в третий у столь нервозного собеседника не решился. А тот быстро выпил водку и потребовал еще.

– Я знаю, Майя недавно несчастье пережила, подруга погибла... – сказал Тягин, ставя перед ним следующую рюмку.

– Вы о Юле? Бедная девочка! Бедная, бедная... Вы её знали?

– Нет, я её не знал. Только видел. Мы вместе ехали в одном вагоне.

– Тогда? В этом ужасном вагоне?

Тягин кивнул.

– Славная ведь девочка была... Юлия... младая нимфа...

Третья рюмка явно была лишней. А тем более четвертая. Как-то несоразмерно выпитому опьяневший незнакомец схватил Тягина за рукав и запросил:

– Отведите меня к ней, умоляю, с вами она меня впустит, прошу вас. Мы с ней немного поссорились, но если вы её попросите, она вас послушает, она любит таких как вы – красивых, сильных, статных... а я ненавижу, но это не важно... у вас есть стать? Вы каких статей будете? Верните, прошу... сделайте доброе дело!

– Что значит вернуть? Куда?

– Я покажу... Она не любит, когда я пьяный. Это вы всё виноваты!

На улице новый знакомый крепко схватил Тягина под руку.

– Вы собираетесь за ней ухаживать? Говорите как на духу! Собираетесь? О, тогда вам многое откроется. Черт! Меня тошнит... Стойте! Надо постоять...

Они постояли и двинулись дальше по Коблевской. В парадном поднялись по пологой мраморной лестнице на последний этаж и прошли почти в самый конец коммунального коридора.

Им открыла Майя и, не говоря ни слова, впустила в комнату. Тягин провел спутника туда, куда она показала ладонью, и посадил на широкую кровать.

– Вот, привёл, – сказал, пожимая плечами Тягин. – Извините, но он очень просил. Где он живет, я не знаю...

Майя, поджав губы, размеренно покивала.

Сразу начавший клевать носом пьяный гость сидел на высокой кровати по-детски неловко, свесив голову на грудь. Тягин попросился помыть руки, и пока находился в ванной, чутко прислушивался к происходящему в комнате, чтобы хоть немного понять, что связывает хозяйку и пьяного незнакомца, и не услышал за всё время ни единого звука. Однако когда он вернулся в комнату, засыпавший гость из неё уже исчез. Для такого пьяного это было слишком быстро и бесшумно. Как испарился. Только и осталась вмятина на покрывале. Тягин растерянно оглянул комнату, в которой, кроме как в шкафу или под кроватью, укрыться было негде.

– Он уже далеко-далеко... – загадочно произнесла хозяйка, увидев его удивленное лицо.

– Он сказал, что он ваш раб, – сказал Тягин весело, но и с опаской.

Майя усмехнулась.

– Он мой друг. И домработник. Есть домработницы, а он домработник. Друг-домработник.

Они ненадолго встретились взглядами. Проводник Иван, кстати, ошибся или что-то напутал: лет ей было не больше двадцати трех; разве что в трауре она выглядела старше. И да: она была чрезвычайно хороша собой.

– Днем здесь, наверное, очень светло... – сказал Тягин, кивнув на окна.

– Да, светло, – улыбаясь, согласилась хозяйка.

– Может быть, выйдем, прогуляемся?

– Какие гуляния, вы что! Мне спать пора. Завтра на работу.

– Жаль. Но зато я теперь знаю, где вы живёте.

Она рассмеялась.

– Это, конечно, крупная удача.

– Как знать.

У неё был негромкий легкий смех.

Домой Тягин пошел не сразу, а прилично и с удовольствием побродив по городу. Холодный ясный воздух весело пах бензином и сырой землей. Настроение у Тягина было лучше не придумаешь. Словно прошлись ладонью по запотевшему стеклу – так сразу все стало прозрачно. Подходя к дому, он заглянул в магазин (где-то в районе Старопортофранковской в эту минуту прилично бахнуло), купил вина, но выпил совсем чуть-чуть. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Сидя в углу дивана, Тягин как бы отпустил погулять свои чувства, не так уж часто, в конце концов, он это делал. Раз за разом вспоминалась встреча с Майей у нее дома, но слишком мало еще было впечатлений, нечем было питать фантазию, и потому от бесконечных повторов он довольно скоро устал, а остановиться уже не мог. Чтобы отвлечься, раскрыл роман Тверязова, и всё, что он успел прочесть, пока его не сморил сон, было подогрето и освещено огнём счастливого предчувствия.

XIII

Жара.

7-е июля, около 3-х пополудни.

На термометре уже который день под сорок; ночью ниже 29-ти не опускается. Кон-

дицонера в квартире нет. Водка с грейпфрутовым соком и со льдом – иного спасения мы не видим.

Я протер у себя в комнате мокрой тряпкой пол, после чего мы разделись до трусов и улеглись на него с вышеуказанным напитком. До этого мы выпили по стакану горячего чая, хорошенько вспотели, и вот теперь блаженствуем. Фома, листая роман Сыча, но не «Египетское метро», а другой, время от времени задремывает; я, заложив руки за затылок, бодро смотрю в потолок.

Закашлявшись, Фомин в очередной раз просыпается и раздраженно:

«Что это значит?»

«Что именно?»

«Ну вот это, вот эта музыка!»

«Луи Армстронг, "Как прекрасен этот мир"».

«Слушай, Фома, если ты еще раз включишь подобную мерзость, я с тобой поругаюсь».

«Ты уже ругаешься. А я ничего не включал – это радио. Они передают что хотят».

«Гадость какая... выключи немедленно!»

«Хорошо».

Щелчок – и Армстронга больше нет.

Фома уже несколько дней живет у меня, скрываясь от Веры. После предполагаемого бегства Сыча в Египет она просто как с цепи сорвалась и мучает Фому звонками днем и ночью.

Вдруг Фома говорит:

«Недавно случайно зашел в кухню, там у Марины работал телевизор (я не смотрю, ты же знаешь), и увидел одного нашего знакомого, не помню как его фамилия: то ли Молотков, то ли Гвоздиков... что-то такое, плотницкое... не помню».

«Может быть, Клещёв?»

«Совершенно верно: Клещёв!»

«Ну так! Он теперь депутат».

«Иди ты!»

«Серьезно».

«Надо же. Был у меня один приятель, он говорил, что познакомился с ним на Тверской гауптвахте. Клещёв там рассказывал сказки».

«В каком смысле?»

«В самом прямом. Вообще-то он был старостой по камере. После подъема выносил ведро с нечистотами и плевательницу, наполненную до краев мочой, потому как ведра не хватало: камера была рассчитана на восемь человек, а находилось в ней около двадцати. И еще каждое утро со строевым шагом – для этого он отходил к дальней стене – докладывал дежурному о положении дел на вверенном ему объекте. Так вот, там, в их камере, был такой Серёга, здоровый жлоб, который ждал отправки в Москву в Алешинские казармы, и вот этот Серёга каждый вечер заставлял Клещева рассказывать ему сказки перед сном».

«И какие же сказки он ему рассказывал?»

«А разные, какие помнил: про Колобка, про Красную Шапочку, про "мерзни, мерзни волчий хвост"...»

«Интересно».

«Значит, теперь он депутат?»

«Да».

«Ты посмотри, как люди делают карьеру... И что, имя его звучит?»

«Еще как».

Мы засыпаем. А проснувшись и выпив хорошую порцию водки с грейпфрутовым соком, Фома неожиданно серьезно, с мрачной задумчивостью произносит:

«Надо помогать людям».

«Хорошо, – говорю я, – когда начинаем?»

«Не знаю... как можно скорее».

***

В определенном состоянии у Фомы напрочь теряется ощущение пространства и времени, и он с трудом понимает происходящее. И это как раз тот самый случай.

Фома опускает нож и спрашивает:

«Где мы?»

Полдень. Мы находимся в каком-то загородном доме у каких-то случайных знакомых, в маленькой комнатке и сдираем ножами со стен старые обои – таково задание, данное нам хозяином.

Я говорю:

«Мы с самого утра сдираем обои. Помогаем людям».

Фома:

«Каким еще людям?!»

«Не знаю. Ты с ними вчера вечером познакомился и вызвался помочь».

Дверь распахивается, влетает какой-то рыжеволосый парень, хватает колун из-под скамьи и, пробегая мимо нас обратно к выходу, угрожающе кричит:

«А вы, пьянь подзаборная, если так будете волынить, получите люлей по полной программе!»

Фома (недоуменно):

«Это он кому сказал?»

«Нам».

«А тут есть другой выход?»

«Только через окно».

«Пошли».

Через пару дней.

Ночь. Полнолуние. Мы с Фомой ловим листы шифера, которые нам торопливо спускают с крыши. Один из листов несильно, но крепко въезжает Фоме в лоб. Фома вытирает пальцами лоб, видит кровь, потом удивленно смотрит на полную луну и наконец обращается ко мне:

«А что мы здесь делаем в такое время?»

«То же, что и в прошлый раз – помогаем людям. Воруем шифер с заброшенной фермы».

«Черт, это переходит всякие границы...»

«Я рад, что ты, наконец, это заметил».

***

Подвал в Н-ском переулке. 24-е июля, 19 часов с минутами.

Фома за последние дни заметно сдал: неряшливость в одежде, многодневная щетина, раздражительность по любому поводу. А кроме того, склонность к замысловатым речам, где часто обрезаны начало и конец, а середина скомкана и не очень внятна. Сдал, по всей видимости, и я. Да, нелегко нам даются поиски проклятого Сыча.

С собой Фома постоянно носит какую-то рассыпающуюся в крошки и бережно завернутую в носовой платок еду, которой со мной никогда не делится, хотя при этом всегда готов взять мне все, чего я ни пожелаю.

Итак, мы сидим, выпиваем; Фома что-то поклевывает из своего платка-самобранки; в углу под потолком работает телевизор, на экране какие-то боевые действия.

Фома поднимает голову, долго смотрит на экран, потом говорит:

«Ты знаешь, я всегда объяснял себе все эти войны, вооруженные конфликты, стычки какими-то банальными столкновениями интересов, человеческой склонностью к агрессии, ну и чем-то таким прочим... То есть ничего я, конечно, себе никогда не объяснял, но в общем что-то такое имел в виду. А теперь...»

Фома, низко склонившись, подобрал трясущимися пальцами несколько мелких кусочков и побросал их в рот. Больно было на это смотреть.

«А теперь?»

«А теперь... Ты же знаешь, я всегда был атеистом... но теперь я склонен к признанию существования неких темных и вполне даже бесплотных сил, которые и втягивают людей во всё это дерьмо... да. Это как у Толстого в "Анне Карениной", где-то там хорошо сказано, что Анна с Вронским и готовы были перестать собачиться и вернуться к прежней своей любови, но некий дух злобы, витавший между ними, всё сильнее стравливал их друг с другом... что в конце концов и не могло не закончится этим жестоким убийством Анны».

«Само-убийством», – поправляю я.

Фома ме-едленно, как будто у него на шее жернов, поднимает на меня взгляд.

«Если бы я хотел сказать "самоубийством", я бы так и сказал. Но я сказал "убийством". Впрочем, если тебе хочется считать, что человек, которого двумя руками в спину толкают под поезд, кончает самоубийством – пожалуйста, твое дело. Только я называю это убийством. Уж извини».

Выговорено это было с такой предельно напряженной артикуляцией (с поправкой, конечно, на состояние говорившего) и с таким ударением на «двумя руками в спину», что я, дабы развеять тут же возникшее недоумение, позволил себе заметить (так, просто, чтобы уточнить):

«Есть, кажется, такая статья в уголовном кодексе – доведение до самоубийства. Ты это имеешь в виду?»

«А есть еще такая гадкая черта в людях: прямо-таки ослиное упорство в нежелании слышать, что говорят и все перекручивать на свой лад (в сторону стойки). Девушка, нам еще два по сто, пожалуйста».

Я смущенно умолк, подержал паузу и:

«А все же, извини, в каком смысле: "двумя руками в спину толкают под поезд"?»

Реакция бурная и незамедлительная.

«Да вот в таком!!!»

Фома резко выбрасывает в сторону обе руки и едва не сбивает с ног как раз на свою беду семенящего мимо нас престарелого посетителя; стакан с водкой, который тот бережно нес, летит на пол. Фома тут же встает, извиняется перед стариком и продавщицей, расплачивается за разбитый стакан, берет старичку и нам водку и садится.

Я несколько озадачен. И говорю:

«Фома, извини, конечно, я давно не перечитывал роман, но все-таки, насколько я помню, Анна бросается под поезд сама. То есть даже не насколько я помню – я просто это знаю. Так там написано».

«Вот именно. Написано».

«Тогда о каких толкнувших в спину руках ты говоришь?»

Фома издевательски вертит передо мной руками.

«Вот о таких вот! Обыкновенных мужских руках».

«И чьи же это были руки?»

«Чьи руки? А угадай. Нет? Как сказал бы Порфирий: «как "кто убил?"? Да вы же и убили-с, Алексей Алексеевич... больше некому-с...»»

Беседа наша уже вполне перевалила за грань здравого смысла, да и горячность Фомы не предвещала ничего хорошего; поэтому я попытался свернуть тему. Мы чокнулись, выпили, и я сказал:

«Ладно, Фома, всё, успокойся. Тут у нас явно какое-то недоразумение. Оставим на следующий раз».

«Правильно. Недоразумение. Потому что мы с тобой говорим о двух разных “Аннах Карениных”».

Это, наверное, какая-то новая неизвестная мне степень опьянения, подумал я, когда уже двоится не в глазах, а в памяти или где-то там еще, и спросил:

«Ты имеешь в виду какие-то черновики?»

«Нет, я имею в виду “Анну Каренину” письменную и “Анну Каренину” устную. Ты говоришь о первой, а я о второй».

«Устная “Анна Каренина”?! Что это значит?»

«Это значит, что она передавалась из уст в уста. Ты что, этого не знал?»

«Нет».

«Ну-ну. А еще образованный человек».

«Устная “Анна Каренина”... Первый раз слышу. А кто автор?»

«Автор тот же».

Я смотрю на Фому; он на меня. Лицо у него серьезное, а глаза прищуренные, с хитрецой. Такой, прямо скажем, плебейской гримасы я на его лице никогда прежде не видел. Боже, до чего мы докатились!

«Устная “Анна Каренина”?» – с некоторым демонстративным смирением спрашиваю я.

«Угу».

Я размеренно киваю.

«А! это, наверное, та, которую он яснополянским детишкам рассказывал?»

Неловко качнувшись, я едва не падаю со стула, но вовремя хватаюсь за столешницу. Фома потеснее подбирает под себя локти и наваливается на них; взгляд у него теперь серьезный, я бы даже сказал, строгий, но при этом вполне сумасшедший.

«Напрасно иронизируешь. Как хорошо тебе известно, по еврейскому учению Бог на Синае дал Моисею две Торы – письменную и устную. Вот и Толстой, у которого были еще те представления о собственной персоне, решил сделать нечто похожее, и выдал две “Анны Каренины”: одну опубликовал, а другую, устную, рассказал своим последователям. Они, конечно, снабдили ее своими специфическими толкованиями, комментариями, но это отдельный разговор...»

«Фома, извини что перебиваю, но откуда ты взял эту историю про устную “Анну Каренину”?»

«И историю и саму “Анну Каренину”, правда, в кратком пересказе, я услышал. На то она и устная, – отчеканил Фома. – Девушка, еще два по пятьдесят, пожалуйста!»

«И в ней Алексей Вронский толкает Анну под поезд?»

«Да. Самым натуральным образом».

«Но зачем?!»

«Что ж, давай разберемся с одним из возможных прочтений “Карениной”.

Два по пятьдесят появились как-то очень быстро, и мы выпили, хотя я еще до них заметил, что уже хорошо плыву.

«Повторите, пожалуйста, – сказал Фома еще не успевшей далеко уйти девице и продолжил: – Вспомни эпиграф к роману – “Мне отмщение и аз воздам”, вспомни также перманентное желание нашего зеркала революции все бросить и куда-нибудь бежать... Но сначала вернемся к тому моменту... Спасибо».

Нам опять принесли. Фома еле ворочает языком, но старается держаться.

«...когда Троцкий бросает Анну под поезд...»

«У него был бронепоезд».

«Что?»

«Я говорю, у него был бронепоезд. Он на нем по России рассекал».

«Стоп. Какой бронепоезд?»

«Троцкого».

«Ты что несешь? Причем здесь Троцкий?!»

«Ты сказал Троцкий... Извини, наверное мне послышалось».

«Опять? Ты бы бросал пить, если тебе всё время что-то мерещится. Так вот: в устной версии Вронский завлекает Анну на вокзал и бросает под поезд. Важно то, из каких соображений он это делает».

«Из каких?»

«Из желания исчезнуть, покончить с прошлой жизнью. Потом тот же трюк у Толстого проделал Федя Протасов. Правда, в более мягкой форме. Степан Касатский, он же отец Сергий, вообще линял дважды, туда и обратно. Вот и Вронский решил всё бросить и раствориться в неизвестности. В принципе-то, по большому счету, он потому и бросает Анну под поезд, чтобы слинять. Он, можно сказать, искусственно создает себе мотив для бегства. Намеренно ставит себя в такие жесткие условия. Почему же он в Сербию уезжает?»

«Почему?»

«Да потому что у него угрозыск на хвосте повис. А там, в Сербии, во всей этой неразберихе с натовскими бомбежками очень легко затеряться, сделать себе новые документы, да и вообще исчезнуть, в Америку уехать, например... Что? Ты чего меня постоянно путаешь? Какие ещё бомбежки? Ну и молчи!.. Суть-то в чём? В том, что это была заветная мечта самого Толстого. Устная “Анна Каренина” это программа, по которой он сам собирался действовать. Вспомни опять же эпиграф... А где он перед самой смертью оказался?.. и куда примчалась его Софья Андреевна – помнишь?.. то-то... ж/д станция Астапово... Но это уже была так... запоздалая попытка осуществить задуманное... Завлечь завлек, но бросить под поезд уже... сам понимаешь... возраст... такие вот дела... да и куда уже было ему ехать... всё: стоп машина».

С каждым словом Фома всё ниже и ниже опускал голову, и на последнем уткнулся в сложенные на столе руки.

«Что-то у тебя, Фома, не сходится: Вронский бросил Анну под поезд, чтобы убежать, а Толстой убежал, чтобы бросить Софью Андреевну под поезд? Фома!..»

«Всё у меня нормально сходится... ты просто подумай хорошенько... и сам поймешь... всё сходится... нормально всё».

Фома заснул. Да и я, отвалившись в угол и прикрыв глаза, задумался.

XIV

Утром следующего дня позвонил Тверязов и предложил съездить на неделю, дней десять в село. Его сельский сосед был на своей машине по делам в городе и предложил подвезти. Надо было решать тут же, на месте, и Тягин неожиданно для себя согласился. «Это хорошо, – подумал он, вспоминая и уже трезво оценивая вчерашнюю встречу с Майей. – Не хватало ещё увязнуть здесь по уши». С дороги он сообщил о своем отъезде Филиппу и почему-то решил, что вот теперь-то уж, в эти несколько дней тот обязательно позвонит с радостным известием.

О забытом впопыхах романе Тягин вспомнил, когда выехали за город, и с той минуты ему потом всю дорогу казалось, что Тверязов так и ждёт разговора о прочитанном, да и потащил его с собой ради этого. По срокам-то он вполне мог рассчитывать.

Когда, спустя два с лишним часа, они въехали в пределы длинного, растянувшегося вдоль трассы села и покатили по солнечной, прозрачной от голых деревьев улице, Тверязов сказал:

– Думаю в скором времени сюда окончательно перебраться. И на этом закрыть активный период своей жизни.

– Не рановато?

– А чего ждать? Как любит говорить один мой знакомый: на поезде ездил, на самолете летал, на пароходе плавал – что еще надо? Пора и на покой. Острых ощущений не любил и уже не полюблю. Да всё и так в конце концов покроется одной серенькой пылью. И острое и тупое.

В первый же вечер Тверязов устроил грандиозное застолье, наприглашав соседей. На следующий день отправился (Тягин наотрез отказался) на рыбалку, и его вечером приволокли грязного, мертвецки пьяного и без улова. Наутро он опохмелялся, ну а там пошло по накатанной. С первого дня у Тягина не было сил спокойно наблюдать, как хитрые селяне обирают его пьяного друга: дачи взаймы, какие-то долги, о которых тот не помнил... Где мог, Тягин сначала вмешивался, потом махнул рукой.

– Всё хорошо, – успокаивал его Тверязов. – Как не крути, а это наши кормильцы. Денег тебе, что ли, жалко? Да ну... Это как с бабушками на барахолке. Стоишь с ней, торгуешься, а потом как подумаешь: да что ж я делаю? что для меня эта пятерка и что для неё...

Ночь, когда с рыбалки привезли Тверязова, стала для Тягина единственным отрадным впечатлением от поездки. Среди ночи пошел хлопьями снег, Тягин открыл дверь и долго простоял на пороге. Двор, огород, сарай, летняя кухня – всё быстро одевалось снегом и уже через четверть часа напоминало оперные декорации; за спиной гудела и оглушительно трещала печь.

В один из первых дней еще не успевший как следует разогнаться Тверязов, чистя картошку, опять делился планами о переезде в село, потом с обычной своей печальной усмешкой стал рассказывать придуманную им историю, предварив её словами, что хорошо бы написать роман, и назвать «Иов наоборот».

– Вот, допустим, встречаются случайно два приятеля. Молодые люди, – начал он, кинув в ведро очищенную картофелину, и почесал ручкой ножа голову. – До 30-ти. Один священник, другой предприниматель. Когда-то оба учились в семинарии, и один, как видим, закончил, а другой недолго походил и бросил. Встретились, сели на скамеечку возле газетного киоска и разговаривают. У предпринимателя с собой фляжечка, так что еще и выпивают. Больше говорит предприниматель. Он вообще такой болтун, язык без костей. Рассказывает о том, о сем, а потом переходит к вопросам веры и говорит, что всегда ему тут мешал его какой-то детский максимализм. И то ли он действительно так думает, то ли просто батюшку решил поддеть (знаешь, есть такие любители), не поймешь. Короче. Заводит он такую речь. Вот, мол, написано: имейте веру с горчичное зерно и скажите горе, и так далее. Я, говорит предприниматель, всегда прямо так буквально и верил – и в горчичное зерно, и в гору. И мне не понятно, почему никто никогда просто так, ни для чего, не переставил ни одну гору с места на место? Хотя бы в подтверждение. Или для укрепления сомневающихся. Не было такого. А почему? Чудес-то за две тысячи лет совершено не счесть, но вот как раз о горе, для которой нужно всего лишь горчичное зерно, никто ничего не слышал. А ведь такой-то крупицей наверное много кто обладал. Ладно, оставим это. Я, собственно, о чудесах. Получается, одной веры для них недостаточно. Нам ведь чудеса какие известны? Победы, исцеления, спасения и проч. То есть чудо должно быть правильным. По-своему рациональным. И никакой отсебятины там, наверху не допустят. И если бы мне захотелось чего-нибудь эдакого, экстравагантного, и имей я при этом веру хоть с кокосовый орех – я всё равно этого не получу. А жаль. Как бы весело было. Мне это кажется нечестным. Это всё предприниматель говорит. Ну и я присоединюсь к его мнению. И он там много чего еще говорит, но в общем смысл тот же: есть правильные чудеса и есть неправильные, и вот их шиш получишь, как бы ты там не веровал. И кто бы, говорит предприниматель, как бы горячо не молился, но мне, например, никогда не стать нобелевским лауреатом по химии, тебе лучшим футболистом мира, а этому бомжу возлюбленным вот этой роскошной девицы. И стучит пальцем по стеклу киоска, за которым висит журнал с портретом голливудской звезды. Искавший в кустах пустые бутылки бомж, как бы почувствовав, что говорят о нем, оборачивается, предприниматель его подзывает, спрашивает, как зовут и даёт десятку. «На, говорит, Петя, выпей за наше здоровье». Тот благодарит и возвращается к своему занятию. Ну и, по законам жанра, всё дальше складывается так, что бомж, конечно же, становит-

ся – в том числе – и любовником девицы с обложки. Это понятно. Тут только интересно, каким извилистым путем он до этого дойдет. Поэтому перехожу сразу к финалу. Проходят годы. Много-много лет... – Тверязов усмехнулся и опять почесал рукояткой затылок. – То есть они, эти много-много лет, и сейчас-то еще не прошли... В общем, будем считать – когда-то в будущем. Итак, проходят десятки лет, за которые бывший бомж стал одним из богатейших людей России, а то и мира. А наш молодой батюшка, естественно, совсем состарился, и на склоне лет принял постриг в одном из далеких монастырей. А там уже стал старцем и приобрел известность. Каждый день перед ним проходят толпы людей. И, конечно, ни о каком бомже он уже не помнил, слишком долгой оказалась жизнь, хотя имя Петр, именно то имя, того бомжа, которое он записал себе тогда же, вернувшись после разговора с предпринимателем домой, это имя каким-то чудом сохранилось в его поминальных записях, и он переносил его из одного помянника в следующий, и молился о нем каждый Божий день, из года в год, совершенно забыв, кто это такой. И вот однажды приходит к нему один из богатейших людей. И рассказывает, как много-много лет назад, когда он обитал на самом дне, его подозвал на улице незнакомый человек, спросил имя и вручил десять рублей. И жизнь его с того дня начала меняться. Решил он эту десятку не пропивать сразу же, а отложить на самый-самый черный день. Сначала продержался сутки, потом вторые, протрезвел, пришел в себя, а тут еще попутно всё вокруг начало складываться каким-то чудесным образом. Один за другим стали попадаться доброжелательные, готовые помочь люди, и каждая встреча поднимала его на следующую ступеньку. Как будто кто-то взял его за руку и повёл. Пытался он потом найти того человека, давшего десятку, да как его отыщешь? Он его и не помнил толком. И так с каждым годом взбирался он всё выше и выше и достиг всего. А теперь вот, когда уже и конец недалек, им овладело беспокойство. Стал он задумываться: за что ему всё это – вдруг, ни с того ни с сего? И появились у него нехорошие, тревожные мысли. А не продал ли он как-то нечаянно свою душу за эту десятку? Вернее, не купили ли её как-то обманом, без его ведома? Скоро помирать, и вот как-то боязно. Старец взял десятку, повертел, посмотрел, да и вернул. Сказал, что так, без ведома, не бывает. А богатство... ну что ж, значит заслужил. Так и разошлись. И друг дружку так и не узнали. Конец. В общем, мораль сей басни такова, – подытожил Тверязов. – Никто ничего не помнит. Все всё забыли. А значит, ничего и не было. Точка.

«Мораль сей басни» была как-то вызывающе грубо присобачена Тверязовым ко всему прежде рассказанному. И вызвала в Тягине некоторое возмущение. «Что это? – подумал он, – неуклюжее, притянутое за уши отпущение мне грехов? Не надо мне этого. Еще чего. Или я уже просто гребу на себя всё подряд?»

Туда в село Тягину звонил человек-свинья, и сказал, что готов встретиться. Был еще странный звонок от Абакумова, который сообщил, что ему звонит Мальта и требует, чтобы он отдал какие-то деньги Тягину. Тягин заверил его, что не имеет к этому никакого отношения. После короткого разговора с Абакумовым он пытался дозвониться Мальте и не смог.

В одну из ночей Тягин проснулся от того, что Тверязов ходил по дому, и им овладело волнение. Пришло в голову, что Тверязов заманил его сюда не просто так. А что? Бросит в колодец, и никто никогда не найдет. Потом он вспомнил, что слишком уж это напоминает майскую ночь из тверязовского романа, и заснул.

По мере того как Тверязов продолжал набирать обороты, его ироничный тон превращался в развязно-насмешливый и агрессивный. Встав однажды в дверном проеме, он, ухмыляясь, спросил:

– Всё переживаешь о том, что тебя предупредили? Вот именно тебя? Не слишком ли дорогой ценой?

– Ты о чем? – не понял Тягин.

– О задушенной девице.

Пару дней назад Тягин вспомнил в разговоре тот случай в поезде, но так, между делом, вскользь.

– Слушай, мне не хочется особо на эту тему говорить, – нехотя возразил он. – Ну да, с некоторых пор мне кажется, что ничего не происходит просто так. Мысль не новая, но тем не менее.

Каждый к ней приходит по-своему. И потом: я ведь не настаиваю, что именно меня. Может быть, всех, кто там ехал, каждого по-своему и о чем-то своем. Заодно и меня. – Спокойным голосом Тягин пытался сбить развязный тон хозяина.

– То есть ради вас, оглоедов, её и задушили?

– Нет, не ради нас. Но мы могли там оказаться не случайно.

Тверязов презрительно, дернувшись всем телом, усмехнулся.

– Тягин! Ну что ты носишься с собой как с писаной торбой? А? Проще надо как-то быть, скромнее... И вообще успокойся: самое главное сообщение получила сама задушенная.

– Саша, ты чего хочешь? – мрачно спросил Тягин, видя, что его усилия пошли прахом.

Тверязов усмехнулся и ушел к себе. Однако этот случай ему почему-то не давал покоя, и уже на следующий день, проходя мимо комнаты, в которой Тягин, собираясь спать, потушил свет, он опять приостановился в дверях и спросил:

– Вот скажи: это же не ты?

– Что?

– Я говорю: это не ты?

– Что – не я?

– Девушку в поезде. Не ты ведь задушил?..

И тут же подошел, хлопнул Тягина по плечу, со смехом подсел и, толкаясь локтем, хватая и дергая за рукав, весело понес:

– А представляешь? Вдруг! вбегают люди, куча людей! и кричат: «Ааа! Это ты убил девушку в красном! это ты убил! ты, ты, ты! И тянут тебя, Тягин, в тюрьму на пмж. В наших условиях, это, между прочим, вполне возможно. Ты следователям, или кто там, свой адрес оставлял? Ну всё. Если такое случится, советую не кочевряжиться, признаваться сразу. А еще лучше самому прийти. Так и так, мол, звыняйтэ, это я убил девушку в красном. Каюсь. А теперь, люди добрые, проведите меня, пожалуйста, на Дерибасовскую – хочу поцеловать её в булыжник, поклониться на все четыре стороны и попросить прощения у всех жителей и гостей города.

«Да у него истерика», – подумал Тягин. А чего, собственно, он еще ждал? С их-то историей. Да, может быть, только с целью вдоволь покуражиться, а то и вдрызг разругаться, Тверязов его сюда и зазвал? Вот только он-то зачем поехал? Он теперь Тверязову вообще ни в чём не способен отказать? Какого черта он должен торопиться читать его роман? Ехать по первому щелчку с ним в это дурацкое село?..

Это были несколько выброшенных на ветер муторных дней, и как бы символом этой тоски были день и ночь, бившиеся о кровлю сарая мокрые ветки ореха за окном. Но, кажется, последней каплей стала та удивительная (удивительная!) злая мысль, на которой Тягин себя поймал: если бы он (Тверязов) только знал, каких усилий стоит вернуть ему Дашу! С не менее прекрасным дополнением вдогонку: и что будет с Дашей, если она вернется к такому Тверязову? Неплохо, да? Съездил развеяться, ничего не скажешь. Тягин решил, что в этой обстановке можно и до чего-нибудь похлеще додуматься, и на шестой день, воспользовавшись отлучкой Тверязова, уехал.

В селе он несколько раз с затухающим интересом вспоминал Майю и её малахольного поклонника, названного домработником. В том, что он не влез в какую-то мутную треугольную историю, – была единственная польза от поездки.

XV

Первым, что бросилось в глаза, как только он открыл дверь, был кожаный рюкзак Филиппа на полу прихожей. В спальне звучала музыка; кажется, телевизор. Тягин с наслаждением стянул ботинки, и в это время зашумел унитаз. Вышедшая в прихожую голая задумчивая девица подняла голову, ойкнула и, обдав теплой волной отшатнувшегося Тягина, метнулась, шлепая босыми ногами, в комнату. «Похоже, в этой квартире какая-то природная аномалия. Ни одна женщина не может здесь оставаться одетой», – подумал Тягин.

Из спальни донёсся умоляющий крик:

– Михаил, это я, не беспокойтесь! Я сейчас всё объясню!

Тягин прошёл на кухню. Прибежавший через минуту Филипп остановился в дверях.

– Я вас прошу, извините, это совсем не входило в мои планы, – начал оправдываться он торопливым шёпотом, не решаясь переступить порог и зорко следя за каждым движением хозяина. – Так получилось, спонтанно. Как-то раз-раз, и само собой вышло – ну, вы знаете, как это бывает. Извините. Я там сейчас все приберу и мы уйдем. Потом созвонимся, да?.. А квартира ей, кажется, понравилась. Будем работать.

Ночью его разбудил телефонный звонок. С минуту он не мог понять, где находится. Звонил пьяный Тверязов с вопросом: «Тягин, ты где?». Пришлось как-то объяснять. «Вовремя ты, хе-хе», – еле ворочая языком, загадочно произнес Тверязов и дал отбой, а Тягин лишний раз порадовался, что уехал. Когда он отложил телефон, над городом прогремел взрыв. Сон после разговора с Тверязовым пропал. Тягин включил свет и пошел на кухню пить чай. Когда же я от тебя здыхаюсь, подумал он, имея в виду квартиру. Ожидая, пока закипит чайник, встал на стул и достал с антресоли большой фанерный, обитый рейками ящик из-под посылки; поставил на стол, снял тряпкой пыль и открыл. Там, как и следовало ожидать, все было на своих местах. Парабеллум-люгер, с которым он не знал, что делать, патроны к нему, коробка с двумя десятками ампул, из которых несколько морфия, две стопки писем, сгоревшие сберегательные книжки, документы и вырезанные из газет статьи Михаила Тягина разных лет. Обнаружив эти вырезки три года назад, он сразу же испуганно принялся искать среди них одну. Когда не нашел, обрадовался. Но с тех пор вопрос: прочитал ли ту гнусность отец? – не давал ему покоя. Она была ловко вплетена в один из тех самых, публиковавшихся в городской газете путевых очерков. О надсмотрщике при зверушке, которую надо мучить, чтобы... – ну вот, он и сейчас неуклюже хитрил, делая вид, что уже плохо помнит. Да нет, он до сих пор знал наизусть свое коротенькое сочинение об отце, тихом застенчивом человеке, пережившим к тому времени столько несчастий вот здесь, на этих проклятых квадратных метрах. Оно было еще и написано в прошедшем времени, как об умершем.

«Теперь, оглядываясь, вижу: он был из разряда неутомимых блюстителей порядка. Всех уровней – от мирового до порядка на полочке в ванной комнате. Выдающийся, конечно, человек. Личность. О, сам бы он и пальцем никогда никого не тронул! Но вот если бы существовала такая работа, которая заключалась бы в неукоснительном надзоре за тем, насколько добросовестно, не отклоняясь от графика, мучают какое-нибудь маленькое беспомощное животное (поскольку несчастная зверушка во время своих страданий выделяет некий секрет, который, допустим, придает крему для обуви особый устойчивый блеск), то лучшего кандидата на эту должность, чем человек, чье имя я ношу в своем отчестве, трудно было бы и представить. Уж можете мне поверить».

Это был оно самое: чистейшее, просто-таки образцовое «красное словцо». Злое, глупое, напыщенное и лживое от первой буквы до последней. И ведь лет-то ему было уже не четырнадцать, не шестнадцать. Зачем он это сделал? Если отец следил за всеми его публикациями, то, может быть, прочел и эту, и вспоминал, умирая. В последнюю встречу с фельдшером Тягин опять хотел как-то так повернуть разговор, чтобы выяснить это наверняка, но так и не повернул, а напрямую спросить не решился. Да если б даже отец прочитал и поделился с фельдшером, разве бы тот признался? Затея сама по себе была абсурдной. Потому как успокоить Тягина могли бы только слова: «Помнишь, Миша, ту гадость, что ты написал об отце? Так вот, он ее не читал».

Утром он отправился во двор к Георгию.

Привратник Лёшка сказал, что Георгий вернулся домой под утро и теперь спит.

– Разбудить?

Тягин растерянно пожал плечами и спросил:

– А человек-свинья? Васька?

– Ваську в карантин забрали.

– В какой карантин?

– Не знаю. Какие-то ветеринары приезжали, сказали африканская чума идёт, свиней косит только так, надо немедленно изолировать. Да черт его знает, где он! Депутатствует где-то...

Тягин вспомнил, что у него есть телефон человека-свиньи, полученный неделю назад от того же привратника, и прямо оттуда, из-под ворот позвонил.

– Я еду в Усатово, – сказал человек-свинья. – В данный момент иду на автовокзал возле Привоза.

– Хорошо, я туда сейчас подъеду.

На вокзале в залитом солнцем зале ожидания ему тут же попалось на глаза знакомое лицо. Какой-то знакомый третьего или даже четвертого плана. В прошлый тягинский приезд они точно так же где-то походя встретились и кивнули друг другу. Тягин не помнил его имени, да, может быть, и не знал никогда. Тот, как и в прошлый раз, был небрит, с тем же мутным взглядом и с теми же волосами по плечи. Собственно, по этим вечно распущенным, теперь седым волосам Тягин его и узнавал.

– Привет. Давно приехал?

– Около месяца, – ответил Тягин и присел рядом.

Знакомый пошлепал ладонью по рюкзаку на коленях:

– Спирт?..

– Нет, спасибо. А ты? Куда-то уезжаешь?

– Вернулся. – Он вздохнул и, помолчав, добавил: – Устал очень. Сейчас пойду. Как жизнь?

Тягин пожал плечами. С похмельным сарказмом собеседник принялся что-то рассказывать. В его манере всякий раз, когда бы они не встретились, говорить так, будто они попрощались только вчера, было что-то неприятно щекочущее нервы. Словно Тягин и в самом деле никуда не уезжал, и вся его московская жизнь ему только пригрезилась. А еще от монотонных монологов веяло провинциальной могильной тоской. Тягин терпеливо слушал. Он решил надышаться этим затхлым воздухом безнадеги сполна, чтобы дотравить, додушить в себе и самые робкие, по большей части кокетливые мысли о возвращении.

Случайно, в ходе разговора, набрели на общего знакомого.

– А я слышал, он редактором где-то в провинции. Кто-то в Москве говорил, – сказал Тягин.

Собеседник задумчиво почесал голову.

– Редактором? Хм. Первый раз слышу. А как издание называется? «Бессарабский содомит»?

Рядом с ними, напротив встал человек с большим рыхлым лицом и очевидно ждал, когда они договорят. Он был одет в широкий черный плащ с чересчур длинными рукавами, из которых едва выглядывали кончики пальцев; в руке держал черный портфель. По тому, как он уверенно подошел, Тягину стало понятно, что это и есть человек-свинья, который тогда сквозь щели хорошо его разглядел. Седоволосый задержал кисть Тягина в прощальном рукопожатии и попросил двадцатку до следующей встречи.

Тягин с человеком-свиньей отошли и сели в кафе у окна.

– Давайте для начала познакомимся, а то я... – Тягин осекся, едва не сказав, что называет его про себя свиньей.

– Василий.

– Точно! Василий. Меня Михаил. А, ну да, вы же знаете! Пить что-нибудь будете?

– Нет-нет, не надо, – испуганно отказался Василий.

– Я имею в виду чай, кофе. Может быть, чаю?

– Чаю? Да, хорошо, чаю.

Василий достал из портфеля сплющенный бутерброд с сыром и собирался разломить его пополам, но Тягин отказался. За чаем Василий рассказал, что Георгий устроил его помощником кандидата в депутаты, «лоббировать интересы», которые заключались в том, чтобы устроить во дворе настоящий цирк. И вот уже больше месяца он при этом молодом парне, кандидате. Василий достал из портфеля и протянул Тягину агитационную листовку с портретом. На фотографии был молодой человек, которого Тягин в первое мгновение принял за раскормленного ребенка.

– Славный бутуз, – сказал он.

– Ему 22 года, отец у него депутат, теперь и он хочет. Хороший парень, добрый, только очень нервный. Это всё мегаполис. Мучаются здесь люди. Очень много такого вижу. Мне вот тоже только там, во дворе хорошо. С животными вообще легче. Мы всегда друг друга понимаем. С дикобразом – видели его? – общий язык нашёл. А тут всякие собрания, встречи, – Василий покачал головой. – Тяжело...

Тягину неловко было начинать сразу с просьбы, и он неосторожно спросил Василия, как он попал к Георгию. Тот взялся за рассказ обстоятельно, начав с сельского детства, своей любви к животным и мечты стать ветеринаром. После пролога пошла история о том, как отец со всеми рассорился в родном селе и они переехали жить к брату отца в другое, а там своих шесть человек детей, а потом их всех гамузом отдали в интернат... На переезде из одного интерната в другой Тягин его остановил. Василий виновато кивнул и, произнеся: «А к Георгию я попал...», зарядил опять какую-то бесконечную предысторию, но уже из наших дней, и когда Тягин в следующий раз опомнился, рассказ уже шел даже не от лица Василия. Кроме того, что не было больше ни сил, ни времени слушать эту рукопись, найденную в Сарагосе, Тягина еще раздражала удивительная невразумительность речи. В этой размазне он едва улавливал то одну последовательность, то другую. Встрече Василия с Георгием предшествовало мрачное приключение с попаданием в участок. Ночью, когда Василия со случайным знакомым остановил патрульный наряд, знакомый подбросил ему в карман пакетик с анашой.

– Я всем всегда так говорю: мы же все люди, все братья, а он мне: давай, брат, выворачивай карманы. Стал меня обыскивать, а там раз... Георгий меня тогда выручил...

Тягин его оборвал и предложил, как он сам для себя неожиданно выразился, «поколядовать» одному своему приятелю.

– Я бы вам хорошо заплатил, – пообещал он.

– А сколько?

– Договоримся. Я не жадный.

– А вы уже выбрали, что хотите? – Василий полез опять в портфель и выложил на стол потрепанный томик «Одиссеи». – Покажете?

– Вот именно об этом я и хотел с вами поговорить. Тут такое дело... Могли бы вы прочитать не из книги, а то, что я сам написал... – Тягин достал и протянул было сочиненный в селе стих, но придержал руку и с недоумением произнес: – Одну минуту. Так вам не впервой по заказу читать?

Василий замялся, пожал неловко плечами.

– Вы же сами попросили Георгия... – начал он.

– Да это понятно. Но я думал, что только мне такое пришло в голову.

– Так неправильно, конечно, нехорошо, но Георгий...

– Постойте-постойте, – оборвал Тягин. – Вас ведь и тогда подготовили? перед моим приходом? Мой друг, да? Саша? Я не в претензии и никому не скажу, не бойтесь. Просто интересно.

Василий виновато покивал.

Вот тебе и недотепа Тверязов. «Ах ты ж сукин ты сын!», – повернувшись к окну, усмехнулся Тягин и подумал: что же должно твориться у Тверязова в голове да и на душе, если он при первой же встрече сует свой роман, а через пару дней устраивает такое. Вот в селе оно всё из него и полезло.

Далее Тягин выяснил, что и сама идея читать из Гомера принадлежала Тверязову, как-то налаживавшему Георгию компьютер. В конце концов они с Василием договорились, и Тягин дал ему небольшой аванс. Человек-свинья пообещал, что всё в лучшем виде зачитает и готов это сделать в любой удобный для Тягина день. Желательно только знать заранее. На том и расстались.

Тягин решил пройтись и вышел на Екатерининскую, потом поднялся до Преображенской. Воздух был еще холодный, но уже как-то не по-зимнему. Всё вокруг – земля, асфальт, дома, деревья – постепенно и неотвратимо согревалось. По городу – после села это особенно бросалось в глаза – группами и поодиночке шаталась уйма народа в камуфляжной форме. Тягин привык видеть в подобных нарядах только скучающих охранников в магазинах, и потому время от вре-

мени ловил себя на невольной мысли, что все эти люди вдруг лишились работы или, выражаясь газетным языком, оказались выброшенными на улицу, и теперь бродят в поисках нового места. Некоторые и выпили с горя. А в общем всё это – люди в камуфляже, шествия, периодические взрывы, дружное нежелание говорить о том, что происходит вокруг, – постепенно наслаивалось одно на другое, и картина складывалась невеселая.

Тягин не заметил, как дошел до Соборной площади. У него радостно забилось сердце, когда он увидел перед собой бежевую накидку.

– О, здравствуйте! – обернувшись, приветливо улыбаясь, сказала Майя.

Тягин пошел рядом. Перерыв в несколько дней их как будто сблизил.

– Это знак, – сказал он, – только сегодня вернулся, и первой встретил вас. Как там ваш домработник, на работу вышел?

– Вышел. А вообще-то он преподаватель. И бывший лектор.

Она шла на перерыв домой, и Тягин напросился в гости. По дороге он купил пирожных и цветы. Разговора не получалось. Майя улыбалась и по большей части односложно отвечала на вопросы, а Тягин, ввиду ее немногословности, так ими и сыпал. Занятый их придумыванием, он почти не слышал ответов, и потому не запомнил ничего, кроме того, что она подалась в парикмахерши недавно, после курсов, а прежде работала где придётся. Когда они подошли к дому Тягин, уже был порядочно вымотан этим интервью. Хотелось просто сесть и молча попить чай.

Комната, как он и предполагал, оказалась очень светлой. Предметов в ней было не много – шкаф, стол, комод, кресло, столик с зеркалом и стоявшая торцом к боковой стене старинная дубовая кровать, на которую он еще в первый приход обратил внимание и на этот раз разглядел поподробней: широкая, на высоких ножках, с резным изголовьем, украшенном маскароном (спящая женская голова с вьющимися лентами вокруг). Два сшитых шелковых – синее и зеленое – покрывала опускались до самого пола.

Тягин сел за стол. Ему так понравилась комната, особенно в сравнении с той, в которой он жил, что уже из одного только этого можно было закрутить роман с хозяйкой. Майя тем временем подошла к окну и вдруг, глядя на улицу, произнесла:

– Лектор, выйди поздоровайся! Я разрешаю. Выходи-выходи, алкоголик!

Тягин повернулся в сторону ванной, но в это время раздался шорох там, где его меньше всего было ожидать, у него за спиной. Он обернулся и увидел, как его вздорный задиристый знакомый появился из-под кровати. Майя половиной своего прекрасного зада сидела на подоконнике и, качая ногой, с интересом поглядывала на Тягина.

Лектор, как назвала его Майя, подошел и протянул руку.

– Сделай нам чай, – сказала хозяйка.

Тот кивнул и вышел за дверь.

В первую минуту Тягин принял происходящее за подготовленный специально для него розыгрыш. Всё представилось ему еще интересней, когда он вспомнил, что встретил Майю случайно, да и в гости напросился неожиданно для себя. Такой кунштюк от хозяйки как будто что-то обещал. Как минимум – не совсем обычный сюжет.

Когда лектор вернулся и спросил где подавать: здесь или на кухне, Майя сказала, что ей уже пора возвращаться на работу.

– Я завтра приду? – спросил Тягин, прощаясь.

Она, улыбаясь, пожала плечами.

XVI

Квартира Майи, двумя окнами и балконом выходившая на Коблевскую, располагалась в конце длинной и всегда тихой – ни звука, ни души – коммуны с какими-то учреждениями. Дверь на лестницу не запиралась на замок до позднего вечера, и так приятно было, пройдясь по мертвому

полутемному коридору, оказаться в большой светлой комнате. Теперь каждый день Тягин спешил сюда. Иногда ухитрялся побывать дважды за день – не только вечером, но еще и днем, когда Майя приходила на перерыв.

И до чего же хороши, как многообещающи были эти первые дни знакомства! Тягин даже ловил себя на опасении, что вот объявится куда-то совсем запропастившийся Филипп и назначит на завтра сделку, и каждый раз, вздрагивая на телефонный звонок, запоздало себя корил: да ведь в его только воле находиться здесь столько, сколько ему заблагорассудится.

Еще в первый свой приход он вспомнил восхищение проводника Майиной кожей: «прямо светится!». Свежая, гладкая её белизна действительно бросалась в глаза, и на память приходили позапрошлого века романы, в которых белокожесть героинь упоминалась среди первейших достоинств. Со светящейся, по утверждению проводника, кожей, с густыми каштановыми волосами, мелкокостная и стройная на загляденье, всегда предельно аккуратная, спокойная, даже медлительная, Майя напоминала фарфоровую статуэтку, и Тягину постоянно хотелось до неё дотронуться, что он и делал, при каждом удобном случае подавая руку или, без особой на то необходимости, придерживая за локоть. Время от времени она впадала в печальную задумчивость, и когда её окликали, отвечала рассеянной, несколько беззащитной улыбкой, ещё с минуту продолжая додумывать свою грустную думу, и в эти короткие мгновения была особенно хороша. А еще она была удивительно, если можно так сказать (а можно так сказать?), мнемо – по примеру кино и фото – генична. Стоило Тягину с ней расстаться, и она тут же как будто погружалась на некоторую глубину памяти, и в этих воспоминаниях, даже если им было не больше получаса, обзаводилась легким серебристым туманом, тонкой дагерротипной дымкой.

О себе и о работе, которая ей, кажется, не нравилась, Майя говорила неохотно. Да и вообще больше любила слушать. На вопрос о подругах только пожала плечами и тускло ответила: «Была одна. Умерла».

Своей изначальной легендой – работающий неподалеку прохожий, случайно перехвативший ее на улице – Тягин с самого начала лишил себя возможности поподробней разузнать о драме в поезде, положившей начало их знакомству. По той же причине он не спрашивал ничего у лектора, который, похоже, забыл их пьяный разговор. О себе Тягин, чтобы в дальнейшем не запутаться, рассказал, что продает квартиру и собирается в дальнейшем уезжать в Москву, а сейчас в отпуске и времени свободного у него хоть отбавляй.

Всё хозяйство в доме было на лекторе, который для Тягина до определенного дня представлял загадку. Он то ли действительно был простоват, то ли хотел выглядеть таким. Расторопный, как послушник, всегда готовый на любую услугу, но при этом неловкий и рассеянный, он то и дело витал в облаках: мог оставить сдачу на прилавке или забыть купленное. В свободное время постоянно что-то читал или писал. Когда Тягин осторожно попробовал узнать, как лектор оказался под кроватью, Майя только пожала плечами, улыбнулась и сказала:

– А вы у него спросите. Он вам расскажет.

– И часто он там и ночует?

– Ночует, когда хочет.

Кровать была непривычно высокой и, садясь на нее, Тягин вспоминал деревенскую кровать бабки, сидя на которой даже уже подростком едва доставал ногами до пола. При первой же возможности он под нее заглянул. За приподнятым шелковым покрывалом ему открылся целый кабинет: кроме подстилки, одеяла и подушки, там аккуратными стопками лежали книги и тетради, стояли маленький ночничок и миниатюрный приёмник.

В один из первых дней после знакомства, когда лектор отправился на базар, Тягин увязался за ним. Был чуть ли не первый совершенно безоблачный, яркий, хотя и прохладный, день и Тягин надел темные очки. У него было чудесное настроение: весна стояла на пороге, уже стучала в двери, вытирала ноги перед входом – эх!.. После той, первой их встречи, они впервые оказались с глазу на глаз. Лектор был чем-то озабочен и, кажется, не очень доволен тем, что Тягин вызвался в спутники. На углу Дворянской он выхватил из сумки на плече тетрадь и что-то быстро записал.

– Давно вы знаете Майю? – спросил Тягин, когда они проходили мимо цирка.

– Какое это имеет значение? Майя неисчерпаема, как океан, – ответил тот, пряча тетрадь.

– Надеюсь, мы в нём не утонем?

– О каких это «мы» вы говорите? – презрительно произнёс лектор. – Утонем!.. Вы еще даже в воду не прыгнули. Так только, ножкой поболтали с берега.

Ответ был несколько неожиданным, и дальше они шли молча. На базаре Тягин предложил зайти в винный павильон, где собирался взять вина на ужин. Заодно предложил выпить по стакану-другому. Начали с белого.

– По-моему, вы меня не очень любите, – сказал Тягин, когда они выпили по первому стакану.

– А кто вы такой, чтобы вас любить, и зачем вам моя любовь? Вы друг хозяйки, а я всего лишь её пёс. – Серьезно, еще видимо по инерции ответил лектор, но тут вино, кажется, начало действовать, и он весело закончил. – Про киников слышали? про собаку Диогена?.. Ну вот, он жил в бочке, а я под кроватью.

Они выпили еще по одному, потом еще, и вот, как и в первую их встречу, лектор уже болтал и смеялся без умолку, как женщина. Говорили они по большей части о Майе, которую лектор то и дело называл нимфой. Услышав «нимфа» в третий или четвертый раз, Тягин заподозрил, что это не просто комплимент, а и еще что-то значит.

– Вы несколько раз назвали Майю нимфой. Это в каком смысле?

– В самом прямом, конечно. Прямее не бывает. Я ведь мог просто влюбиться в Майю. Вот как вы. Но не влюбился. Я выбрал иное! Нет, ну понятно, что сначала я влюбился. И это еще слабо сказано: «влюбился»! Попал как кур в ощип. Вспомнить страшно. Не спал, не ел, потерял счет времени, ну и т.д. Ничего другого не надо – дайте только на нее смотреть! Правда, при том, что хоть и надежды никакой не было на взаимность, но и отчаяния, вот что удивительно, тоже не наблюдалось. К счастью, я быстро понял, к чему на самом деле призван.

– И к чему же?

– Я же вам только что сказал. Служить.

– Лежа под кроватью?

– Ха! Это я еще еле ее уговорил. Вот на этих коленях ползал, – он хлопнул себя по чашечкам. – А вообще настоящее моё место рядом, на подстилке... чтобы она, вставая, попирала меня своими прекрасными ногами, как прах. Видно, не заслужил пока.

– Так значит, Майя – нимфа?

– У вас есть что возразить?

– Нет, что вы! Как скажете.

– Нимфа номер один. Зачинательница. Нас ждут интересные времена. Я – поэт по своей природе, но чувствую, на меня лягут все организационные дела, потому что кто-то же должен заниматься закладкой фундамента.

Несмотря на всю свою одержимость, начал лектор с той вихляющей хитрой интонацией, что позволяла в любой момент обернуть сказанное в шутку. Постепенно, однако, эта осторожная хитреца исчезла. «О, да тут еще веселей, чем мне казалось!» – подумал Тягин, как бы устраиваясь внутри себя поудобнее, и всё время, пока лектор посвящал его в свою теорию быстрого и повсеместного объязычивания, ему было как-то удивительно хорошо и легко.

– Выборные боги? – переспросил он. – Интересная мысль. Что-то вроде конкурсов красоты?

– Ну да. Почему нет? Божества районов, городов, областей! Греки своих представляли только гадательно, а с нашими можно будет встречаться, говорить, фотографироваться... – набирал между тем обороты лектор. – Будут ставить им бюсты в присутственных или каких-то видных местах. В каждом городе свой культ, свой пантеон, возможно даже олимп. Праздники в честь них. С лёгкими жертвоприношениями: какие-нибудь улитки, жучки, кузнечики... Со временем всё отшлифуется, приобретет надлежащий вид. Наконец-то все силы направят на поклонение красоте. И боги будут жить среди нас. И чудеса начнутся, вот увидите. Когда тысячи воль, ожиданий и надежд будут направлены одновременно на одного или нескольких человек, – он приблизил к лицу Тягина свою раскрытую пятерню и сжал её в кулак, – возможны будут и чудеса, почему нет?

– У вас и единомышленники есть?

– Как раз этим я сейчас и занимаюсь. Осваиваю интернет. Вы вот слушаете и наверное думаете: что за чушь он несет, этот лектор, этот безумец?

– Ну, по правде говоря, есть такое.

– «Есть такое»! – передразнил лектор. – Какое «такое»?! Вы вокруг оглянитесь! Идите вот и скажите тем, кто сейчас по городу с факелами марширует, что всё это чушь и не может такого быть. А ведь пару лет назад вы бы так и сказали, что – нет? Но вот оно: есть. И здесь так будет. Молодцы ребята, я ими восхищаюсь, прокладывают нам путь. А еще вам, в вашем возрасте, пора бы знать, что очень многое в этом мире начиналось, начинается и будет начинаться с одной какой-нибудь абсурдной, а то и вопиюще абсурдной мыслишки, пришедшей в голову какому-нибудь никому не известному чудаку. Опыт цивилизации, друг мой. Мы, конечно, не увидим расцвета, увы, но мы вестники, первые ласточки. А это еще заслужить надо. Так-то. Вперёд, в золотой век! Одесса отлично для этого подходит. Может быть, новое возрождение Европы отсюда и начнется.

– Вы должно быть большой специалист по античности?

– Ха-ха. Говоря по правде – никакой. Или как все, в самых общих чертах. Да и зачем? Какое это имеет значение? Революции делают не только профессиональные революционеры. Я могу вообще ничего не знать – главное, что я чувствую, слышу эту музыку, это движение... Долго объяснять. Да и незачем. Всё вот здесь, – лектор положил ладонь на сердце. – О святилище на Жеваховой горе слышали? Там омфал нашли, сиречь пуп земли. Еще бы оракул какой-никакой соорудить рядышком... Представьте ежегодное шествие туда, где-то в августе или сентябре с танцами, с пением!..

– Это посёлок Большевик, если не ошибаюсь?

– К тому времени мы его переименуем. А впереди, в повозке, украшенной гирляндами цветов, запряженной парой, нет – четверкой белых лошадей, в сопровождении прекрасных полуобнаженных юношей наша Майя. По обе стороны ликующие Пересыпь, потом Ярмарочная площадь... Цветы, музыка, радостные приветствия! И это всё будет, будет! Вот такие у меня видения, дорогой мой. Поэтому я на все эти факельные шествия и смотрю с таким воодушевлением и надеждой. Понимаете?

– Теперь понимаю. Хотя мне и трудно представить, что те, кто сегодня кричат «Смерть врагам!» завтра сменят камуфляж и балаклавы на туники и венки и отправятся, приплясывая, на эту вашу гору...

– Это у вас от недостатка воображения.

– Возможно. Наверное, надо еще выпить. А не боитесь, что к тому времени Майя несколько, как бы сказать, утратит очарование молодости? Она и сейчас не девочка...

– Эх, ну ничего вы не понимаете! Тупость, косность и узость – вот с чем мне приходится сталкиваться на каждом шагу. И вы туда же. Она сейчас хороша?

– Хороша. Очень хороша!

– Всё. Важно запустить процесс. Зачем мне сейчас думать, что будет потом? А там дальше она перейдет в какой-нибудь другой разряд – старших нимф, допустим. Или богинь. Что-нибудь найдется. Эллинизм это творчество масс. Мы сами всё будем придумывать и продумывать. Но то, что она моими скромными усилиями стала первой у нее уже никто не отнимет, и одно из почетных мест в истории за ней точно останется.

– А сейчас Мая по вашей шкале кто? Нимфа Соборки? Или берём выше?

– А вы как думаете? Ха! Нимфа Соборки. Скажете тоже. А если серьезно, я вот думаю: нимфа перемен. Или счастливых начинаний.

– А вы небось в какие-нибудь верховные жрецы метите? – спросил Тягин.

– Не исключено. А почему нет? Знакомьтесь: пёс и жрец в одном лице! Или – пёс жреческой породы. А еще точнее – пёс-летописец жреческой породы. Гав!

И, крепко схватив Тягина за рукав и запрокинув голову, лектор расхохотался.

– Значит, нимфы улиц? – улыбаясь, спросил Тягин. – Звучит несколько двусмысленно.

– И улиц, и районов, и предприятий, и учебных заведений... – подхватил лектор.

– Лектор, да вы нимфоман! Вам этого еще никто не говорил? – воскликнул Тягин.

– Очень смешно. Обхохочешься. – Лектор сделал обиженное лицо, но не продержавшись и минуты, продолжил на той же вдохновенной ноте: – Вы напрасно смеетесь. Нимфоман, говорите? Ну и прекрасно. Да здравствует нимфомания!

Напившись вина, они пошли по рядам и набрали уйму всего: купили мяса, брынзы, всевозможной зелени, до которой Тягин был большой охотник, овощей и солений, и всё это время вошедший в раж лектор не умолкал ни на минуту. Потом вернулись к вину и выпили еще по стакану. Лектор стал задирать прохожих и вёл себя как подросток. На обратном пути он подвел Тягина к небольшому магазинчику и, заговорщицки подмигивая, попросил встать в дверях, так чтобы его видел продавец. Оказавшись в тени, Тягин снял было очки, но лектор потребовал, чтобы он их надел и не сводил взгляда с продавца. В заведении громко играла музыка, и Тягин не мог слышать, что лектор, помахивая указательным пальцем и показывая в его сторону, говорил продавцу-кавказцу. Тот слушал, опустив голову, и только пару раз глянул исподлобья на Тягина.

– Вот и от вас какой-то толк, – сказал лектор, вернувшись, и стал рассказывать, как однажды кавказец преследовал Майю и даже рвался к ней домой.

Майя встретила их укоризненным покачиванием головы. Тягин, держа под руку, довел спотыкающегося лектора до кровати и тот, неразборчиво поблагодарив, исчез под нею. Провожая его взглядом, Тягин думал: когда под кроватью лектор, а за окном факельные шествия, так ли уж невероятны вакханки, бегущие по улицам поселка Большевик?..

Майя, улыбаясь, продолжала качать головой.

– Пойдем, пройдемся? – предложил Тягин и протянул руку. – О, божественная Майя! Прекраснокудрявая нимфа! Боги щедро одарили тебя! Всё в тебе прекрасно – и имя, и внешность, и верные поклонники!..

XVII

В эти несколько дней Тягин совсем позабыл о всех своих прочих делах. К некоторым из них его вернул разговор с Дашей. Спрашивала, конечно, о брате. Ей было неловко за него, за то, что морочил голову. Поговорив с ней, Тягин подумал: а ведь и того, что с ним произошло, вполне достаточно. До полноценной измены он, правда, так и не добрался, а похожую историю мог бы придумать и в Москве, но... Всё-таки здесь всё облеклось в живую плоть: настоящие, не придуманные имена, адреса, детали. Такие вещи сразу чувствуются. Пройдет месяц-другой и: ну, что ж, прости меня, Даша, вот так получилось. Думал, смогу забыть, но не получается. Я вот сейчас здесь, с тобой, а сердцем там, в Одессе. Прости. То есть: ступай-ка ты, душа моя Даша, к братцу своему Хвёдору. А там и до Тверязова рукой подать. Еще и детей крестить позовут. Тягин, поморщившись, помотал головой. «Морщься, не морщься, а так оно всё и будет, дядя». Впрочем, это была какая-то головная мысль. Но что-то в разговоре с Дашей Тягина и насторожило. Что-то показалось новым в её интонациях. Да и в его тоже, когда он невольно пытался взять её тон (а когда вообще такое было?). Уж не соскучились ли они по друг другу? Нет, это тоже из головы. Но знак тревожный. И чем ближе расставание, тем чаще будут такие мысли. В конце концов, два года просто так из жизни не выкинешь. Надо это учесть и двигаться дальше. Тем более что он уже даже вложил в это предприятие некоторую сумму. Небольшую, можно сказать символическую, но всё же. Момент, кстати, был не из приятных. Пару дней назад лектор вдруг завел с ним разговор о друге детства Майи, самом родном ей на всём белом свете человеке, который сидел в следственном изоляторе.

– Кстати, тоже красавец. Фавн. Она сейчас ни о чём, кроме него, думать не может. Собирает, собирает деньги, никак не соберет.

– За что сидит?

– Да ерунда, за драку какую-то. Загребли парня и ждут выкупа. Вы вот всё ходите с пирожными и дорогими напитками, лучше бы взяли да помогли, чем тратиться на ерунду.

Лектор запросил пятьсот, несколько опешивший от такого нахальства Тягин дал триста. Да, момент был неприятный, но к этой трате Тягин был готов. Как-то это носилось в воздухе. Он бы дал и все пятьсот, если б не страх выглядеть совсем уж доверчивым дурачком. Кроме того, что он был не жаден и с деньгами расставался легко, в нем еще был странный прагматизм: любой самой безнадежной на первый взгляд трате он легко находил объяснение и усматривал в ней пользу. Да хоть – жизненный урок, обучающую ошибку. Он просто не мог заставить себя думать, что деньги потрачены зря. И вполне искренне не помнил ни одного такого случая за всю жизнь. Не мудрено, что он и тут быстро нашел оправдание: да он от безделья потратил бы за это время гораздо больше. Ходил бы по вечерам по каким-нибудь дурацким кабакам, глядишь, еще в казино бы сунулся. Да и расположение незнакомых людей, готовых его принимать почти в любое время, разве того не стоило? И всё же что-то неприятное в нем шевельнулось. И вот в связи с этим что-то как будто новое у него шевельнулось к Даше. Хотя какая тут могла быть связь?

После разговора с ней Тягин позвонил Хвёдору.

– Слушай, я тут вспоминал нашу с тобой поездку и подумал: а ведь ничего конкретного от твоей Глафиры мы не услышали, одни общие фразы. Карма, коридор возможностей и прочая муть. Ну хорошо, не муть, извини. Но всё равно определённости как-то маловато, согласись. Давай еще куда-то сходим. Подтвердится – хорошо, нет – так, может, что-то другое услышим. Что скажешь? Тут какой-то ясновидец появился, возле Староконного. Говорят, предсказывает довольно точно. Слышал о таком?

– Что-то слышал. Не помню.

– Знаешь, что он живёт в свинарнике?

– В каком смысле?

– В прямом. Со свиньями. Как свинья. Юродивый. Может, сходим на днях?

После паузы Хвёдор спросил:

– А если я не один приду?

– А с кем?

– С одним человеком.

– Я понял, что не с собакой. С каким человеком?

– С одной женщиной.

– Она тоже собирается в этом участвовать?

– Может быть.

– Да пожалуйста! Но только платить за нее будешь сам. Сразу говорю, удовольствие не из дешевых. Тебе я готов оказать такую услугу, но и всё.

– Я думал, это бесплатно.

– Сейчас нет ничего бесплатного, Федя.

– Просто ты сказал: юродивый, живет в свинарнике... Он что, за деньги это делает?

– Он нет. Но свинарник приходится чистить, а свиней кормить. Людям, которые этим занимаются, надо платить. Понимаешь?

– Я подумаю, перезвоню.

– Думай.

Тягин готов был дать голову на отсечение, что Хвёдор сейчас звонит Глафире. Ну, насчет нее он был спокоен, там всё было схвачено. А вот женщина... Уж не тут ли таилась причина несговорчивости Хвёдора. Уж не собирался ли он ехать в Москву не в одиночку?

Хвёдор перезвонил через полчаса и сказал, что позвонит на неделе и назначит точный день.

– Договорились, – согласился Тягин. – Так ты будешь сам или как?

– Сам.

И все-таки у Тягина оставалось опасение, что Хвёдор приволочет свою подругу. Желания корпеть над еще одним текстом у него не было, да и какого черта? Он позвонил человеку-свинье

и попросил, чтобы тот, если Хведор заявится со спутницей, специально выбрал на свое усмотрение из «Одиссеи» что-нибудь нелестное или обличительное касательно женщин. А может быть, и устрашающее.

– Я могу про казнь неверных рабынь Одиссея, как их на канате вешают, – предложил свинья. – Подойдет?

– Вам виднее.

– Или как Цирцея в свиней превратила...

– Тоже можно. Но это если она придет. И что-нибудь одно.

В тот же день – он только вернулся от Майи и еще не успел раздеться – позвонила Мальта и попросилась зайти. Тягин сказал, что как раз собирается выходить (зря он, конечно, приводил её сюда), и спустился во двор. Мальта была не одна, рядом с ней стоял, нервно подергивая ногой, крепкий молодой человек в камуфляжной форме. У него были раскосые глаза и высокие изогнутые брови. Кажется, Тягину раньше никогда не встречалось такое сочетание: что-то кошачье и в то же время безмерно глупое.

– Он уже психологически готов, – сказала Мальта. – Если сейчас пойдете с нами, всё будет мирно улажено.

– Вы о чем?

– Об Абакумове. Идемте?

– Нет, конечно. А вы что, решили меня на измор брать?

– Я все-таки думала, вы хотите его наказать и помочь Тверязову.

– Послушайте, я же вам русским языком сказал: вы получили деньги, отдали расписку. Всё. Я полагаю, он потому её и не уничтожил, чтобы обезопасить себя на такой случай. Узнаю Абакумова. Так что извините. И прошу вас, в разговорах с ним не надо на меня ссылаться, хорошо?

Но Мальта была непробиваема.

– Ваш Абакумов, когда меня на вас натравливал, сделал нас с вами участниками своей аферы, – медленно и внушительно проговорила она. – Вот пусть теперь перед нами и отвечает. Если бы он с самого начала честно поступил со мной, ему потом не пришлось бы вилять перед вами и заметать следы. Вроде умный человек, а не понимаете. За всё надо платить. Вы не хотите, чтобы Тверязов получил хоть часть своих денег?

Тягин даже растерялся, не зная, на что тут сначала возразить.

– Но вы выбрали какой-то странный путь...

– Странный, но верный. Как хотите. – Она кивнула спутнику: – Идём.

Не доходя до ворот, Мальта вдруг быстро вернулась и еще больше огорошила Тягина:

– Я слышала, что вы презираете людей с таким кругом интересов, как у меня. Может быть, поэтому вы отказываетесь мне помогать?

– Где вы могли такое слышать? – спросил Тягин, впрочем, сразу же догадавшийся где.

– Не важно.

– Я вас второй раз вижу, откуда мне знать ваши интересы?

Мальта посмотрела-посмотрела на него, развернулась и ушла.

То что Абакумов, как выразилась Мальта, «почти готов», подтвердилось буквально на следующий же день, когда тот позвонил Тягину.

– Сегодня ночью мне пытались поджечь дверь, – сообщил он. – Такие дела, Миша. Подпалили и сами же позвонили. Предупредили. Я знаю что ты тут ни при чем, мне такое и в голову не пришло бы, но... Слушай, я тебя прошу, если можешь, успокой ты её, а? Она же больная! И главное, что в нынешней ситуации и управу на неё не найдешь: всем всё по барабану. У меня постоянно мерзкое ощущение, что за мной следят. Ночью кто-то ходит под дверью, утром нахожу на площадке окурки... Ну, нет у меня этих денег, мать вашу, нет!

– Да что я-то могу поделать? Кажется, она на тебя всерьез обиделась за те десять процентов. Которые у тебя в разговоре со мной превратились в половину.

– Двадцать пять, Миша! Я отдал ей четверть. Она врет.

Тягин тяжело вздохнул:

– Мне, честно говоря, совершенно всё равно, кто из вас врёт. Вернее, кто из вас врёт больше.

– Я сказал, что отдал ей четверть! Тягин, ну что за дела? ты что, веришь этой придурочной?! Она же тебя за нос водит! Какого хрена ты вообще лезешь, куда тебя не просят, ну вот скажи? Тебе что, заняться нечем? Чего ты тут всё вынюхиваешь, баламутишь? Печорина из себя корчишь? Тут тебе не Тамань. Тверязов вот не особенно почему-то переживает. Ты, кстати, его хоть спросил?

– Минуту назад ты сказал, что я тут ни при чём...

– Я на это надеюсь. А если ты схитрил? Или сначала не собирался, а потом передумал. А тогда с чего она такую активность развила? Кто-то ж её подзуживает?

– Но это точно не я. И вообще – разбирайтесь друг с другом сами.

– Ты что, решил меня наказать вот этой своей безответственностью?!

Хм, наказать безответственностью – ничего так сказано, надо бы запомнить, подумал Тягин и спросил:

– Это как?

– А вот так, дорогой мой! Приехал, разворошил – и в кусты! Давай, разгребай теперь всё, что наворотил. Чего молчишь? Сказать нечего?..

Тягин дал отбой. И всё-таки после этого позвонил Мальте. И опять, как и в селе, не мог до нее дозвониться.

И только главный виновник всего этого, Тверязов, продолжал, кажется, оставаться в счастливом неведении. Как-то вечером он перепугал Тягина своим пьяным звонком. Из трубки доносился уличный шум: голоса прохожих и верещанье автомобильной сигнализации.

– Выпить хочешь?

– Нет. Не сейчас.

– Чего не заходишь?

– Зайду как-нибудь.

– Роман читаешь?

– Конечно.

– Что-то не верится. И далеко уже?

– Что?

– Где ты сейчас?

– Дома.

– Я о романе.

– А! Постой, дай вспомнить...

– Понятно. Но метро они хотя бы уже потеряли?

– Метро?!..

– Метро-метро. Во второй части.

– А! да, да, уже потеряли, всё! – совершенно не понимая, о чём идет речь, успокоил Тягин.

В трубке послышался еще чей-то голос.

– Подожди, я перезвоню – сказал Тверязов.

Услышав отбой, Тягин сдуру сорвался искать, а потом принялся листать туда-сюда рукопись, прислушиваясь к звукам на лестнице. Да где же это, где? С ума сойти – оказывается тут ещё и вторая часть есть! А! вот.

«Я потерял рукопись Сыча. Потерял. Её нет».

Тягин вернулся к началу главы. Тверязов так и не пришёл. И не перезвонил.

XVIII

Боже, как же меня трясло, пока я ждал его прихода! В 13.37 раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. Как назло, в тот день у него было прекрасное настроение (Вера накануне не звонила), и вот мне предстояло его испортить. Да еще как!..

Он вошел с большим бумажным пакетом, весело поздоровался с пробегавшей по коридору Машей (было воскресенье). У меня в комнате он выложил на стол пучки кинзы, базилика, кресс-салата, две бутылки «Саперави», бутылку водки, два лаваша, кружок овечьей брынзы, помидоры, перцы и бутылочку ткемали.

«Сейчас придет Марина и приготовит нам баранину с овощами, – сообщил он, – знаешь, что это такое?»

«Нет».

«Дно казана... У тебя есть казан?»

«Найдем».

«Отлично. Дно казана выкладывается жирными бараньими ребрышками, потом идет слой лука, на него кладут слой нарезанных баклажанов, потом слой болгарского перца, потом слой помидоров, а потом все сначала: баранина, лук, баклажаны, перцы, помидоры... и все это ставится на маленький огонь. На два с половиной часа. Баранина пропитывается ароматом овощей, овощи вкусом баранины, и при этом – никакого масла, никакой воды, все как есть... Просто фантастика! Я сначала думал употребить это с вином, но потом решил, что все-таки лучше с водочкой. А вином с брынзой мы закусим, пока будем ждать. Все это дело мы запьем зеленым чаем».

Я слушал его и думал: признаться мне сейчас или же позже, когда выпьем. И решил, что лучше позже. Пришла Марина, и мы с ней отправились на кухню. Казан пришлось попросить у Маши. Маша смерила Марину взглядом и дала. Я вернулся к Фоме. Фома продолжал оставаться в самом благодушном настроении. Был весел и разговорчив. А я все время дрожал и уже сам не понимал, боюсь ли я, или же наоборот жду, когда он произнесет: «А дай-ка мне полистать...» Сначала мы с Фомой вспомнили нашу работу на радио, потом он стал рассказывать о своей работе в лицее, о нравах и повадках тамошних преподавателей, после этого кратко пересказал последний роман Я. Гадёныша, а затем как-то, без видимой связи, перескочил на своего чудаковатого дядюшку, коллекционера старинной кухонной утвари.

«Однажды он меня пригласил на свой день рождения, что, впрочем, делал каждый год. За столом, когда я пришел, сидело человек десять-двенадцать, все сплошь мужчины. Но никогда прежде и никогда после я не видел более пестрой компании. Было такое впечатление, будто дядя вышел на улицу и пригласил к себе первую попавшуюся ему на глаза дюжину прохожих, среди которых оказалась и пара человек явно с уголовным прошлым, а также настоящим и будущим. В общем, что касается общения, за столом царил полный хаос, а к концу вечера, когда все уже были в крепком подпитии, дело чуть не закончилось дракой. Я, конечно, знал, что у дяди масса знакомых в самых разных кругах, но все-таки это никак не объясняло их присутствия на его дне рождения, который он всегда любил и отмечал в кругу своих близких. И только когда они разошлись, дядя, развалившись в кресле и закурив сигару, мне все объяснил. Впрочем, ничего объяснять он не стал, а просто зачитал фамилии удалившихся гостей, а они были такие: Неизвестный, Беспрозванный, Непомнящий, Бесфамильный, Безымянный, ну, и дальше все в таком роде, один был просто: Сирота. Кстати, фамилия моего дяди – Забытый».

Баранина, которую приготовила нам Марина, оказалась и в самом деле восхитительной, и с ледяной «Столичной» пошла как нельзя лучше. И вот, когда Фома насытился и потянулся за сигаретой, я решился.

«Фома, помнишь, неделю назад мы выпивали с тобой в Н-ском переулке?» – начал я, чувствуя, как моё бедное сердце колотится где-то под горлом.

«Смутно».

«Мы там ещё задремали немного. А до этого ты мне рассказывал про устную “Анну Каренину”, помнишь?»

«Нет. Устная “Анна Каренина”?»

«Да».

«Это что ещё за зверь такой?»

«В общем, Фома, – я глубоко вдохнул и резко выдохнул, – исчезла рукопись Сыча. “Египетское метро”».

Фома уставился на меня.

«Что ты сказал? Повтори, пожалуйста».

«Я потерял рукопись Сыча. Потерял. Её нет».

О, эти паузы!

«Ты что, хочешь, чтобы меня сейчас от ужаса вывернуло наизнанку?»

«Прости, Фома, прости, если можешь...»

Фома закрыл ладонями лицо и откинулся на спинку стула; между пальцами торчала незажженная сигарета.

«Как? Когда?» – глухо произнес он сквозь ладони.

«Полной уверенности нет, но скорее всего тогда, неделю назад. В тот день...»

«Нет, это невозможно, это катастрофа, это всё...»

«...я прихватил рукопись с собой...»

«...лучше в петлю...»

«...и там, в подвале, выложил её на стол, чтобы почитать, а потом мы с тобой, оба, немного прикорнули, и вот после этого я её больше не видел, вспомнил о ней только на следующее утро...»

«...Вера же на мне живого места не оставит...»

«...сразу побежал в подвал, порасспросил продавщиц, уборщиц, всех, кто там сидел, – никто ничего не видел...»

«И ты неделю молчал?! Целую неделю молчал?!»

«Я надеялся, что она найдётся, не хотел беспокоить тебя...»

Фома налил себе водки, выпил. Потом тяжело поднялся, прошел к кровати и лег на нее.

«Ничего страшнее со мной произойти не могло, – проговорил он с закрытыми глазами. – Оставьте, пожалуйста, меня одного».

Мы с Мариной пошли курить на кухню.

«Надо дать объявления в газеты и на телевидение. Пообещать хорошее вознаграждение», – сказала Марина, ковыряясь ногтем мизинца в зубах.

«Да, наверное...» – вяло согласился я.

Так мы и сделали. На следующий день объявление появилось на телевидении, еще через день в газетах. В объявлении мы только указали предполагаемое место пропажи и скупые приметы: серая папка с машинописными листами внутри; название пропажи опустили, так как боялись, что объявление может увидеть Вера.

***

На пятый день после публикации объявления в газетах ко мне утром пришел Фома. Выглядел он неважно. Я боялся встретиться с ним взглядом.

«Ждать больше нельзя, – сказал он. – Вера может в любой момент потребовать “Метро” обратно. Я и так обмираю от каждого звонка. Придется нам кое-что предпринять».

«Что, Фома? Говори, я на все готов».

«Во всей этой истории есть несколько обнадеживающих моментов. Первый: Вера “Метро” не читала. Второй: бумага, на которой «Метро» отпечатано, подарена была Сычу мною; пачка точно такой же осталась у меня – вот она (он достал из пакета и положил на стол пачку бумаги). Третий: я все-таки, хоть и с пятое на десятое, но кое-что

успел прочитать, и приблизительно представляю, о чем там идет речь: “Метро” написано в форме дневниковых записей некоего Фтаха, водителя Фараоновой Подземной Колесницы. И еще – четвертый момент – у меня есть варварская, но, как оказалось, полезная привычка: прежде чем начать читать книгу, я обычно заглядываю в её конец. Таким образом, я знаю, чем “Метро” начинается и чем заканчивается, и – главное – мне известно количество страниц: 123. Ты уже понял, к чему я веду?»

«Уж не хочешь ли ты сказать, Фома...», – начал я испуганно.

«Именно так. Другого выхода я не вижу. Нам с тобой придется заново написать “Египетское метро”, – он посмотрел на часы. – Через полтора часа сюда придет машинистка Инна, и мы начнем».

«Но...»

«Не перебивай. Задача не из простых. Для этого нам придется воспользоваться рецептом Артюра Рембо, я имею в виду полное расстройство всех чувств. Думаю, что и Сыч точно в таком же состоянии сочинял свою галиматью. Есть надежда, что он не очень твердо помнит то, что написал. Если вообще помнит. Насколько знаю, с памятью у него всегда были нелады. И это пятый положительный момент. Итак, пока Инна не пришла, займемся расстройством. Гомосексуализм и наркотики нам не подходят, так что придется воспользоваться старым испытанным средством».

«Фома, мне кажется, что мои чувства некуда дальше расстраивать...»

«Давай стаканы», – сказал Фома, не обратив на мои робкие слова никакого внимания, и к моему ужасу выставил на стол из пакета бутылку прозрачнейшего первача, заткнутого кукурузной кочерыжкой, бутылку шампанского и четыре бутылки темного пива.

«Это для начала», – пояснил он.

Вслед за напитками Фома выложил из сумки на стол несколько книг и альбомов по Древнему Египту.

«Вот это всё не мешает полистать. Начну диктовать я. А потом подключишься ты. Вперед!»

Когда в назначенное время пришла с портативной пишущей машинкой Инна, мы уже были хороши. Семидесятипятиградусный самогон был выпит, и теперь мы его запивали сладким шампанским, смешанным с темным пивом.

«Год 8-й, 3-й месяц Засухи, ночь с 14-го дня на 15-й, – начал Фомин. – Мы с моим братом и вторым возничим Хтафом вышли с Малого, станционного круга на Большой, разгоночный и уже приближались к той заветной скорости, когда настенные светильники в тоннеле должны будут слиться в сплошную светящуюся полосу...»

Сразу скажу, что я не оправдал надежд Фомы. То ли я уж слишком расстроил все свои чувства, то ли сочинительство это все-таки не мой конек, а может быть, просто потому, что машинистка Инна оказалась не в моем вкусе – так или иначе, но ничего путного придумать я не сподобился, а то, что придумывал, Фома безжалостно забраковывал. Да и сам он перед этим очень скоро, где-то в начале второго десятка страниц выдохся. Страниц же, напомню, должно было быть 123.

***

И вот тогда Фома решился на отчаянный шаг: он вздумал привлечь нашего местного писателя Я. Гадёныша. Мне идея сразу не понравилась, но Фома настоял на своем. Он созвонился с книгоношей, который был знаком с Гадёнышем, и на следующий день Гадёныш появился у меня в комнате. Это был маленький смуглый человечек с жесткими иссиня-черными волосами, подстриженными под бобрик, и реденькой бородкой. Держался он очень гордо, пожалуй, даже вызывающе, и, надо сказать, ему очень к лицу был выбранный им псевдоним. Я как-то потом спросил его: почему Гадёныш? Он от-

ветил, что только так и никак иначе его называл отец (ох, как он был прав), а вообще гад это змей, и вот он, Гадёныш, такой и есть – мудрый змий. Фома сразу же допустил роковую ошибку: он не стал скрывать от Гадёныша, насколько тот ему необходим. И Гадёныш это понял в первые же пять минут. В общих чертах Фома обрисовал гостю ситуацию, а потом они удалились на кухню, где у них состоялся конфиденциальный разговор. Меня это, признаюсь, довольно сильно покоробило, но что мог поделать человек, по вине которого все это и происходило! Итак, Гадёныш поселился у меня в комнате (так почему-то решил Фома), и машинистка Инна поступила в его распоряжение. Гадёныш пообещал, что на всё про всё ему понадобится дней семь – десять. После разговора с Фомой на кухне он лениво полистал книги и альбомы, а затем улегся на мою кровать и включил телевизор. Там шел американский боевик, где полицейский-негр преследовал преступника, ползая по каким-то вентиляционным шахтам, но поскольку телевизор показывал из рук вон плохо, то на экране в общем была сплошная кряхтящая тьма, перемежающаяся редкими вспышками выстрелов и восклицаниями «фак!». Так мы – я, Фома и Инна за машинкой – просидели почти до полуночи, когда Гадёныш вдруг спохватился и начал диктовать. Но тут пришла соседка Маша и сказала, что из-за стука машинки они с отцом не могут уснуть. Пришлось отложить на завтра, и мы с Фомой отправились ночевать к нему.

Гадёныш провел в моей квартире около двух недель. Надо сказать, что он себя не перетруждал. Как сообщала Инна, иногда он диктовал по два-три часа в день, а иногда ограничивался и четвертью часа. Фома доверился ему безоглядно и старался исполнить любую его прихоть. Показывать свою работу до ее окончания Гадёныш наотрез отказывался. При этом он постоянно пил коньяк, причем предпочитал самые дорогие, а на третий день потребовал к себе свою сожительницу Вассу, чтобы та готовила ему его вегетарианскую еду и бегала в аптеку с подушками за кислородом – им Гаденыш дышал для вдохновения. К тому времени на город обрушилась вторая волна жары за это лето, и Васса, сняв с себя платье, разгуливала в исподнем, то есть в трусах и лифчике (а Гадёныш уже со второго дня существовал в трусах).

В один из дней, когда мы с Фомой зашли ко мне за кое-какими вещами, я услышал из комнаты соседей: «Маша! Маша!» Как и было мной обещано соседке, я отправился проведать Игоря Сергеевича, и когда увидел его распростертым на кровати, одолеваемого судорогами, меня осенило. Я метнулся обратно к себе, схватил со стола коньяк Гаденыша, крикнул Фоме: «За мной! Мы сейчас можем кое-что узнать про “Метро”!» и побежал обратно к соседям. Вскоре явился Фома (я ему как-то рассказывал о старике, и он сразу понял), а следом за ним появились и Гадёныш со своей дебелой подругой. Дав попить Игорю Сергеевичу коньяку, я взмолился:

«Игорь Сергеевич, дорогой, расскажите нам, что стало с Фтахом, прошу вас... узрите, пожалуйста!»

Старик приподнял голову и растерянно оглядел нас.

«Какая птаха?.. – спросил он и жалобно позвал дочь: – Маша! Кто эти люди? Что они хотят? Маша!..»

Я подвел свою ладонь под его сухой затылок, приподнял голову и опять угостил коньяком, потом поднес ему переданную мне Фомой дольку лимона. Посасывая её и морщась, Игорь Сергеевич опять обвел нас беспокойным взглядом.

«Игорь Сергеевич – Фтах! Возничий Фараоновой Колесницы. Что с ним стало? Скажите, умоляю!»

Игорь Сергеевич долго непонимающе смотрел мне в глаза, и наконец, словно спохватившись, произнес:

«А-а, Фтах!.. возничий... Он в последний день месяца Всходов обпился пивом и дернул во время перегона рычаг экстренного торможения... когда фараон уже оживал.

Фараон, да будет он цел, здоров и невредим, так и не ожил. Потом арест, каменоломни, смерть от истощения и побоев. Всё».

И, откинувшись на подушку, заснул.

Когда мы вернулись, в мою комнату, Фома выглядел озадаченным.

«Возможно, что именно так всё с Фтахом и случилось, – сказал он, – но у Сыча такого не было; он, по всей видимости, до этого еще не дописал. Хотя, всё это, конечно, удивительно. И даже очень».

Лежавший на кровати Гадёныш пренебрежительно махнул рукой.

«Ерунда все это, – сказал он. – У меня на этот счёт своё мнение. А старикашка просто псих».

Я еле удержался, чтобы не дать ему по затылку.

А вот какое именно у Гадёныша своё мнение, мы очень скоро узнали.

Чтение прервал телефонный звонок. Это был художник Руденко (и откуда только они все берут его телефон?). После приветствий и нескольких общих фраз он спросил:

– Ты, говорят, квартиру продаешь?

– Пытаюсь.

– Значит уже в Москву с концами?

– Скорее всего. Буду приезжать в гости.

– Мог бы зайти ко мне? Разговор есть. Ты же помнишь, где я живу.

Они договорились, и Тягин вернулся к тверязовской рукописи.

***

В еще одно из посещений мы с Фомой застаем такую картину.

Стоя на четвереньках посреди комнаты (моей комнаты!), Гаденыш вопрошает:

«Что вы про меня знаете?! Ну – что, что – а?!.. Гиксосы и гиксоски».

На тех же карачках он передвигается по комнате. Оказывается, один день в неделю он проводит на четвереньках. Это у него терапия такая. При этом пьян, конечно, в дымину. Ползая, эта тварь (Гадёныш) ухитряется курить и перелистывать какие-то книжки. Инна в шоке. Но еще в большем шоке она оказывается, когда Гадёныш, подобравшись к ее ногам, вдруг пытается содрать с нее юбку. Тут уже вмешиваемся мы с Фомой. Гадёныш лягается. «Может, его усыпить?..» – предлагаю я. Гадёныш меняет ориентир и довольно стремительно подползает к своей сожительнице. Васса под его напором привычно валится на пол. Мы – я, Фома и Инна – выходим в коридор. «Сезам, открой-ся!!! Сезам, открой-ся!!!» – слышим мы из оставленной комнаты. Фоме большого труда и немалых денег стоит после всего этого уговорить Инну продолжать работу. Душераздирающий крик Гадёныша: «Чаю!», и в коридор вылетает потная, запыхавшаяся Васса. Мы осторожно возвращаемся в комнату. Гадёныш лежит крестом (мордой вниз) на полу.

***

Несколько дней мы не появляемся в моей квартире. Видеть Гаденыша нет больше сил ни у меня, ни у Фомы. 19-е августа, одиннадцать утра. Фома звонит туда и разговаривает с Инной. Инна докладывает об объеме работы, проделанной за последние дни, и вдруг Фома бросает трубку и говорит: «Поехали!» Поехали. Приезжаем. В комнате никого, кроме Инны. Гаденыш с Вассой ушли на море. «Я так поняла, – испуганно объясняет Инна, – что насчёт египетского метро – это как бы видения главного героя...»

«Какие еще видения? Какого героя?»

«Фоменко».

«Какого еще Фоменко?!»

«Врача. Извините, я печатаю то, что мне диктуют...»

Она смотрит на нас сквозь очки и чуть не плачет. Бедная девочка, какой с неё спрос? Сидеть дни напролёт с этим чудовищем...

Фома, наконец, подходит к столу и переворачивает рукопись, которая лежит возле машинки. На титульной странице мы видим:

Я. ГАДЁНЫШ
ВРАЧ-НАРКОЛОГ И ЕГО ВЕЩЬ-МЕШОК

XIX

Что-то у Тягина с Майей сразу пошло не так. Ближе всего у цели он оказался в тот день, когда привел с базара пьяного лектора, и они с ней вышли пройтись. На скамейке в Александровском парке ему в её взгляде что-то почудилось. Он подался к ней, она смущенно опустила голову, и его губы прижались к её пахучему виску, а ладонь, скользнув под юбку, надолго замерла меж горячих, плотно сдвинутых лядвий. Он встал, подал ей руку, и они пошли из парка. Когда поравнялись с воротами во двор, он предложил зайти к нему.

– А то продам квартиру, так и не увидишь. Расскажу тебе об её интересных особенностях.

– Каких?

– Ну, таких. Интересных. Сам недавно узнал. Уже думаю, не поторопился ли с продажей. Пошли.

Но только они двинулись во двор, как Тягина окликнули. Неловко улыбаясь, к нему подошел бомжеватого вида человек в широком плаще.

– Миша, не помнишь меня? Клименко. Я тоже тебя еле узнал. А ты здесь живешь, да?..

Это был старый-старый знакомый, когда-то один из лучших журналистов города. Тягин считал его умершим.

– Извини, я, кажется не вовремя, – спохватился Клименко. – Я просто тоже здесь рядом живу, проходил, думаю: ты не ты? Рад, что ты жив-здоров...

Он взмахнул ладонями и, попятившись, пошел прочь. Глядя на покорную спину в плаще, Тягин не выдержал и в несколько быстрых шагов его нагнал.

– Ты сказал, где-то рядом? Я зайду, скажи адрес.

– Да! – радостно ответил Клименко. – Прямо вот здесь, в Канаве. Сейчас...

Тягин помахал рукой Майе, а Клименко, торопливо доставая бумагу и ручку, продолжал приговаривать:

– В двух шагах, только спуститься. А ты помнишь, у меня псевдоним был Арнольд Канавин? Не помнишь? Да, был такой. Вот, сбылось. Вечером я всегда дома. И это, Миша... извини... пару копеек, если можно...

– Да, конечно.

Когда он вернулся к Майе, всё уже было потеряно: она вдруг заспешила домой. Он не стал настаивать и только показал ей окна своей квартиры в тайной надежде, что она сама, не сегодня-завтра, явится к нему. Не явилась. Она вообще оказалась большой домоседкой. А дома постоянно присутствовал лектор. И пришлось Тягину отказываться от той прямолинейности в амурных делах, к которой он привык, и осваиваться в непривычной для него роли ухажера и одновременно друга семьи. Как если бы лектор был отцом или еще кем-то из родственников Майи. Впрочем, смена амплуа Тягина огорчала недолго. Очень скоро он сообразил, что лектор здесь не помеха, скорее наоборот. Чем бы всё это оказалось без него? Банальным отпускным романом, из которого потом попробуй еще выпутайся? Нет, лектор был здесь совсем не лишним. В иные лирические минуты, глядя на него, Тягин щекотал себе нервы: а что если бы и ему... нет, ну под кровать, конечно, слишком... но вот тоже так – с головой, без оглядок, до самозабвения? И у него даже начинало

беспокойней биться сердце, как будто он в этих раздумьях мог нечаянно заступить за какую-то грань и не вернуться.

С безумным лектором, как ни странно, Тягину всё было понятней, чем с нормальной Майей. Она, как он успел заметить, была барышней простоватой, ленивой, без особых фантазий. Любила пиво, глянцевые журналы и итальянский футбол; с умилением смотрела отвратительные конкурсы, где поющие дети изображали взрослых... И тут – лектор. Что за странная прихоть? Зачем он ей был нужен, этот лектор? Конечно, союз красавицы и безумца не нуждался ни в каком дополнительном содержании и уже сам по себе был сюжетом, парящим над унылой рутиной, однако вряд ли Майя рассуждала таким же образом. Разве что безотчетно чувствовала.

В один из дней Майя с работы долго не шла, и кто-то позвал ее с улицы. Лектор, сидевший за столом с тетрадями и книгами, бросился было с испуганным шипением к Тягину, но тот уже подошел к окну. Внизу стояла какая-то женщина. Увидев Тягина, она взмахнула ладонью.

– Ну зачем вы подошли, кто вас просил?! – воскликнул лектор, быстро собирая со стола. – Вот сами и разбирайтесь! Меня здесь нет!

Он исчез под кроватью, а растерянный Тягин, когда в дверь громко постучали, пошел открывать.

– Вы кто? – спросила гостья. Лет ей было за сорок. Красивая, яркая, крепко выпившая, с букетом белых и красных гвоздик.

– Михаил. Знакомый Майи. А вы?

– Я её сестра. Младшая. Просто сегодня не выспалась. – Она хмельным взглядом окинула Тягина, прошла в комнату, положила цветы на стол, взяла с подоконника пепельницу, выдвинула из-за стола стул и села. – Ну и кто теперь здесь главнее?

– Вы конечно.

Пристально глядя на Тягина, она закурила и кивнула:

– Присаживайтесь.

– Спасибо.

– Курите.

– Я не курю.

– Как зовут, еще раз?

– Михаил.

– А по отчеству?

– Алексеевич. Но можно без отчества. А вас?

– Зинаида, – она переложила сигарету в другую руку и с игривой, плавающей усмешкой во взгляде протянула через стол ладонь; рукопожатие у нее было крепким. – Отчество узнаете у Майи. Но можно и не узнавать.

Тут его теория о том, что не надо никогда встречаться с родственниками с той стороны, несколько пошатнулась. Чем-то она ему сразу понравилась. «Волнующая прелесть увядания», – подумал он.

Она спросила, где Майя и, кивнула на кровать:

– А этот извращенец здесь сегодня?

Тягин пожал плечами.

Зинаида глубоко затянулась и, пустив щелчком по полу, загнала под кровать окурок. Через секунду окурок вылетел обратно.

– О! Здесь.

Она подошла к кровати, встала на колени, опять глубоко затянулась подобранным окурком и, задрав покрывало, выдула дым под кровать. Из-под кровати раздался кашель.

– Давай, покашляй дружок, покашляй. Прокашляйся как следует.

Лектор, выскочил с другой стороны и, ни слова не говоря, взял куртку и вышел.

Зинаида, проводила его насмешливым взглядом.

– И давно вы с Майей знакомы? – спросила она, возвращаясь за стол.

– Пару недель, – почти наугад ответил Тягин.

– Так вы за ней ухаживаете, что ли?

– А что?

– Она же ненормальная, вы что, не видите? Разве нормальная будет держать мужика у себя под кроватью? И лектор этот хорошо двинутый. Их обоих в дурку надо. Кому-то рассказать, не поверят. Я ей говорю: а если он там у тебя загнётся, тогда что? Посмотри на него, он же холерик. Такие обычно – раз, сердечко прихватило и всё, готов. Как будешь людям объяснять? Жил человек под кроватью и умер?.. Но я вижу, вы к этому тоже спокойно относитесь.

Тягин усмехнулся и пожал плечами, не зная, что ответить.

– То есть всё нормально, да? – спросила она настойчиво. Кажется, молчание собеседника начинало ее раздражать, как это часто бывает у пьяных. – А вроде с виду приличный человек. Мир сошел с ума. Ты всегда такой общительный?

– Вы такие вещи о хозяйке говорите... А вы точно её сестра? – шутливо спросил Тягин.

– А что, не похожа?

Аргумент был самый неоспоримый.

– Ты не ответил на мой вопрос: это нормально? Тебя, как ухажера, это не смущает? Вон, одна ее подружка тоже думала, всё нормально, ехала вдвоем с каким-то пареньком в пустом купе, а он ее ночью придушил.

И вот тут, только Тягин решил вступить в разговор и расспросить поподробней, как щелкнул замок и появилась Майя. Она сдержанно ему кивнула и даже не взглянула на сестру. Вошедший вслед за ней лектор молча прошел через комнату и с ловкостью автослесаря, ныряющего под машину, исчез под кроватью. Тягин было поднялся уходить, но Зинаида поймала его за запястье.

– Посиди еще, – сказала она и обратилась к ходившей по комнате Майе: – Ты почему на похороны не пришла? Лёня спрашивал.

– Не пришла и слава Богу.

– Пропустила много интересного

– Да, мне рассказали, что ты там устроила. Молодец. Тебя скоро вообще никуда ни звать, ни пускать не будут.

Зинаида, усмехаясь, обернулась.

– Ты как со старшими разговариваешь? И кто это тебе, интересно, рассказал?

– Кто надо, тот и рассказал, – ответила Майя.

– Всё правильно я устроила.

– Ага. Приехала на похороны пьяная на мотоцикле, нахамила всем, в драку полезла... Всё правильно. Конечно.

– Абсолютно правильно. Покойника выносят – они аплодируют. Может, я чего-то не знаю, может, наша Клавдия какой-то секретной народной артисткой была?

– Тебе какое дело?

– А вот такое. Я им просто сказала: народ, вы что здесь, все чокнулись, что ли? Покойница всю жизнь билетершей в кинотеатре проработала, билетершей! Ну, не дебилы? Совсем уже с ума посходили. Конечно, тебе нравится! Вот когда тебя твой подкроватный лектор как-нибудь ночью придушит, и тебя понесут под овации всего вашего банно-прачечного комбината – или чему вы там подчиняетесь? – получишь удовольствие. – Зинаида резко повернулась к Тягину.– Гроб выносят из квартиры, они стоят хлопают. Сейчас, говорят, уже и в самолётах хлопают. Это они в американских фильмах нахватались. Как дети малые, ей-богу! Всё, что ни увидят, любую гадость в рот тащат. Они скоро будут водителям трамвая на конечной хлопать, придурки.

– Конечно, лучше же похороны со скандалом и дракой, чем с аплодисментами. Да где эта чёртова заколка!

Над периной показалась макушка лектора.

– Заколка на телевизоре! – сообщил он.

Зинаида сорвала с ноги туфель и метнула в него.

– А ну получи! – Она опять энергично повернулась к Тягину. – Нет, ну вы видели что-нибудь подобное? У нее под кроватью живет человек, а она меня учит поведению на похоронах.

– Я в твою жизнь не лезу, вот и ты в мою не лезь, пожалуйста, – сказала Майя; она была раздражена, и ей явно было неловко перед гостем за сестру, да и за себя, кажется.

– Не лезешь? А выговор только что кто мне устроил? – ответила Зинаида. – Возьми лучше цветы в воду поставь. Так разозлилась, что назад принесла, думала на могилку тёте Клаве положить...

Майя выразительно поглядев на сестру, покрутила пальцем у виска.

– Совсем уже? Дома у себя поставишь.

– Да шучу я, дурёха! Похороны же позавчера были. Ну в кого ты такая тупенькая, а? Это мне Жора Чех, мой поклонник, вот только что подарил, у почтамта. Я вообще-то к тебе по делу. Там мои девки стричься хотят.

– Хотят – пусть приходят в салон. Никуда я по вашим будкам и базарам бегать не собираюсь. В общем, я иду в душ. А потом мне надо уходить.

– Вот и торчи в своём душе, пока мы с молодым человеком пить будем. – Сестра достала из сумки неполную чекушку коньяка и повернулась к Тягину. – Совсем забыла спросить: вы, может, тоже где-нибудь здесь живёте? Под столом, например...

– Нет, у меня квартира есть.

– Уже легче.

Тягин пить отказался. Сделав глоток, Зинаида сходила подобрала брошенный в лектора туфель, надела и подошла вплотную к двери в ванную.

– У тебя когда свободный день? – спросила она, прижавшись щекой.

– Никогда!

– Давай-давай, прими контрастный душ, охлади головку, выйдешь – поговорим. Куда ты денешься... – Зинаида подмигнула поднявшемуся уходить Тягину и сказала: – Приходи в гости. Я там в ларьке, за Новым базаром. Синенький такой. В общем, захочешь – найдешь.

За время перепалки между сестрами Тягин несколько раз ловил на себе раздраженные взгляды Майи, и кажется, понимал причины её недовольства: с сестрой, но без своего домработника она сильно проигрывала. Возможно, это был один из ответов на вопрос: зачем ей лектор. И еще, как позже он заметил, с того дня Майя стала вести себя с ним несколько иначе – чуть грубее, что ли, чуть развязнее...

XX

На следующий день Тягин отправился к Руденко. Это был единственный раз, когда он, спустившись по Карантинному спуску, отчего-то решил идти по шумной загазованной Приморской. За Военным спуском поднялся по разбитой замусоренной лестнице на бульвар и вышел в тыл Художественного музея. Отсюда до квартиры Руденко было рукой подать.

Художники Бурый и Руденко (или Рудый и Буренко, как иногда переиначивали их фамилии шутники) были прежде всего известны своим длящимся не одно десятилетие противостоянием, время от времени переходившим в острые фазы. Причиной тому было поразительное сходство их живописи. И действительно, работы их были настолько похожи, что неискушенному зрителю трудно было отличить одного от другого, а уж разобраться, кто кого, как они утверждали, копировал, было совершенно невозможно. Когда-то Тягин предложил им высказаться на страницах газеты, где вёл тогда культурную рубрику. Сам он был одинаково равнодушен что к той неряшливой косноязычной мазне, что к этой, да и живописью никогда особенно не интересовался, а потому обратился за консультацией к Абакумову, который всегда крутился возле художников и, между прочим, числился в друзьях у обоих фигурантов. Тот объяснил сей феномен так. Сначала Бурый и Руденко несколько лет ходили в учениках у известного живописца Д., а потом вдруг од-

новременно и нешуточно свихнулись на известном британце Б. Последнее Абакумов сопроводил изящным каламбуром: «Оба слишком долго давились одним и тем же беконом – неудивительно, что их с тех пор и тошнит одинаково». Плюс, добавил он, за всеми этими хитрыми выкрутасами, скрюченными, словно в конвульсиях, фигурами со смазанными лицами, скрывается элементарное неумение рисовать. Полемика, кстати, получилась тогда жестокая, яростная, так что слишком острые углы приходилось сглаживать – в печать такое пускать было нельзя. Бурый и Руденко припомнили друг другу всё, что могли: кто раньше вступил в Союз художников, у кого сколько было выставок при старом режиме, кто и как переманивал покупателей, и ещё много всякого разного. Ну и, конечно же, обвиняли друг друга в копировании, воровстве сюжетов, идей и смыслов (?!).Что особенно запомнилось Тягину, так это немыслимый птичий язык, на который они переходили, когда дело касалось собственно творчества. Самыми невинными словечками тут были «трансгрессия» и «спектакулярность», и Тягин с приятелем по газете хохотали до слёз, до колик, зачитывая друг другу отдельные пассажи.

Манерный молодой человек впустил Тягина в прихожую и ушёл. «Тягин, я здесь!» – услышал он и пошёл на голос, в кухню.

У Руденко Тягин за всё время их знакомства был два раза, и его с порога удивило, как ничего здесь за эти годы не изменилось.

Руденко сидел за столом в яркой вышиванке, и, подобрав под себя босую ступню, разминал бледные пальцы. Увидев Тягина, он натянул носок, обернулся к раковине за спиной, включил воду и брезгливо ополоснул ладонь.

В углу, словно её туда втиснули, сидела, согнувшись в три погибели, свесив спутанные волосы, пьяная женщина.

– Танечку ты знаешь, – махнул в её сторону Руденко. – Садись.

– Танечку все знают, – хихикая проговорила гостья, которую Тягин видел впервые в жизни.

На столе был всё тот же столетней давности натюрморт: тарелки, бутылки, стаканы, пепельница с горой окурков.

– Я забыл: у тебя где квартира? – спросил Руденко.

Тягин ответил, и больше они к этой теме не возвращались. За спиной кто-то постоянно ходил. Вслед за Тягиным пришла девица с двумя черными лабрадорами, которые весело бросились здороваться и лизаться, так что их насилу уняли. Дом вообще был полон людей. Они где-то в других комнатах разговаривали, смеялись, вскрикивали. Вошёл молодой человек, тот самый, что открывал дверь; свободных стульев в кухне не было, и он по приглашению Руденко сел ему на колени. Руденко что-то прошептал ему на ухо, потом в голос спросил:

– Бобик там холст натянул?

– Не знаю. Нет, кажется.

– У-бью, – сказал Руденко и рявкнул во всё горло: – Бобик!

– Фу, что-то здесь как-то пахнет... – брезгливо морща нос и озираясь, пожаловался юноша

– Бобик! Бобик, блядь!!!

– Чем это воняет?

– Не знаю, – ответил Руденко и, набрав воздух в лёгкие, опять было закричал, но сорвался в кашель.

– Фу! – отрывисто повторил юноша и поднялся.

– Это Бобик сдох, – хихикнула гостья в углу, – посмотри под столом.

Хлопнув юношу по заду, Руденко сказал:

– Давай, иди найди мне его. – И обратился к слегка одуревшему от криков Тягину: – Ну что? Рассказывай. Как там Москва?

– Стоит.

– Стоит, да? Заждалась небось, сучка. Вот всё собираюсь в неё, да никак не соберусь. Туплю.

– Как? И ты?! – шутливо ужаснулся Тягин. – А я думал, ты этот... патриот...

– И что? – недовольно возразил Руденко, разливая водку. – Это, между прочим, вопрос моей

личной художественной стратегии. Какое отношение она имеет к патриотизму? Ты меня с фанатиком Бурым не путай. Давай. Лехаим!

Руденко поставил бутылку и протянул одну рюмку Танечке, вторую... – Тягин отказался. Чтобы не вляпаться в политическую дискуссию, он не стал спорить с хозяином и, не без некоторого сдержанного ехидства, сказал:

– Я слышал, Бурый то ли Верлена читал на майдане, то ли Бодлера, уже не помню. Кого-то из тех.

Тягин знал, как сделать Руденко приятное.

– Бурый – душка, – подала голос Танечка.

Кривясь от выпитой водки, Руденко энергично замахал ладонью.

– Нэ було такого! – сказал он, выдохнув. – Брэхня! Не мог Бурый ничего читать в Киеве. А знаете почему? А потому что на марше молчания украинского народа он потерял дар речи. Необъяснимо, но факт. Есть свидетели. Говорят, марш закончился, Бурый открывает рот: «А-а-а...», а сказать ничего не может. Всэ! Уявляешь? Молчащий Бурый. Шок! Сенсация! Заговорил, только вернувшись в Одессу. Так что читал он не в Киеве на майдане, а здесь, возле Дюка, и не какого-то там Сюлли, мать его, Прюдома, а нашего Кишинёвера. Знаешь такого?

– Сосед Абакумова?

– Да. Кстати! что там у вас за история с ним, какая-то некрасивая? С Кумом. Нехорошо это. Помирились бы. Взрослые люди, столько лет дружите. Давай как-нибудь втроём у меня соберёмся, посидим, выпьем, поговорим...

Тягин сделал удивлённое лицо.

– А разве мы ссорились? Вроде бы всё нормально.

– Уже нормально? А, ну тогда хорошо. Рад за вас. То есть у тебя больше нет к нему претензий? Там просто его эта Мальта замучила. Та еще пиранья. Был бы мужик, получил бы пару раз по шее и успокоился, а с этой что делать? Может, ты бы её как-то настроил попозитивней, что ли?.. Нет, серьезно.

– Честно говоря, не пойму о чем речь, – сказал Тягин. – С Абакумовым – еще раз – я не ссорился, а Мальту видел два раза в жизни. Не представляю, как бы я мог на нее повлиять.

– Ну, значит меня неправильно информировали. А Кум совсем не хочет с тобой ссориться. Наоборот, переживает, бедняга. Но раз у вас всё хорошо, то и слава Богу, как говорится. Хотя, если по правде, в чём-то он сам, конечно, виноват. Вот так вот путать денежные дела с постельными... С бабами оно всегда так.

– Ты о Мальте? – удивлённо спросил Тягин.

– Ну да. А ты не знал?

– Я вообще-то в другой стране живу.

– Тогда я тебе ничего не говорил.

– Мавпа от Кума аборт делала, – сообщила из своего угла Танечка.

– Таньюша, самтаймс итс беттер ту кип йор маус шат!– выговорил ей, повышая голос, Руденко.

– Фак ю, – ответила Танечка.

Руденко показал на неё ладонью.

– Видишь, как у нас тут всё непросто. Но в любом случае надо это прекращать. Я что-то думал, вы с ней заодно. С Мальтой.

Вошел недавний юноша и сказал, что Бобика нигде нет. В ту же минуту в кухню ввалились еще два одетых молодых человека, стало шумно, тесно, и Тягин решил уходить. Руденко выпил с новыми гостями и, перекрывая общий гомон, предложил: «Хлопци, а давайте заспиваемо!» Тягин незаметно покинул кухню. Выходил он за порог под громогласное пение Руденко, отбивающего такт кулаком по столу. На улицу из форточки неслось: «Ах, лэнта за лэнтою набои подавай...»; прыгала, звенела посуда на столе, посуда на столе, посуда на столе.

Домой Тягин возвращался в самом скверном расположении духа и клял выступившего в роли миротворца хозяина за его замешанную на любопытстве провинциальную бесцеремонность: как

же, влиятельный человек, дела улаживает, наводит порядок, он позвал, я пришел. Впрочем, всё могло быть куда проще. Абакумов задолжал Руденко какие-то деньги и сказал, что теперь тому придётся подождать. То есть надавил на Руденко, чтобы тот надавил на Тягина, ну а тот в свою очередь на Мальту. Так оно больше похоже на правду. Да и не это его смутило, не это. Известие об отношениях Абакумова и Мальты – вот что действительно зацепило Тягина. Сама по себе история была вполне в абакумовском стиле: сначала уложить в постель, потом раскрутить на расписку. Но хороша же была их с Кумом встреча в таком свете. Клуб любителей жён Тверязова. Тьфу!

Абакумов позвонил, когда Тягин подходил к дому.

– Значит, говоришь, у нас с тобой всё нормально и хорошо, да? А хочешь, я тебе сейчас расскажу, как нормально и хорошо у меня?

– Честно говоря, не хочу.

– Да нет уж. Ты, пожалуйста, послушай. Итак. Сначала какой-то хер пришёл к моей матери. Якобы интересовался, как меня найти. Принёс, сука, тортик, попил с нею чай, при этом десять раз поинтересовался её здоровьем и передавал мне привет. Говорить со мной по телефону отказался, типа собирался сделать мне сюрприз. На следующий день такой же, правда без тортика, визит к сестре и всё то же самое, только тут еще и здоровьем детей интересовались. У мамаши, положим, уже и не все дома, ей любое внимание приятно, но сестра-то нормальная, сразу всё поняла. Вот это что вообще такое?! – Абакумов кричал. – Это как?!! Вот что ты наделал! Всё это теперь на твоей совести! В прошлый раз ты сказал, что Мальта обиделась. Ты вот это называешь «обиделась»?! То есть у тебя еще поворачивается язык ее защищать?! Нет, ну теперь понятно, что вы заодно. Так вот я требую, чтобы ты заставил ее прекратить всё это. Как хочешь, но заставь! Ты думаешь, я не знаю, что у тебя на уме и почему ты это делаешь? Решил за мой счет уладить ваши с Тверязовым сердечные дела? Искупить перед ним свою вину за мой счет?..

Насчет Тверязова он, конечно, хватил лишнего, не следовало ему этого говорить.

– За твой счет? Ты себя слышишь? – перебил его Тягин. – И давай ты сам как-то будешь разбираться со своими бывшими любовницами, хорошо?

– С кем?!

– С Мальтой!

– Я... – задохнулся Абакумов, и яростно выкрикнул: – Да ну вас всех к чёрту, твари!

XXI

Хвёдор с его умением чинить неудобства выбрал, конечно, день, когда Георгия в городе не было, и Тягину стоило немалого труда уговорить Василия провести сеанс самостоятельно. Во второй половине дня он заехал за Хвёдором. Ждать, пока шурин закончит свои дела, приведет себя в порядок и переоденется, пришлось сравнительно недолго, минут двадцать. По дороге, в двух шагах от дома, тот еще останавливал машину, чтобы куда-то забежать и занести прихваченный из дома промасленный пакет. Два раза звонил Свинья и спрашивал, когда они будут. Добрались в сумерки.

Во дворе, ворота в который оказались приоткрытыми, уже там и сям позагорались яркие и неяркие огни и было как-то уютно, весело, даже празднично, так что накопившееся в Тягине раздражение несколько улеглось. Вкусно пахло чем-то жареным; за столом под лампой выпивали мужики; где-то во втором этаже негромко играла музыка. Впритирку к стене, шурша, спешил по своим делам дикобраз, а в быстро темнеющем воздухе зашныряли первые, кажется, в этом году летучие мыши. Незнакомый юноша подвел их к свиному загону, включил и повесил на столб лампу-переноску и попросил подождать.

– А посмотреть на него можно? – спросил Хвёдор, когда юноша отошел.

– Не думаю, – ответил Тягин.

В роли отсутствовавшего Георгия выступил знакомый Тягину привратник Лёшка. Проход гоголем по освещенным галереям и неспешный выход к гостям Лёшка выполнил на отлично. Был

он заметно навеселе, курил. На этом сходство с хозяином, которого привратник пытался копировать, увы, заканчивалось, дальше началось неумелое, дилетантское подражание со всеми недостатками домашней самодеятельности – чрезмерной хлопотливостью, неуместными паузами и скверной дикцией. Лешка был напыщен, но время от времени, видимо вспомнив веселую хитрецу Георгия, пускался в развязную веселость, и тогда всё у него выходило с какой-то петушиной подростковой задиристостью; слишком сильные удары ногой по доскам раздражали, а выкрики резали слух. Спохватившись, он опять напускал на себя тяжеловесную важность. Баба с ведром, чей выход, как только сейчас понял Тягин, тоже был частью представления, на этот раз опоздала, и потому первые Лёшкины реплики потонули (оно, может, и к лучшему) в толкотне и визге за перегородкой. Тягин наблюдал за происходящим с волнением режиссера-дебютанта, впервые представлявшего на суд зрителя свой спектакль, и с беспокойством поглядывал на Хвёдора. К тому же он опасался, что написал слишком длинный текст.

Человек-свинья не отзывался дольше, чем в прошлый раз. Наконец послышалось утробное (и тоже показавшееся Тягину чрезмерным):

– Феодор... Феодор!..

– Это ты ему сказал, как меня зовут? – шепотом спросил Хвёдор у Тягина.

– Я? Когда? Может, пока мы здесь болтали, он услышал... Давай, отвечай, – прошептал в ответ Тягин. – Ну!..

Хвёдор достал из кармана какой-то допотопный и самый большой из всех, какие Тягин когда-либо видел, диктофон, включил его и только тогда ответил:

– Я слушаю.

Дальше была запланированная пауза, и опять привратник принялся колотить ногой по доскам.

– Ну, Фёдор – дальше что? Давай говори! Сейчас получишь у меня!

– Феодор... слышишь?.. – вновь заговорил человек-свинья.

Тягин толкнул Хвёдора локтем.

– Я слышу, – отозвался тот.

– Так знай же...

Послышались глухие отрывистые хрипы, возня, несколько толчков в доски.

– Васька, хорош тормозить! – крикнул привратник.

– Так знай же... Всякий спешащий сквозь бурю на помощь нам друг поневоле... В шаге от смерти кто станет гадать... чьею крепкой рукою... тащат его из пучины?.. Значит богам так угодно... им всемогущим не трудно и лютых противников даже...

И в это время там, за перегородкой, громко зазвонил телефон. Свинья умолк, Тягин так и обомлел, а растерявшийся привратник заметался и бросился, сломя голову, к столу с какими-то срочными распоряжениями. И только на Хвёдора звонок не произвел никакого впечатления. Не сводя глаз с диктофона, он ждал продолжения. Телефон перестал звенеть, и Василий принялся читать сначала. В этот раз текст Тягину показался не только длинным, но и слишком мудреным. Закончив его, Василий вдруг добавил:

– А теперь относительно женщин. И сын Одиссеев сказал им... честною смертью, развратницы... вы умереть недостойны... вы, столь меня и мою благородную мать Пенелопу... здесь осрамившие, в доме моем с женихами слюбившись...

Отрывок оказался раза в два, а то и в три длиннее предыдущего, но свинья читал его в той же неторопливой манере, если не медленнее, ничего, по-видимому, не пропуская, и умолк не раньше, чем затихли, подергав ногами, повешенные на канате неверные рабыни. Когда свинья умолк, вернувшийся от стола и, кажется, успевший там выпить привратник хулиганисто, с матом, что было совсем плохо, потребовал повторить, и Василий повторил, но уже, слава Богу, без женской части. По окончании Тягин демонстративно вручил привратнику две двадцатидолларовые купюры.

Как только они вышли со двора, Хвёдор раз за разом, щелкая клавишами, стал прослушивать запись. Наконец спрятал диктофон в карман.

– Что скажешь? – не удержался Тягин.

– Надо подумать, – по-детски насупившись, произнес Хвёдор.

Он был несколько озадачен, и Тягин почувствовал к нему что-то вроде жалости, которой сопутствовало и некоторое смущение за своё мошенничество. Но стыдился он не долго.

– Сейчас много разных каналов открывается... – сказал Хвёдор.

– Каких каналов? – переспросил Тягин, смутно вспоминая, что нечто такое он где-то недавно слышал.

– Информационных, – серьезно продолжил Хвёдор. – Их сейчас достаточно. Но это не значит, что все они подлинные.

– Ну и как тебе вот этот?

– Я же говорю: надо подумать.

– Зачем?

– Что «зачем»?

– Думать зачем? Если ты ждал откровения, зачем над ним думать? А если над ним надо думать, то какое это к херам собачьим откровение?

Как это всегда было у него с Хвёдором, Тягин потихоньку начинал заводиться.

– Я же говорю: не все каналы подлинные, – продолжал гнуть свое Хвёдор.

– А как ты определяешь их подлинность? Тебе вот юродивый из грязной жижи прямым текстом говорит: Хвёдор, вали отсюда – чего тебе еще надо? Он что тут с тобой, шутки шутит?

– Когда я говорю подлинные – это значит неискажённые, – невозмутимо отвечал Хвёдор. – В последнее время ноосфера сильно возмущена, так что... Никто же не говорит, что информационные потоки искажаются кем-то намеренно. Но надо уметь отличать. Что ж, прям сразу всему верить? Ты вот то, что он тебе про женщин прочитал, тоже, наверное, как-то критически обдумываешь...

Вместо обычного раздражения Тягин вдруг почувствовал страшную усталость, она просто навалилась на него.

– Поражаюсь твоему спокойствию, Федя, – вздохнув, сказал он. – Ноосфера возмущена, вселенная в замешательстве, а тебе хоть бы хны. Ты информационные потоки перебираешь. Счастливый человек.

– А у тебя нет его телефона? – спросил Хвёдор.

Тягин махнул рукой, отвернулся и стал ловить такси.

Глубокой ночью, а может, и под утро, когда он вставал в туалет, за окнами мягко, негромко, но широко и отчётливо бабахнуло. Как будто над городом тряхнули одеялом.

На следующий день, когда Тягин шел к Майе, его на Строгановском, залитом закатным солнцем мосту окликнула Мальта. Она была в камуфляжной форме и, бросив сопровождавших её двух молодых людей, одетых подобным же образом, метнулась к нему с противоположной стороны. Несколько великоватая форма (которая ей между тем шла) и грозный, с тяжелым пришаркиванием стук берцев об асфальт делали её еще миниатюрней. На бегу она сбросила с плеча рюкзак и сунула в него руку. При этом вид у нее был такой решительный, что Тягин невольно подумал: уж не за пистолетом ли она полезла. Подбежав, Мальта протянула ему вытянутый из рюкзака вчетверо сложенный листок.

– Что это? – спросил Тягин, взяв бумагу.

– Расписка. Полдела сделано. Теперь она у нас.

– Поздравляю. И каким же образом она у вас оказалась?

– Это неважно.

– Слушайте, Мальта. Делайте, конечно, что хотите, но я бы вам посоветовал остановиться. И даже вернуться назад.

Машинально развернув листок, Тягин с полувзгляда узнал тверязовскую (точнее – абакумовскую) расписку, а кроме того в глаза сразу же бросился густой кровавый отпечаток пальца в правом нижнем углу. Кажется, кошмар с бригадой эльфов, которым в шутку пугал себя Абакумова, таки сбылся.

– А это что? – спросил он, показывая на отпечаток.

– Это я порезалась. Вот, – Мальта показала забинтованный большой палец.

Тягин перевел недоверчивый взгляд с её руки на отпечаток и обратно – отпечаток ему показался великоватым для женских пальчиков.

– Ну что скажете? – спросила Мальта. – Мы теперь можем получить все деньги до копейки.

– Да, в упорстве вам не откажешь. А кстати: что вам помешало получить их сразу же?

– Мы его не грабить пришли, а вернуть незаконно полученную расписку. А вот теперь ему придется по ней полностью рассчитаться.

– Мудрёно. Удивляюсь только его долготерпению. Я бы уже обратился куда следует.

– Пусть обращается. Только как он объяснит, откуда у него взялась Сашина расписка, если я откажусь?

– Значит, Саша действительно ни о чем не знает?

– Не беспокойтесь, никуда Абакумов не обратится. Так что мы свое дело сделали, теперь ваш выход.

– Вам сколько раз надо повторять? Никакого моего выхода не будет. Я вообще не понимаю, с какой стати вы меня так упорно тянете в эту историю.

– Потому что он вас боится.

– Ёлки-палки! да он теперь вас боится больше, чем меня!

– Может быть. Но это другой страх.

– Что?

– Страх другой.

– И в чём разница?

– Разница есть. И большая. Нас он просто боится. А в страхе перед вами у него присутствует чувство вины, понимание, что он поступил несправедливо, и теперь пришло время эту несправедливость устранить...

– Несправедливостью вы называете те десять процентов? Или двадцать пять?

– ...и это правильно. С нами у него такого нет. А я хочу, чтоб было, – не слушая его, закончила Мальта.

– То есть я, по-вашему, должен взять деньги у Абакумова и отдать их Тверязову.

– Да. Как вы и собирались.

– Пока не увидел расписку.

– Полученную обманом. Повторяю: перед Тверязовым он своей неправоты не чувствует. А перед вами почему-то чувствует. Кроме того, что боится. Так сложилось. Значит сюда и надо бить. Он должен отдать деньги с чувством вины, а не только из страха, потому что его тупо заставили.

Тягин почувствовал, что у него начинает кругом идти голова.

– С ума с вами можно сойти, вот что я вам скажу.

Они рука об руку дошли до конца моста, где Мальту поджидали ее зашедшие вперед спутники: уже знакомый Тягину малый с кошачьей мордой и еще один – тщедушный, долгоносый юноша с сухим узколобым черепом, покрытым жесткими и плотными, как шерсть, волосами. И тот, и другой глядели на Тягина с одинаковой мрачной серьезностью. Словно переняв выражение лица у своих спутников, Мальта впилась в Тягина немигающим твёрдым взглядом. Наконец сказала:

– Напрасно вы уклоняетесь. Только усугубляете. Согласились бы сразу, уже всё было бы решено. Ладно, как хотите.

Тягин вернул ей расписку и рассеянно опять отметил про себя, что форма Мальте идет.

– Вы воевать собрались? – кивнув, поинтересовался он.

– Я теперь в «мазепинской сотне», психологом. Немного времени у вас еще есть. Надумаете – сообщите.

Мальта спрятала расписку в рюкзак и повесила его на плечо.

Вот так, подумал Тягин. Еще вчера Абакумов жил своей, хоть и беспокойной, но вполне благополучной жизнью. Любые конфликты решал, как орехи щелкал, даже получая от этого удоволь-

ствия. Еще вчера. И вот появляется маленькая хрупкая Мальта, и всё его благополучие теперь летит к чертям собачьим. Поделом вору и мука, конечно, но...

– Мальта! – крикнул ей в спину Тягин, и она обернулась. – Всё время забываю вам сказать: какой-никакой, а всё-таки Абакумов мой старый приятель.

Мальта усмехнулась:

– Значит такой приятель, если вы всё время забываете.

Всё это время он держал в уме кровавый отпечаток пальца на расписке и, провожая взглядом удалявшуюся троицу, достал телефон. Звонить Абакумову он не решился, а потому позвонил Руденко.

– Ты далеко? – спросил тот. – Заходи, расскажу. Я как раз только оттуда. А ты что, телевизор не смотришь?

– Редко.

– Ну, что тебе сказать, весело там. Я эту Мальту недооценил, конечно.

И он стал рассказывать, как у Мальты появилась расписка.

Ночью под дверью абакумовской квартиры прогремел мощный взрыв (возможно, тот самый, который слышал Тягин). Дверь вынесло, повыбивало стекла в окнах, ну и проч. Сразу же после взрыва, еще пыль не успела улечься, к Абакумову заявились некие люди в камуфляжной форме и увезли его в какой-то свой штаб. Там несколько часов расспрашивали, дескать, не хранил ли он у себя дома взрывчатку и не связан ли с террористами, а пока его не было, квартиру, где и так всё послетало с мест, кто-то перевернул вверх дном. Пропало несколько ценных вещей, небольшая сумма денег, которую он держал дома на текущие расходы, но главное – исчезла расписка, что, естественно, сразу же указало на Мальту.

– Не знаешь, зачем он её хранил? Тоже ненормальный какой-то. Мальту он не видел, но понятно же, что всё это – и взрыв, и обыск – её рук дело.

– Да, интересная у вас тут жизнь...

– Это не всё! Ты дальше слушай. Вообще упадешь. После всех разборок, допросов, после бессонной ночи возвращается еле живой Кум домой, а там не протолкнуться – куча журналистов, всё городское телевидение и посреди этого армагеддона стоит его сосед по лестничной площадке и читает стихи, посвященные ночному взрыву. С пылу, с жару, так сказать. Слушай, этот Кишинёвер из Каховки тот еще жучила, как выяснилось. Просто рвёт подмётки на ходу. Заканчивает он читать стихи и начинает рассказывать, что из-за нависшей над ним угрозы вынужден был покинуть родной город, но теперь до него дотянулись уже и здесь. Ну, в общем, ты понял, да? Террористы покушались на него, только слегка ошиблись дверью. Еще сказал, что его не запугать и лучшим ответом Кремлю стало бы издание двух его новых сборников. Тут же объявляет номер счёта для сбора средств и зачитывает еще одно стихотворение. Да, еще предложил изловленных террористов публично казнить на одной из центральных площадей. В это время подъезжает Бурый и сходу говорит: ребята, в чем дело, я не понял? Квартира моя, я в ней прописан, адрес бомбисты узнали в домоуправлении, только слегка ошиблись дверью, и всё это месть мне лично за выступления на майдане. Кому тут что не ясно? Растерявшийся Кишинёвер попробовал было возразить, что фээсбэ не такие лохи, им, чтобы кого-то ликвидировать, домовая книга не нужна, для этого есть наружное наблюдение, которое его и вело аж с самой Каховки, но Бурого, ты же знаешь, хрен переговоришь. Так что, чувствую, Кишинёверу придется искать новое жилище. А на Абакумова никто внимания не обратил. Прошел в свою квартиру без дверей, его даже никто не окликнул. Вот же попал в переплёт, бедолага, да? Не позавидуешь. Мне кажется, он от всей этой движухи немного мозгами поплыл. Я сам его уже не понимаю: то он кричит, что Мальта какую-то там черту перешла и поэтому никаких денег от него не получит, а то – что денег у него вообще ни копейки нет. Вот так вот. Заходи вечером, выпьем. Может, еще какие-то новости появятся...

Всё время, пока они говорили, к нему пытался дозвониться Филипп, и Тягин позвонил ему, как только закончил с художником. Филипп весело прокричал: «Могу нас поздравить – завтра получаем задаток!»

XXII

Покупателем оказался тот самый легко одетый – в куртке нараспашку и рубахе навыпуск – приезжий парень, который порывался выпить и поговорить с Тягиным. Был он так же весел, уговаривал Тягина ехать с ним завтра в Вилково и даже в эту слякотную промозглую пору находил Одессу чудесной. То и дело он пытался воспроизвести одесско-еврейские вопросительные интонации, и слушать это не было никаких сил.

Через час, в полдень, Тягин отмечал получение задатка у Майи, которую увел с работы. Из принесённых им белых и желтых хризантем лектор сплел венок и, когда Майя в черном шелковом халате вышла из ванны, уговорил её надеть. Это был один из самых весёлых, разгульных дней. Сначала сидели на кухне, потом с десертом перебрались в комнату. Майя подтрунивала над лектором, а тот исправно выполнял роль подставного смеха. Все вместе понемногу напивались.

– Ты мне его спаиваешь, – пожаловалась Майя Тягину. – Ночью из-под кровати перегаром несёт.

Лектор громко топнул ногой и, запрокинув голову, расхохотался.

На Тягина тоже напала какая-то беспечная веселость. Время от времени он коротко задумывался: не задержаться ли здесь на полгодика? Деньги есть, вот-вот весна грянет. Ходить с лектором за вином на Новый базар, шататься туда-сюда, устраивать весёлые посиделки и не тужить. Впрочем, всё это были свободные фантазии человека, сидящего на чемоданах.

Вполне праздничное настроение портили только звонки Тверязова. Сначала у них состоялся довольно безумный диалог:

– Ты что-нибудь слышал о тесной материи? – спросил Тверязов.

– Материи? – переспросил Тягин.

– Да. Тесной материи.

– Нет. Не слышал. А что это?

– Материя. Она тесна.

– Кому?

– Всем, дурак!

– И что?

– Она уже здесь.

– Это хорошо или плохо?

– Это охренеть.

– И что нам теперь с этой темной материей делать?

– Тесной. Не путай, это разные вещи.

– Тесной. Хорошо.

– Ничего хорошего.

– Ты же только что сказал «охренеть».

– Я имел в виду: охренеть как плохо.

– Ладно. А чем плохо-то? Приметы хотя бы перечисли. Чтобы знать.

– Тебе еще и приметы перечисли? Ага. Счас... В общем, что я хотел сказать... Вали, Миша, отсюда, вали. Тут и так тесно. Без тебя. Чемодан, вокзал, Россия.

– Саша, можно тебя спросить?

– Спрашивай.

– Ты когда пить закончишь?

– Ты когда пить закончишь?

– Что?

– Что?

– Ясно.

– Ясно.

Тягин дал отбой. Через минут десять Тверязов позвонил опять.

– Роман читаешь?

– Конечно.

– А скажи мне, Миша: разве это так плохо, так скучно написано, что надо размазывать на месяц, жилы мне тянуть? Ты что, решил меня совсем, что ли, уничтожить? Совесть у тебя есть?! Да хотя бы просто элементарное сострадание? Ты не мог двух-трех дней, нескольких часов своего драгоценного времени потратить, чтобы сесть и почитать этот роман? Сука ты! Ты знаешь, как я здесь живу, в этом проклятом городе?! И не мог мне доставить такого простого, ничего для тебя не стоящего удовольствия?..

Тягин дождался, когда он остановится, чтобы перевести дух, и как можно спокойней спросил:

– Во-первых, а кто тебе сказал, что я не дочитал?

– Дочитал? Тогда чем там закончилось?

– Ты же сказал, что он не окончен!

– А я вот тебя и спрашиваю: чем заканчивается этот неоконченный роман. Ну?! Говори!!!

– Я сейчас занят, давай в другой раз.

Отбой.

И был еще один звонок, после которого Тягин отключил телефон.

– Миша, а давай я с тобой в Москву уеду, а?.. Забери меня отсюда, Миша, прошу... забери в Москву. Не могу я здесь больше. Ты не бойся, я твоему счастью не помешаю, клянусь тебе. Только забериииииии... Ты ведь в некотором роде мой должник? Звучит мерзко, подло, но клянусь, я говорю это в первый и в последний раз...

Нет, пока я здесь, он уже пить не бросит, подумал Тягин. Ему было больно это слушать, и он как бы заранее разделял мучительный стыд Тверязова, который тот почувствует наутро. И даже подумал: а не плюнуть ли на всё. На всю свою хитрую конструкцию, на все эти тени прошлого. А просто взять с собой Тверязова и там, в Москве, передать ему Дашу из рук в руки. Может, это будет лучшее из того, что он сделал в своей жизни. И тут же сам себе страстно стал возражать: нет-нет-нет, это невозможно! Но почему это было «невозможно», ответить не смог бы. Попутно, хотя и невольно, как бы боковой мыслью Тягин отметил, что из последнего звонка можно извлечь пользу. Надо только не забыть, заняться этим с утра, до того как Тверязов позвонит с извинениями.

Тем временем лектор завел разговор на свою любимую тему.

– Сейчас я тружусь над теорией, но время, когда придется всё претворять в жизнь, не за горами. А пока я работаю над этим, уже могли бы потихоньку браться за дело художники. Вот, например, написать её портрет... У вас есть знакомые художники?

– Есть парочка. Но они вам не понравятся, – не долго думая, ответил Тягин, имея в виду Бурого и Руденко, сразу же выскочивших на слово «художники». Еще и отмахнулся, живо представив портрет Майи в их исполнении.

– Ладно, это не проблема. Найдем. Были бы деньги, – сказал лектор. – А вообще, конечно, работы будет невпроворот. Пишущие люди вот тоже позарез нужны. Кстати, тут один новый поэт в городе появился, забыл фамилию, такая необычная, что-то среднее между Бетховеном и Шопенгауэром, не помню... Он, правда, какую-то дребедень сочиняет – революция, майдан, но это ничего, переориентируем. Главное – плодовитый очень, легко и быстро пишет. Это важно. Потому что текстов понадобится много: ритуалы, праздники, игры, мистерии и всякое такое... Эпос какой-никакой на местном материале нужен? Нужен.

Потихоньку пьяневшая Майя (хмельная, она еще больше походила на сестру) была как-то нарочито и при этом же – такой вот парадокс – естественно вульгарна. Она вызывающе закидывала голову, небрежно курила, взглядом с поволокой то и дело останавливалась на Тягине. Поманив пальцем лектора, стала с ним, млеющим от счастья, танцевать. В ту минуту Тягин почувствовал, что останется сегодня здесь. Возможно, до самого отъезда.

После танца Майя сказала:

– Лектор, прочитай нам какую-нибудь лекцию. Он смешно читает. Раньше по санаториям выступал. Зина его помнит.

– Меня многие помнят.

– Ну вот давай, читай. А то ведёшь себя кое-как... подглядываешь за мной, когда я переодеваюсь...

– Не подглядываю, а любуюсь и боготворю.

– Это еще выяснить надо, как ты там, под кроватью меня боготворишь.

– Благодарю судьбу и плачу от радости, что дожил до этого, удостоился... Плачу и благодарю. Так будет называться один из гимнов. «Благодарю и плачу».

– Давай, быстро читай нам лекцию. А то выгоню.

– Хорошо. Какую категорию выбираете? Музыканты, поэты, художники?..

– Я стихи не люблю, я от них засыпаю. Он мне недавно из-под кровати рассказывал про кого-то. Так хорошо спалось.

– Это был Блок, – уточнил лектор.

– Давай про художников.

– Хорошо. Левитан, Борисов-Мусатов, Куинджи – выбирайте.

– Давай про *уинджи... ой, кажется, я что-то не то сказала...

– Прекрасный живописец. Сейчас. Мне нужна музыка.

– А я бы тоже поблагодарил, – вмешался Тягин. – Плакать не обещаю, но отблагодарить отблагодарил бы.

– Кого, меня?

– Тебя. Кого ж еще?

– И что ты хочешь? – с пьяным вызовом спросила Майя.

– Для начала хотя бы увидеть то, что видел лектор.

Майя развернула за плечо лектора, успевшего поставить какую-то клавесинную музыку и, толкнув ладонью в спину, отправила его к кровати. Сама осталась посреди комнаты.

– Лектор это заслужил, – сказала она, встав руки в боки. – Он за это платит своей... Лектор, чем ты мне платишь? О! своей собачьей преданностью! да, лектор?

– Гав!

– Вот. А чем ты будешь рассчитываться?

– Твёрдой валютой, естественно. Я же тут денежный мешок. Лектор собирается тебя увековечить – вот, на первые расходы...

Тягин откинулся, вытянул из кармана и швырнул на кровать купюру.

– Хорошо. Смотри, – сказала Майя.

Она медленно подтянула потуже пояс халата и спустила его с одного плеча, потом с другого. У Тягина перехватило дыхание. Тут, конечно, дело было ещё и в разреженном воздухе, в рассеянном свете, в страстном воркování голубей, несущемся из форточки. В этом обрамлении ослепительно белая грудь, нежно подрагивающая от невольных движений триумфально застывшей Майи, показалась ему самой прекрасной из тех, что он видел. А ещё всего его проняла та тягучая, по-весеннему свежая и радостная нега желания, какой она бывает только в юности – вот такого Тягин давно не испытывал.

– Богиня! – прошептал лектор и начал было, закатив глаза, читать какой-то из своих гимнов, но Майя остановила его ладонью.

– Довольны, уважаемый? Посмотрели? – сказала она, запахиваясь. – Всё. Пока достаточно.

– Нет, не достаточно! – воскликнул Тягин. – Есть такая – вот лектор не даст соврать – Афродита Прекраснозадая. Давно подозреваю, что этот эпитет применим и к тебе. Хотелось бы убедиться. Сумма будет удвоенна.

Майя подумала и сказала:

– Утроена.

– Идёт.

Майя повернулась к ним спиной, оперлась на одну ногу. Заглядывая через плечо и тем самым вольно или невольно воспроизводя известный поворот Каллипиги, она завела правую руку на

левое бедро, и стала ею медленно отводить и поднимать к талии край халата. Тягин, не сводя с нее глаз, поймал лектора за плечо и уже легонько тряхнул, чтобы отправить выразительным взглядом под кровать, как тут между ними зазвонил Майин телефон. Схватив его, лектор метнулся к Майе, и в следующие несколько секунд её лицо приобрело выражение, которое ни с чем нельзя было спутать.

– Уже?! Так быстро?! Солнце, радость моя! А как ты думаешь?! Конечно! Какой же ты молодец! Когда скоро? – радостно, задыхаясь, выкрикивала она, показывая лектору нетерпеливо рукой, чтобы он выключил музыку.

Ни разу за всё время Тягин не слышал её громкого голоса.

– Сейчас? Рядом? Где рядом?! Где?! – счастье на лице Майи сменилось ужасом, и она бросилась к Тягину. – Быстро!!!

Тот опомниться не успел, как Майя, крепко вцепившись в него двумя руками и валясь на колени, стащила его с кровати, а в следующее мгновение уже заталкивала под нее. Усердствуя, даже легла на пол, и в первую секунду Тягин решил, что она собирается заползти вместе с ним.

– Я тебя умоляю, быстрей, пожалуйста, – горячо, будто ополоумев, шептала она.

В дверь постучали.

– Лектор, открой! – приказала Майя, и опустила перед лицом уже лежавшего под кроватью Тягина покрывало. – Не сразу, спроси кто!

«Это что еще такое?» – взволнованно думал Тягин. У его глаз встали фужер и тарелка с недоеденным куском торта, следом влетели куртка, сумка и венок из хризантем.

Со стороны двери раздался мужской торжествующий крик:

– Аааaа!

В ответ крик Майин и беспорядочное шарканье-топтанье по полу. Ближе, ближе, кровать вздрогнула... и, жалобно скрипнув одной из ножек, тяжело качнулась под упавшими телами. Далее жадное поцелуйное мычание, и отрывистая, но как будто из последних сил, команда Майи:

– Лектор, место!

Нырнувший под заходившую ходуном кровать лектор сразу включил лампочку, схватил тетрадь и, перевернулся на живот. И всё время, пока неизвестный торопливо и сердито (хриплое: «Ногу!») брал Майю, лектор, как одержимый, что-то писал, делая, кажется, это тем быстрей, чем больше наверху штормило. Остановился он, только когда там, наконец, затихло. Тягин, затаив дыхание, слушал, что будет дальше, и клял себя за то, что поддался на уговоры Майи. Протяжные, вперемежку сходящие на нет стоны постепенно смолкли. Прошло сколько-то минут полной тишины, и голос Майи устало произнёс:

– Саша, сходи в душ, бо тхнэ... Хочешь, вместе пойдем?

– Пошли!

Грохнули об пол ботинки и побежали по комнате. Уже из ванной донеслось:

– Лектор!

– Да, Саша!

– Доставай там карты, сыграем!

Зашумела вода, и Тягин пополз из-под кровати. Ему на помощь пришла Майя. Её опять лихорадило.

– Быстро, быстро! – повторяла она, вешая на него сумку, суя в руки куртку.

– Ничего не хочешь объяснить? Это и есть твой друг детства? – допытывался он, пока она тянула его к двери. – Может, познакомишь?

Взгляд у неё уже был не умоляющий, а злой. Сразу за порогом она, не выпуская Тягина (сколько, оказывается, в ней было силы!), приговаривая: «уходи, уходи, уходи...», побежала по коридору, и с разбега вытолкнула его на лестницу. Дверь захлопнулась. Щелкнул замок.

Крик Майи «Не приходи сюда больше! Всё!» и оглушительный грохот двери продолжали стоять в ушах, но наступившую внезапно тишину с голубиным гуканьем со стороны двора рассудок как будто отказывался считать продолжением того, что произошло в комнате и коридоре. С ощу-

щением, что его вытолкнули не только на лестницу, но и в какой-то другой день, Тягин спустился на несколько ступенек и присел; дрожали руки. Внизу стукнула дверь, и кто-то стал подниматься. Он взялся за перила, собираясь вставать. Этажом ниже шаги смолкли, открылась и захлопнулась дверь. Тягин посидел еще немного, встал и пошел вниз.

XXIII

Следующий день выдался самым пасмурным из всех проведенных им здесь. К тому же с утра пораньше отключили свет, и в квартире стояла такая темень, что только вплотную у окна можно было разобрать шрифт на странице. То и дело начинал сыпаться мелкий дождь.

Ну и какие будут на сегодня планы? У него уже почти вошло в привычку после завтрака звонить ей, чтобы, поболтав ни о чем, договориться о встрече, и теперь его так и тянуло хотя бы проверить, есть ли еще его имя в ее телефоне. Вчера, возвращаясь домой, он позвонил Филиппу с намерением перенести сделку поближе, да хоть на завтра, но тот сказал, что покупателя в городе нет и не будет вплоть до назначенного дня.

Так какие планы на сегодня? Чем бы он мог заняться еще, кроме как есть себя поедом и мучить вопросами: какого черта он вчера полез под кровать и как вообще такое могло случиться? С ума он в ту минуту сошел, что ли? Она запаниковала и плохо соображала, но он-то? И если бы не это покорное лежание бок о бок с полоумным лектором, разве возможно было бы последующее унизительное вышвыривание его за дверь? Такой звонкой оплеухи он не получал уже... Да он вообще никогда такой не получал! Глухую безответную пустоту, в которой тонули эти вопросы, время от времени с быстротой падучей звезды перечеркивала безумная мысль: немедленно отправиться на Коблевскую, ворваться в комнату и, отталкивая Майю, лектора и кого там еще, броситься под кровать, чтобы тут же из-под нее выскочить – «Вот он я! Что дальше?».

Поглощенный воспоминаниями о вчерашнем позоре, он даже не очень удивился приходу Мальты. Она была не одна, а, как и в последний раз, с двумя сопровождающими. Из темного подъезда они ввалились в еще более темную прихожую. Мыслей у Тягина по поводу неожиданного визита хватило только на мрачную шутку: «надеюсь, они пришли не мыться». Из прихожей Тягин позвал их в комнату, самое светлое место в квартире, и вся троица, не раздеваясь, шумно и неуклюже, как будто глубокие утренние сумерки сделали их габаритней и тяжелее, одной сплошной массой двинулась за ним. Только когда они вошли в комнату, Тягин разглядел в одном из спутников Абакумова.

– Мы ненадолго, – сказала Мальта.

Она и Абакумов сели за стол, а приятель Мальты с кошачьей мордой остался стоять, и всё время, потряхивая то одной ногой, то другой, находился за спиной у Абакумова, который то и дело норовил на него оглянуться, и в последний момент передумывал, так что стул под ним постоянно скрипел от этого ни разу не завершенного движения.

– Темно как... – произнес Абакумов.

Тягин стоял у окна, скрестив руки на груди, и молчал. И собирался молчать и дальше. В кухне зазвонил телефон, и он вышел туда. Звонила Даша. Это был уже второй её самостоятельный звонок.

– А у нас метель... – сказала она.

– Поздравляю, – ответил Тягин.

Коротко и не очень приветливо с ней поговорив, он вернулся в комнату с тремя молчаливыми тенями.

Ладони Абакумова лежали на небольшом бумажном свертке. Он двинул его к середине стола и сказал:

– В общем так, Миша. Деньги я наконец достал. Вот они. Давайте закончим всё это. С Сашей, ты знаешь, у меня отношения никакие, поэтому очень прошу тебя, передай их ему. И еще передай ему, что мне очень жаль...

Абакумов перевел взгляд на Мальту и наконец решился заглянуть через плечо на ее спутника.

Мальта вытащила из рюкзака уже знакомую сложенную вчетверо бумагу, развернула, следом достала зажигалку.

– Расписка, – объявила она и высекла огонь.

Когда в гнетущей дневной темноте сырая бумага, нехотя догорев до половины, вдруг ярко вспыхнула, Мальта, шумно выдвинув стул, сорвалась с места и, стуча берцами, бросилась в ванную комнату. Зашумел унитаз. Тягин и Абакумов, пока ее не было, смотрели в окно.

– Миша, я тебя прошу: возьми их, пожалуйста, – попросил Абакумов.

Вернувшись, Мальта сказала приятелю подождать на улице, и когда приятель с Абакумовым вышли, развернула сверток, отсчитала деньги, спрятала отложенное в карман, остальные вновь завернула и положила на прежнее место.

– Тут половина, – сказала она. – Я так понимаю, они вам не нужны. Отдадите их Саше. Пусть скажет вам спасибо. Нравится это вам или нет, но я опиралась на вас, и ваше присутствие мне очень помогло. Правое дело – великая вещь. До свидания.

Когда она наконец ушла, Тягин взял сверток и бросил в рюкзак, туда, где уже лежал аванс за квартиру. Надо будет сунуть его Тверязову перед отъездом, в самый последний момент, чтоб без объяснений. Интересно, что тот подумает, когда в деталях узнает всю историю? Впрочем, нет, не интересно. А вот вчерашней пьяной просьбой Тверязова увезти его в Москву еще вполне можно воспользоваться. Как бы приняв её на время за чистую монету. Надо только поторопиться, пока тот не позвонил с извинениями.

Грозный и, чего уж греха таить, подловатый визит к Хвёдору продлился не более получаса, всё решилось в два счета. Он даже с наслаждением заявил с порога, что Тверязов решил перебираться Москву и просит материально посодействовать. Двоих сразу Тягин не потянет, и поскольку задаток получен и отъезд назначен, ответ ему нужен сию же минуту. Мысль о том, что Хвёдор может передать этот разговор Тверязову, Тягина еще больше раззадорила.

Хвёдор выглядел испуганным.

– Я еду, – сказал он.

– Едешь? Это ты когда решил? Только что?

– Сегодня утром. Собирался тебе звонить.

– Смотри, какое совпадение! А завтра утром ты опять передумаешь и начнешь выкобениваться и морочить мне голову? Какие-нибудь условия выторговывать? Там, я помню, у тебя женщина какая-то прошлый раз мелькнула...

– Я еду, Миша, еду, всё. Вещи потихоньку собираю. Чтоб ничего не забыть.

Тягин подозрительно уставился на Хвёдора. «Нет, тут какой-то подвох», – подумал он.

– Еду, – повторил Хвёдор.

– Я тебе не верю. Может, ты мне на день отъезда что-то приберег? А ну, колись. Или я звоню Тверязову.

Хвёдор, видимо и сам понял, что без доказательств тут не обойтись, и протянул Тягину листок. Тот развернул и хмыкнул:

– Вот теперь верю.

В руке у него была повестка в военкомат.

– А женщина... Ну да, у меня есть женщина, – глядя на Тягина с надеждой и чуть ли не слезами, промолвил Хвёдор; в беспокойных жилистых руках он вертел какую-то ржавую штуковину. – У нее двое детей. Я думал, как-нибудь...

– Со своей женщиной... – не дал ему договорить Тягин. – Кстати, позвони Даше, успокой. А со своей женщиной ты будешь разбираться сам и потом, когда на нее заработаешь.

Хвёдор грустно покивал.

– Сегодня, надеюсь, всё хорошо записал? – спросил Тягин.

– Что записал?

– Ну, что ты там во время наших встреч на свой диктофон записываешь...

От Хвёдора Тягин пошел пешком и, выйдя к спуску Маринеско, остановился в самом начале. Не лучшее место для раздумий, одно из самых открытых и продуваемых в городе, но надо было придумать, куда податься. С этим он сталкивался теперь всякий раз, когда выходил из дому. Да и к Хвёдору-то поехал, чтобы убить время, – можно было всё сказать по телефону. Странно: он попытался вспомнить, чем занимался, когда оставался один, – ведь не всё же время он проводил у Майи – и не смог.

С Софиевской Тягин свернул на Конную, намереваясь зайти на Новый базар, выпить вина, и на подходе к нему вспомнил, что где-то здесь работает сестра Майи. Синий ларек. В ларьке её не оказалось, там сидела женщина помоложе. Выложив на прилавок руки в оранжевых митенках, она шевелила под музыку пальцами со свеженакрашенными ногтями и поводила плечами. Как только он назвал имя Зина, продавщица спросила:

– Вы Михаил?

– Да, – удивленно ответил Тягин.

– Не вовремя вы, конечно. Сейчас, подождите, – она встала и отошла вглубь.

Рядом, время от времени тяжко вздыхая, ровно тарахтела фура, и что там говорила по телефону продавщица, Тягин не слышал, но буквально через минуту за спиной выкрикнули его имя и, обернувшись, он увидел в открытом окне на втором этаже сестру Майи.

– Заходите!

Замок в двери перед ним щелкнул, Тягин вошел и стал подниматься по деревянной лестнице.

– Я так и знала, что вы придете, – сказала стоявшая в дверях сестра Майи.

– Да? Откуда?

– А я вам понравилась.

– Спорить не буду. Но значит и я вам понравился, если вы напарницу предупредили.

– Нет, это только значит: я знала, что вы придете.

Она собиралась ужинать и жарила куриную печенку. Занятие это было довольно шумным. Мокрая, вываленная в муке печенка яростно шипела в раскаленном масле, время от времени с оглушительными хлопками подпрыгивала и норовила выскочить из сковороды. Сестра Майи – с ножом в одной руке и с сигаретой в другой – перевернув очередной кусок, отскакивала и весело ругалась после каждого залпа. На другой сковороде жарилась картошка. Одета Зинаида была по-летнему – в голубые джинсы и черную майку, – и для своих (а скольких – сорока пяти? больше?) лет выглядела вполне ничего.

– Люблю всяческие потроха. Есть будете? – прокричала она сквозь шум, вываливая на сковороду очередную порцию.

– Не откажусь.

– Тогда у вас десять минут, чтобы сгонять за вином.

Когда Тягин вернулся с двумя литрами красного, стол был почти накрыт. Хозяйка резала хлеб. Он захотел помыть руки, и она показала ему ножом дверь. В тесном помещеньице с узким окном во двор над ванной висело красное платье. В свете неоновой лампы трудно было определить его настоящий оттенок. Вытерев руки, Тягин пощупал нижний край. Шерсть.

– Красивое платье, – сказал он, вернувшись к столу.

– Да. Любимое. Вчера пятно посадила, еле отстирала. Высохло, наверное. Эх, надо было переодеться, пока вы ходили. Всё. Сели.

Тягин открыл одну из литровых пластиковых бутылок и стал разливать вино.

– А что случилось с Майиной подругой? – спросил он. – Вы в прошлый раз начали и не успели рассказать. Почему-то вспомнилось.

Зина озадаченно уставилась на него.

– А! С Юлей?

– Да, кажется.

– А Майя вам не говорила?

Тягин покачал головой.

Зина коротко рассказала, что Юля везла из Москвы в Одессу деньги, то ли на машину, то ли на квартиру, подарок отца, и попросила знакомого её сопровождать, а тот оказался каким-то сумасшедшим и ночью её задушил. Судя по тому, что Зину ничуть не смутила близость вопроса о задушенной девушке к упомянутому перед этим красному платью, она ничего не знала о переодеваниях и прочих подробностях.

– Вот так: деньги сберегла, а жизнь нет, – вздохнула хозяйка. – Судьба. Я её отца знаю, в молодости пересекались в разных компаниях. Видела его недавно здесь. Единственная дочь. Из дурнушек. Любила всё такое, дорогое, модное... Ну, рассказывайте: как там у вас с моей сестричкой, поженихались уже?

– Странные вы вопросы задаете незнакомому человеку.

– Разве? Вы же уже столько знакомы, а при нынешних темпах... Нет, в моей молодости тоже, конечно, с этим особенно не тянули, помню у меня подружка налетела на каких-то буддистов, потом удивлялась, как у них всё быстро: хинаяна, махаяна, оглянуться не успела – раз! – и уже камасутра. Ну а сейчас, по-моему, с неё прямо и начинают. Или у вас там всё, конец фильма?

Она пристально взглянула на него.

Тягин усмехнулся:

– Вы очень проницательны.

– А то я её не знаю.

– Она вам ничего не говорила?

– Нет, конечно. В этом она точно как я. О личном – ни-ни. Клещами не вытянешь. Правда, на этом наше сходство и заканчивается.

– Вы внешне очень похожи.

– И только. Я в её годы уже несколько раз в авариях побывала, перелом на переломе.

– Байкершей были? – спросил Тягин, припоминая мелькнувший в их перепалке с Майей мотоцикл.

– Почему – была? И сейчас бываю. Вон, зверюга до сих пор у знакомого в гараже стоит. – Помолчав, она сказала: – До меня доходили слухи, что у нее какая-то безумная любовь появилась, думала, вы. Значит не вы. Жаль.

– И кто бы это мог быть?

– Говорю же: не знаю. Но судя по тому как она тщательно скрывает, это будет какое-то совсем уж редкое уё, прошу прощения, чудовище.

– Сильно влюблена?

– Ну, она если влюбляется, то уж как кошка, до дрожи. Или как я.

– А говорите – только внешне.

– А вы считаете, что влюбляться со всей дури это что-то очень внутреннее? Если честно, я ведь тогда сразу поняла, что это не вы. Дрожи этой не увидела. Нет, мне правда жаль. Её жаль. Красивая же баба, а как выберет, так хоть стой, хоть падай. Прямо тянет её к каким-то скотам или полудуркам. Скучно ей, что ли? Мне-то и своей чокнутости хватало, а вот ей, видимо, нет. Она даже замужем была. Ровно два месяца. Я его называла «зятел». К тому же наркоман. – Зина вздохнула и вдруг встрепенулась. – Да что там далеко ходить! – она выбросила в сторону окна ладонь – лектор! Пожалуйста! Это, правда, из другой оперы, слава Богу, но ведь тоже показатель. Я его даже как-то побила. А ему хоть бы что. Знаешь, как у кобелей во время свадьбы – ты его гони, лупи, в морду плюй, а он круг сделает и опять вернется. Это он сейчас себя поприличней ведет, а тогда как заболел просто. В подъезде у нее буквально поселился, исхудал, страшно было смотреть. И таки высидел свое. Как по мне, так пусть бы там и издох, держась за перила, – скрючив пальцы, Зина довольно смешно это показала, – туристов можно было бы водить: жертва неразделенной любви.

– Так вы считаете, что он всё-таки...

– Ну а что ж еще! Угораздило старичка. Любви все возрасты покорны. Насчет благотворных порывов умолчим. А всю эту дичь с нимфами он потом для отмазки придумал. И то: недавно

мимо иду, смотрю – он ее нижнее белье на балконе развешивает. Вот это уже клиника. Конечно, ничего между ними никогда не было – ну так тем более!

– А откуда он вообще взялся?

– В кружке у нее преподавал. В театральном. Она же всё актрисой хотела стать. А я его еще лектором помню, когда в санатории работала. Недавно его дочь к нему ругаться приходила, с двумя внуками. Он у себя свою комнату на ключ запер, а живет на Коблевской. Хорошо устроился. В общем, сама бы не поверила, что такое возможно, если б не видела. У меня тоже бывали сумасшедшие поклонники, но чтобы вот так, под кроватью... Ладно. Раз так, пить за вас с Майей мы не будем и все дальнейшие вопросы к вам снимаются.

– Какие вопросы?

– Как какие? Вопросы к будущему зятю. Где живете, кем работаете, сколько получаете – мало ли. Теперь это не актуально.

– Ну, может, я вам еще почему-то интересен?

– Вот если бы мы познакомились где-нибудь в другом месте, а не дома у моей сестры, может быть, и был бы, а так – увы. Обойдемся без... в общем вы поняли. Наливай.

– Жаль.

– В жизни всегда найдется, о чем пожалеть. Не о том, так об этом.

– У вас с Майей большая разница в возрасте... – сказал Тягин, когда они выпили.

– Мне могли бы это и не говорить.

– Извините. Не подумал.

– Скажем так. Наш папаша был до самой старости довольно активным членом общества.

– А мать Майи?

– Это долгая история. И не для посторонних ушей. А сколько вам лет, юноша?

Тягин, жуя горячую печенку, перебрасывая её от одной щеки к другой, показал четыре пальца.

В Зине, несмотря на уверенные движения и ухватки, была та же женственная нега, замедленность, что и в Майе, но более уверенная, что ли, с оттенком небрежности. Четко очерченное, увядающее, но всё еще красивое лицо с прекрасной, гладкой, несмотря ни на что, кожей было куда подвижней и выразительней Майиного. «Волнующая прелесть увядания», – вспомнилось Тягину.

– Мы с ней рано остались одни. А у меня своя жизнь. Я как-то в Питер уехала на два года, оставила её у бабки.

Она стала довольно весело рассказывать о своей жизни в Питере, встречах, любовниках, и Тягин гадал – что она имела в виду, когда говорила, что из нее личное «не вытянешь клещами»? Потому что всё было достаточно откровенно.

За её рассказом они допили бутылку. Зина встала, обошла стол и потянулась через Тягина, налегая на него, в буфет за коньяком («градус надо повышать»). Стул под Тягиным, затрещав, сдвинулся, и он, придерживая, обнял ее. Край футболки задрался, и его ладонь легла на заголившуюся талию. Она наконец достала бутылку, резко опустилась на пятки и его ладонь, проехавшись под футболкой вверх и немного вперед, едва не коснулась груди.

– Она мне этой поездки до сих пор не может простить, – продолжила, вернувшись на место, Зина. – Дети, знаете, любят придумать что-нибудь такое, чтобы жизнь интереснее казалась. Подраматичней.

– Ну, иногда жизнь в этом идет им навстречу.

– Не поняла. А-а, ну, иногда бывает и идет, да.

– А у вас детей нет?

– Бог миловал.

Они еще немного о чем-то поговорили и, видимо устав от разговоров, еды и вина, замолчали. Зина закурила. Через минуту Тягин уже не мог вспомнить, о чем и чьей была последняя реплика.

Ударивший вдруг над их головами закатный луч расколол и будто удвоил пространство кухни, зажег фасетку в застекленной дверце буфета и осветил уходящий завитками к открытой форточке сигаретный дым. В наступившей тишине стали слышны мелкие уличные звуки: голоса про-

хожих, далекое шарканье метлы, комариное зуденье музыки из машины под окном. Зина сидела, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза и чуть отвернув изможденно-гладкое лицо; только раздувались ноздри и подрагивала сигарета в пальцах. А Тягин смотрел на нее, на эти великолепные, освещенные заходящим солнцем руины, и голова его пылала так, что он не выдержал, встал и вышел в ванную. В зеркале над умывальником он с удивлением увидел себя ничуть не покрасневшим, а лоб и щеки, когда он прикоснулся к ним ладонью, совсем не горели и даже были холодны. Когда он, умывшись, вышел, темневший до этого дверной проем по правую руку оказался ярко освещенным, и он из любопытства, и рассчитывая увидеть там хозяйку, повернул туда. Солнца здесь было еще больше, и оно освещало комнатку так, будто в ней горел свет. Кровать, трюмо, книжный шкаф.

Позже Тягин пытался вспомнить: где, в какой момент он допустил оплошность, после которой напряжение между ними поменяло знак? Когда спросил о детях? Или раньше, когда, обняв её за талию, на том и остановился? Или же что-то внезапно в ней самой изменилось, без его участия, как это часто бывает у женщин. Но к тому времени, когда он встал на пороге комнатки, уже всё было непоправимо испорчено.

Зина бесшумно подошла сзади.

– Зря примериваешься. Кровать у меня, как видишь, низкая. Ни один лектор не заползет. А ты уж подавно.

– Да мне и на ней было бы неплохо.

– Что, бриллиантовый, на десерт потянуло? За неимением гербовой попишем на простой? Или ты тут реванш решил взять? Или сразу и то, и то, и то? – бойко и насмешливо проговорила Зина, и неожиданно сильно похлопала его ладонью по щеке.

– Может быть, не стоит так? – сказал Тягин, отводя ее руку.

– Как? Так? – она высвободила и опять занесла было ладонь; Тягин взял ее за кисть. – А вот так? – Она крепко обхватила другой рукой его подбородок снизу, сжала пальцы.

Тягин свободной рукой сделал ей то же самое. Она опустила ладонь ему на горло. Тягин опустил на ее горло свою и потянулся было губами, но она сдавила его горло крепче, и он остановился. Так они стояли некоторое время, держа друг друга за горло и соединив свободные руки на отлете.

«А потом мне останется только переодеться в её платье», – вдруг отчетливой законченной фразой подумал Тягин, будто кто-то шепнул на ухо.

– Ладно, всё! – сказала Зина, откачнувшись назад, и они разомкнули и опустили руки. – Как любит говорить один мой знакомый: расход по мастям. Что это значит, точно не знаю, но звучит красиво.

Она вернулась в кухню и, когда он вошел следом, объявила:

– Мне надо уходить.

После чего заперлась в ванной. Тягин постоял, оделся и вышел.

Ну, в общем, визит удался. Зинаида только утвердила его в мнении насчет Майи: красивая туповатая тёлка. Он ведь за этим сюда шел? Нда. И к Хвёдору удачно сходил, пригрозил Тверязовым. Ну такой сегодня день. Не лучших побуждений.

XXIV

Всё как будто остановилось. Замершую на последнем переходе к теплу погоду язык не поворачивался назвать весенней, и каким же бесконечно долгим оказался этот хмурый март! Оставшиеся до сделки несколько дней представлялись непреодолимым препятствием. Голова была пуста, всё валилось из рук, и Тягин уже смирился с мыслью, что опять жить, чувствовать, действовать он начнет, только вернувшись в Москву.

В один из этих стоячих беспробудно серых дней, позвонил человек-свинья Василий и заставил Тягина пожалеть о том, что он тогда настоял провести сеанс в отсутствие Георгия. Узнав о

таком самоуправстве, Георгий прогнал Василия со двора, и теперь тот просился пересидеть ночь. Отказать у Тягина не хватило духу. Город, центральную часть, Василий знал плохо, пришлось долго объяснять, а потом еще направлять по телефону.

Несмотря на энергичные возражения, гость стянул у порога ботинки и прошел в комнату в носках; виновато сел на предложенный стул. Тягин поставил чайник. Василий попросил тарелку и, начиная рассказ о своих злоключениях, выложил из портфеля пару образцово красных яблок, банан и несколько завернутых в салфетки бутербродов с сыром и ветчиной. Намертво приставшие салфетки снять целиком не удалось и Василий, махнув рукой, ел бутерброды вместе с промасленными прозрачными обрывками. Время от времени он говорил:

– Угощайтесь.

Пить, как и в прошлый раз, он испуганно отказался, а вот Тягин немного выпил и теперь, поудобнее устроившись на диванчике, слушал нежданного гостя.

О сеансе с Хвёдором Георгию донесла баба с ведром, которую привратник Лёшка, пожадничав, обманул с гонораром. Василий отдал Георгию все деньги и еще долго просил прощения, но тот остался непреклонен. Вообще-то трения у них начались раньше, когда Георгий обвинил Василия в предательстве. История оказалась длинной, запутанной, но других у Василия, кажется, не было. Нет так давно у Георгия появилась идея устроить в своем дворе что-то вроде цирка. Собственно для этого он и определил Василия в помощники депутата. Чтобы тот лоббировал его интересы. Но с месяц назад всё пошло наперекосяк. Сначала у Георгия с жильцами соседних домов возник конфликт из-за кричавшего по утрам осла.

– Молодой же, поговорить хочется, а люди стали жаловаться, что не могут спать, – пояснил Василий.

Тут он в привычной для него манере отвлекся и рассказал, как какое-то время жил с подобранным на улице котом у знакомых и как этот кот стал причиной его выселения. Странное дело: Тягин хорошо помнил, как в первую их встречу его до чесотки раздражало трудное невнятное говорение собеседника, но вот теперь он ту же монотонную корявую речь слушал почти с удовольствием, особенно не вдаваясь, как музыку.

– Лев? – рассеянно переспросил Тягин.

– Ну да, лев. Вон какое солидное животное, царь зверей, а и то, я сам видел по телевизору, подойдет к какому-нибудь баобабу и пометит. Моё значит. Я здесь живу. А я этого кота подобрал и принес, поэтому на мне ответственность. Сколько его уговаривал: «Что ж ты меня позоришь? Не стыдно? Мы ведь с тобой гости...». А тут – прям на хозяйскую подушку. И так я кинулся на него! А он прыг на форточку, а там четырнадцатый этаж. Уши, бедный, прижал и мяучит, плачет, как будто говорит: смотри хозяин, мне некуда бежать, не бей... так жалко его стало...

История с котом закончилась тем, что Василия с его питомцем выставили посреди зимы из дому, и кот, как только они оказались на улице, вырвался и убежал.

Василий вернулся к конфликту Георгия с соседями. От осла пришлось избавиться, но после того как Георгий одного из соседей побил, скандал вспыхнул с новой силой, и в конце концов соседи стали требовать выселения Георгия со всем его персоналом и животными. И пожаловались они как раз кандидату в депутаты, у которого Василий ходил в помощниках. А депутат, как его для краткости называл Василий, неожиданно возьми и прими их сторону. С тех пор Георгий принялся третировать Василия. Вот и сегодня всё началось с наказания за самовольство, а закончилось обвинением в предательстве, которое заключалось лишь в том, что Василий не смог переубедить депутата.

– Я ему говорю: как же я его перубежду... ну, уговорю. Он же мне как начальник. Значит ты с ним заодно, Георгий говорит. Я говорю: он же меня не послушает, депутат. А он мне говорит: а ты его побей хорошенько, ты же помощник, пусть от нас отстанет. Я говорю, как ты не понимаешь, я же ему присягу дал, как я могу его бить? Разве так можно? А Георгий говорит, он же тебя бил. Это еще было знаете когда? Когда он в казино проиграл, депутат. А я не знал, что он проиграл, как раз про двор хотел поговорить. Так он как набросился на меня с кулаками. Стал обзывать: свинья,

животное! А мне же это не обидно, правильно? Но я же так, как он, не могу. Это же я ему присягу давал, а не он мне, правильно?..

– О какой присяге речь? – спросил Тягин.

– На верность. Как будущему депутату. А что? Он попросил, мне не жалко, я дал. Значит надо ему. А вышло вот как. А теперь бы как раз и пригодилось, чтоб не давал. Кто ж думал, что так получится? Георгий сам же хотел, чтоб я стал помощником. Теперь не знаю. Присягу я нарушить не могу, жить здесь негде. Не люблю я политику... – Василий горестно покачал головой. – Даже зайти во двор не разрешает. Он меня уже так выгонял. Я тогда перед воротами под дождём целый день стоял. А сегодня тоже стоял, просил – нет, не пускает. Сам отправил к этому депутату и вот... где справедливость? разве так можно? Тяжело с ним... Очень тяжело. – «Тяжело» у него звучало как «чижило». – А знаете, как фамилия Георгия? Василий. Нет, правда: Георгий Василе. Ну, Василий по-нашему. Я ему говорю: это нас с тобой так сам Бог связал, а ты меня гонишь. Нехорошо. А друг депутата про него статью написал в газете.

Он порылся в портфеле и протянул Тягину четырехстраничный агитационный листок, прикидывавшийся газетой. Справа от заголовка: «За честь и достоинство!» раскоряченный, по пояс голый козак грозно рвал какие-то цепи. Статья с узкой панорамной фотографией двора называлась «Георгий не может без оргий» и занимала целую полосу. Двор-призрак. Дурная слава. Ходят слухи. Удовольствия на любой вкус. Несовершеннолетние наездницы и несчастные животные. Рассказ бывшего работника. Биография героя. Жалобы соседей. Куда смотрят защитники животных, куда смотрит санэпиднадзор, куда смотрят власти. С соседней страницы бросилось в глаза знакомое имя – Евг. Кишинёвер, а под ним пара длинных стихотворных столбцов, озаглавленных «Ночь над Россией», с подзаголовком в скобках: «Из поэмы “Кремльнаш!”».

– Серьезно за Георгия взялись, – сказал Тягин, возвращая газету. – И кто теперь Гомера читать будет?

Человек-свинья вздохнул и горько пожал плечами.

– Лёшка, наверное. Его Георгий простил. Но он, как я, не сумеет. Он как объявления на вокзале читает. Скажите, у меня ведь хорошо получалось? Как будто прям откуда-то из глубины, да? Это я сам придумал. Я, знаете, когда там сижу, начинаю прямо что-то чувствовать про человека... только сказать не могу. Потом открываю – раз! – и всё сходится. Про вас вот тоже сразу почувствовал. Еще подумал, какой хороший человек пришел. И совпало у вас всё точно, как Саша дал...

– Хотите, я замолвлю за вас словечко Георгию? Если это поможет, – предложил Тягин.

Василий покачал головой.

– Не надо. У меня знакомый в соседнем дворе есть, завтра должен приехать, попрошусь к нему пожить. А там, может, и Георгий сжалится. Нет – домой поеду. Давно уже не был... – Василий опять покачал головой. – А иногда очень покончить с собой хочется. Нет больше сил терпеть несправедливость вокруг, – вдруг добавил он.

Потом говорили о разном, вспомнили курьезный телефонный звонок в свинарнике, немного поговорили и об «Одиссее». Василий увлеченно, как ребенок, перечислял свои любимые места. Больше всего он любил возвращение Одиссея на Итаку.

– Мне там много нравится. Но больше всего, как Одиссей женихов бьёт, помните? «Ужасный подняли крик женихи...» У меня память всегда была хорошая. Я в детстве много рыбы ел. И грецких орехов.

Пока Тягин слушал, на него несколько раз повеяло чем-то необъяснимым. Вот вроде бы сидит человек... – мысленно начинал он фразу и ни разу не мог ее продолжить, чтобы объяснить себе, отчего так хорошо и тепло было ему рядом с Василием. Что-то тут было в его проникновенных интонациях (чего Тягин в первую их встречу не расслышал), в самом тембре негромкого голоса, в сутулой посадке, в доверчивом по-детски взгляде... И в непроницаемой темноте у него за спиной, за окнами. Да, и в темноте. Похожей на ту, что стояла за окнами в детстве, когда Тягин один в спальне читал «Вия» или «Страшную месть», а в комнате отец и мать разговаривали и смеялись с гостями. Каким счастьем было, глядя на черные стекла, слышать их голоса! Вот и от этого бездо-

много человека веяло каким-то домашним родовым уютом, который тем теплей и ярче, и обнимает крепче, чем плотнее льнет к стеклам темный ледяной хаос.

– Всех жалко, – вздохнув, грустно промолвил Василий. – Был один старец святой. Не помню, как звали. Он так и говорил: всех-всех жалко, каждую живую душу. Даже за бесов молился...

Когда стали укладываться спать, Василий попросил простыню ему не стелить. Тягин всё-таки постелил, а утром нашел ее сложенной на стуле. Перед сном Василий долго сидел под лампой и что-то шептал по книжке.

Утром Тягину очень не хотелось отпускать гостя, и он уговорил его остаться позавтракать. За разговорами дотянули до обеда, и когда Василий все-таки ушел, Тягину стало еще тоскливей, чем прежде, в опустевшей и как будто сразу остывшей квартире. Куда себя деть, он решительно не представлял. Можно было бы пойти к Тверязову, но что если тот каким-то образом уже знает о деньгах, а он придет без них? А нести деньги значит объясняться. Лишь промаявшись до вечера, он вспомнил о Клименко.

Набрав пакет еды, взяв бутылку водки и бутылку вина для себя, Тягин спустился в Канаву. Со Строгановского моста он видел её каждый день, пока ходил к Майе. Зрелище было невеселое: полузаброшенные, изрисованные граффити серые здания под ветхими шиферным крышами, разбитая, как бы облезлая, в рваных пятнах асфальта мостовая, кучи строительного мусора и ни души. Вблизи, когда он свернул в нее с Карантинного спуска, при неярком свете желтых фонарей она выглядела не столь мрачно. В нескольких первых домах по обе стороны горели окна, по правую руку шумели и кишели огнями бесчисленных авто Таможенная площадь и Польский спуск. Тягин толкнул калитку в черных металлических воротах и вошел во двор.

Одно из окон первого этажа в глубине двора показалось ему необычно освещенным. Не сверяясь с адресом, он постучал в стекло и не ошибся: на стук выглянул Клименко. Еще через минуту он открыл дверь и, шумя широкими штанинами, провел Тягина по коридору в небольшую комнату. В углу на табурете горела настольная лампа.

– Ну да, журналист Арнольд Канавин теперь живёт в Канаве. Ирония судьбы, – повторил хозяин свою шутку, забирая ладонью назад волосы.

Это была квартира его приятеля, который после неудачного падения с лестницы сейчас лежал в больнице.

– Теперь вот будет калекой, – сказал Клименко и вздохнул. – Все мы теперь калеки.

Он был лет на десять, а то и больше, старше Тягина, который хорошо помнил его совсем, совсем другим – молодым обаятельнейшим красавцем, эдаким замотанным репортёром из американского кино: мешковатое пальто, шляпа на затылке, приспущенный галстук, двухдневная щетина и вечная сигарета в углу рта. Он всегда был как-то неброско и естественно артистичен. Женщин разил наповал одним своим пристальным усталым взглядом. Помнил Тягин и его неизменный многозначительный ответ на вопрос «Как жизнь?» – «Бьет хвостом».

– Вот, свет отрезали. Из коридора протянул, – Клименко легонько хлестнул шнуром по полу.

Тягинские гостинцы его обрадовали чрезвычайно. Стола в комнате не было, и они выложили всё на широкую тумбу.

После второй рюмки Клименко стал было рассказывать о том, как после смерти матери остался без квартиры, но, оборвав себя на полуслове, махнул рукой. После третьей, резко повеселев, вдруг скороговоркой, дергая головой, произнес:

– Как верим верою живою, как сердцу радостно, светло...

И, запнувшись, подняв указательный палец, торжественно, с выражением закончил:

– Как бы эфирною струёю по жилам небо протекло! О!

Медленно откинувшись к стене, он блаженно прикрыл глаза, положил ладонь на грудь и повторил:

– Как сердцу радостно, светло!..

Немного погодя он стал расспрашивать Тягина, но ответов, кажется, не слушал, очевидно наслаждаясь внутренним покоем. Потом вспоминал уехавших и умерших знакомых, половину которых Тягин не знал или забыл. Об уехавших говорил:

– Странные люди. Так ждали перемен, свободы. А как только они пришли, собрали чемоданы и уехали. Иногда спрашиваю таких: что ж вы, черти, разъехались кто куда? Ведь могли бы тут вместе как-то всё обустроить... Обижаются.

Он не удержался, выпил еще и еще, и начал раскисать, стал тянуть слова, запинаться, в голосе появилась слеза. Тягин собрался уходить.

– Постой, – попросил Клименко. – Тягин, друг... Погоди. Хочу тебе тут... – Он тяжело поднялся, спотыкаясь прошел к окну, зашуршал там бумагами. – Так, нашло как-то ночью. Даже не знаю, как назвать. Стихотворение в прозе, что ли...

Он переставил лампу на подоконник, надел очки и вытянул из-под книжки еще какие-то разрозненные листки. Стоя лицом к окну, Клименко продолжал говорить, и Тягин то и дело путался, где еще была его речь, а где уже объявленное стихотворение. Тем более что написано оно было в форме обращения к другу или подруге. Несколько заунывный тон и нетвердое произношение не способствовали вниманию, и Тягин невольно отвлекался то на какую-то свою мысль, то на ползущего вдоль плинтуса большого черного таракана.

– ...А было это в год летнего нашествия итальянских моряков в белых одеждах. Не помню точно месяца, да и года, честно говоря. Только помню, что оно почему-то совпало и потому навсегда связалось с апофеозом, с полным расцветом всех физических и душевных сил. Или с отчетливым ощущением, уверенным сознанием этого расцвета. И всё вокруг было так восхитительно, как не будет уже никогда потом. Прекрасно было всё: люди, город, море, запахи, погода, своё тело, будущее – всё! И каждая вторая студентка, бегущая в университет через городской сад, была хороша, как Галя Ганская. Нет, никогда мне не забыть, тебе не забыть, нам не забыть того ощущения. Как будто еще и всё время расширяемого, распираемого изнутри блеском и шумом южного портового города. И знаешь, когда для меня всё стало заканчиваться? Еще до того, как исчез флот?.. Знаешь? Когда перекрыли движение на Дерибасовской, убрали с неё машины и троллейбусы. Такая динамика там была, такая жизнь бурлила! Такой ритм! А сейчас ходишь, как по райцентру... Не люблю даже там бывать. Это я уже от себя сейчас, – пояснил Клименко, повернувшись вполоборота.

– Могу подбросить в Москву за компанию, – предложил Тягин, думая, что он закончил.

– А, вот! Ты помнишь, была шутка: последний пусть погасит свет? Но никакого последнего не понадобилось... Стоп, это старый вариант. А где же новый?.. Сейчас... одну секунду...– Клименко зашуршал листками. – В Москву? Нет. Я, хоть и русский, а страшно боюсь холода, это у меня в генах, все предки южане. Немного потеплеет, пойду в Крым. Сюда больше не вернусь. Да и никто не вернётся. О, вот оно. Продолжаю. Вернее, всё уже, заканчиваю.

Он кашлянул и продолжил чтение. При этом руки у него задрожали пуще прежнего, и какая-то плотная, вроде оберточной, бумага в его пальцах гремела и постукивала по стеклу, пока он не положил её перед собой и не прижал ладонью.

– И вот свет погас. Солнце нашего города померкло. Не зря же мы, чем ближе к концу, тем всё чаще, так неосмотрительно, неосторожно, так глупо называли его Пальмирой. Да еще и южной. Вот с ним и произошло то, что произошло с той, настоящей южной: упадок и запустение. Накликали. Или то было предчувствие?.. Когда-нибудь, через сколько-то лет, мы, может быть, посетим его. Придём кто откуда, покинувшие его в разное время, и будем долго и потеряно, не поднимая друг на друга глаз, ходить среди его давно остывших, осквернённых равнодушием пришельцев камней. Ходить и ходить. А потом сядем и заплачем. – Он на секунду умолк, чтобы перевести прерывистое дыхание. – И будем плакать горько и безутешно. О том, как мы когда-то бросили его умирать...

XXV

Со дня получения задатка (и позорного изгнания с Коблевской) прошло десять дней. Однообразные, пустые, они, каждый по отдельности, тянулись невыносимо долго, а все вместе пролетели, как один миг. За это время Тягин немного отошел. По ту стороны Канавы он побывал

лишь дважды, и оба раза старался держаться подальше от Соборной площади, чтобы ненароком не столкнуться с Майей и ее верным лектором. Предосторожность, как выяснилось, оказалась напрасной. Он даже несколько опешил, когда, открыв дверь на звонок, увидел их у своего порога.

Рядом с Майей, приготовившей для него дурашливо-виноватую гримасу, стоял парень в камуфляжном костюме, очевидно тот, из-за которого Тягин сначала был загнан под кровать, а потом выставлен за дверь; за их спинами маячил весёлый лектор.

– Вот, гуляли рядом, решили зайти, – сказала Майя. – Хотели пригласить в гости.

Тягин посторонился. Молодой человек, пропустив спутницу и лектора, протянул руку: «Саша». Он был невысокого, вровень с Майей, роста, с короткой, но густой льняной бородкой и с демонстративно открытым и как бы искусственно подогретым, по случаю, взглядом.

В комнате Саша помог Майе снять блестящую стеганую курточку, нежно освободил от шарфа; лектор тем временем из сумки на плече выставил на стол две бутылки – шампанское и каберне. Было одиннадцать часов утра. Тягин сходил на кухню и принес стакан, две чашки и фужер – всё, что смог собрать. Майя стояла у окна, держась за спинку стула. Излучая снисходительность и негу, она похвалила квартиру и район, отметила близость парка и моря. Говорилось это с несколько отстраненной заученной интонацией экскурсовода или агента по недвижимости, но предназначалось спутнику. Тот кивал, крутил головой, оборачивался на окна и между делом открывал и разливал шампанское. Судя по тому, как Майя привязывала дом Тягина к местности, Саша был в городе недавним гостем. Притихший лектор тоже вертел головой и отпускал короткие растерянные улыбочки. А Тягина так и подмывало обратиться к Майе: ты чего пришла? показать мне своего бравого хахаля? Наконец Саша поставил бутылку и сел бок о бок с Майей. Одной рукой он по-хозяйски обнял её за плечи, другой поднял стакан. Кого-то он напоминал. То ли Тягин его где-то видел, то ли пятнистый зелено-коричневый наряд, обобщая, делал его похожим сразу на всех, кто в таком же виде бродил по городу. Выпили за встречу.

– А где жить теперь будете? – спросил Саша.

– Я уезжать собираюсь. До отъезда буду жить у приятеля. Перекантуюсь как-нибудь.

– Надолго уезжаете?

– Как получится.

С недоверчивой усмешкой в небольших подвижных глазах Саша глядел на Тягина поверх стакана.

Долго ломать голову над целью их визита Тягину не пришлось. Только-только заговоривший, начавший очень издалека Саша еще и не приблизился к теме, а Тягин уже понял, зачем они пришли. «Ясно. Явились посмотреть и оценить, каких примерно денег я жду. И он меня сейчас попытается обуть. Мило». Тягину стало даже весело. Наклонив в ладони пузатую бутылку, он, улыбаясь, разглядывал этикетку: 0,7л, алкоголь 9,5–13%, виноград сорта каберне-совиньон, приятный ягодный вкус придает вину легкости... После многословной подводки Саша наконец перешел к сути: Майе надо работать на себя и открывать свой салон. Время от времени Тягин размеренно кивал, но утомительные подробности, которые перед ним разворачивал гость (проценты какие-то...), пропускал мимо ушей. Кстати, язык у парня был подвешен неплохо, вот только грубая громкая речь, как будто заполнявшая собой весь объем помещения, выдавала в нем уроженца маленького городка, а то и села. Выслушав Сашу, Тягин одобрил их планы, но, обращаясь к Майе, сказал, что никаких свободных денег у него и близко не предвидится. Одна только квартира в Москве, а он собирается снимать что-нибудь поприличней, влетит ему в копеечку, а еще давно чаемая поездка на Сардинию в конце апреля – начале мая. Ну и кое-что по мелочам. Так что: увы. Саша сгоряча, кажется, решил, что Тягин что-то не понял и пустился объяснять по второму кругу (всё честно, расписка, опять какие-то проценты). Согласно кивая, Тягин с докторским терпением выслушал то же еще раз и завёл сначала: квартира, Сардиния, текущие расходы... На этот раз Саша слушал его с неловкой кривой улыбкой. Утешительно протянутую Майей руку отбросил. «Экая простота», – подумал Тягин.

– С радостью, но – никак, – вздохнув, заключил он.

Саша усмехнулся:

– Я ей сразу сказал: ничего не получится.

Майя сидела, выпрямив спину и обиженно поджав губы.

Согнав с лица застывшую улыбку, Саша допил шампанское, расправил плечи и поднял голову. И вот тут его взгляд и выражение лица приобрели уже что-то определенно знакомое. Нет, Тягин точно где-то вот так, визави, его видел. Что-то такое пробежало и по лицу гостя.

– Мы с вами где-то встречались... – начал было Тягин и натолкнулся на заинтересованный взгляд лектора.

– А разве... – растерянно протянул тот, поводя пальцем. – Слушайте, ребята, так вы же из Москвы в одном вагоне ехали! Я только сейчас вспомнил.

– Куда мы ехали? – спросил Саша.

Но лектор уже обратился прямо к Тягину.

– В тот вечер, когда мы познакомились – помните? – вы тогда еще про Юлю стали рассказывать или спрашивать... сказали, что в одном вагоне ехали, не помните?

– Помню, – сказал Тягин, не сводя глаз с Саши.

Да, это был он – парень в красном платье. Саша несколько секунд смотрел на Тягина и рывком поднялся из-за стола.

– Ладно, всё, встали-пошли, – распорядился он. – Пошли-пошли. Куча дел еще. Извините, это мы забираем. Вы себе можете купить, если захотите, а мы люди бедные... Лектор, держи!

Саша взял за горлышко нераспечатанную бутылку каберне и качнул ею в сторону лектора; тот дернулся навстречу, но бутылка в Сашиной руке вдруг, словно сама по себе, взмыла к потолку – да так резко, что Саше, чтобы её не выпустить, пришлось приподняться на носки – и в следующее мгновение жизнь Тягина, провалившегося, как в подпол, в глухую непроницаемую тьму, на какое-то время прервалась.

XXVI

И возобновилась вновь, когда он очнулся от боли, от того, что кто-то ковырялся в его голове; открыл глаза – и кто-то отскочил.

– А где Даша? – спросил Тягин и пришел в себя.

Это было как мгновенная смена планов в кино при монтажной склейке: взлетающая бутылка сменилась ножками стола, стульев и елочкой паркета в странной близости от глаз. Осваиваясь со скачком во времени и пространстве, он повёл взглядом по комнате. Левый глаз закрывал свисавший бинт, который он не мог убрать из-за связанных за спиной рук. Это сделала Майя; она шагнула к нему, нагнулась и закинула бинт за ухо. Показался и исчез говоривший по телефону Саша. Чуть погодя Тягин, кажется, потерял сознание еще раз, но, судя по тому, что тональность и ритм происходившего в комнате за это время почти не изменились, совсем ненадолго. По ту сторону стола, стоя спиной к нему, продолжал что-то говорить Саша. Тягин закрыл глаза и опустил голову на грудь. Пусть решат, что он опять, а ему надо немного подумать. Из мутной задумчивости его вывел толчок в колено. Перед ним на корточках сидел Саша. Вид у него при этом был растерянный.

– Ну что, как тебе? Херовенько? – спросил он. – А когда меня вязал, нормально было?

Тягин отрицательно покачал головой и сказал:

– Нет.

– Что – «нет»? Я тебя вспомнил. Ты откуда вообще такой взялся?!..

Тягин хотел сказать, что тоже помнит Сашу, и собрался поведать, чему был свидетелем в вагоне, но только набрал воздуха в грудь, как Саша, брызнув слюной, крикнул ему в лицо:

– Тихо!

Наставив на Тягина указательный палец, он сидел не шелохнувшись, секунду, вторую, третью, четвертую, и наконец его сосредоточенное, накрытое тенью внезапной тревоги лицо дрогнуло,

стало светлеть, а в глазах появился, быстро разгораясь, живой радостный огонек. Ткнув в Тягина пальцем, он с волнением произнес:

– Это ты!

– Что? – спросил Тягин, ничего еще не понимая, но уже чувствуя приближение чего-то очень скверного.

Саша вскочил и, широко замахнувшись, ударил Тягина ногой в бедро. Тот охнул от боли.

– Саша! – укоризненно воскликнула Майя и взяла его под руку.

– Что «Саша»? Ты еще не поняла, что ли?

Дрожа от возбуждения, Саша схватил со стола сигареты, закурил, отшвырнул пачку, и опять горящим и одновременно отсутствующим взглядом уставился на Тягина. На столе, куда Саша бросил пачку, стоял раскрытый тягинский рюкзак. Наконец, вытянув в сторону Тягина руку с дымящейся сигаретой, Саша произнес:

– Вот, кто убил Юлю, вот он! Знакомься!

Тягин встретился с растерянным взглядом Майи, и смысл сказанного, кажется, дошел до них одновременно, как если бы они прочитали его по лицам друг друга. Тягин мотнул гудящей головой.

– Это чушь какая-то... – пробормотал он. – Я не знаю никакой Юли...

Майя отвернула от него испуганное лицо и еще теснее прижалась к любовнику, который, продолжая дергать пальцами с зажатой сигаретой в сторону Тягина, собирался сказать что-то еще, но в это время тремя короткими звонками позвонили в дверь. Саша быстро вышел из комнаты, за ним бросилась Майя и в прихожей о чем-то негромко, но возбужденно заговорили.

Тягину опять попался на глаза его раскрытый рюкзак, в котором лежали аванс за квартиру, абакумовские деньги, паспорт, документы на квартиру и расписка за задаток, где оговаривались сроки сделки. Одним словом – всё. Плохо дело.

Разговор из прихожей переместился в комнату.

– Давай, проходи, проходи... – говорил Саша уже в полный голос. – Будем сейчас слушать этого московского туриста.

Вместе с Сашей и Майей в комнату вошел молодой человек, пониже Саши, тоже в камуфляже, но не в желто-зеленом, а в серо-голубом. У Саши в одной руке была кобура, в другой пистолет, который он, покрутив, показал Тягину.

– Это чтоб ты понимал – у нас всё по-взрослому.

Под его присмотром молчаливый гость подошел к Тягину, развязал ему руки (это оказался ремень) и прищелкнул левую кисть наручниками к трубе радиатора. Саша подошел проверить.

– Европа! – произнес он, подергав наручники и, вернувшись к приятелю, добавил: – Серый, только никому ничего, понял?

Затем выставил два стула напротив Тягина, сел на один из них. Майя встала у него за спиной, а Серый сел на диванчике. Саша раскрыл паспорт и сказал:

– Как ты? Слышишь меня хорошо?.. Ну, давай, рассказывай, Тягин Михаил Алексеевич. Мы тебя внимательно слушаем. Потому что а хули нам еще делать.

И он бросил паспорт на стол.

– Мы с тобой ехали в одном вагоне, – начал Тягин; браслет наручника неприятно холодил запястье и он подтянул под него рукав свитера. – Но я тебя не связывал. Я только видел, как тебя в купе проводников...

– Так! вот про это мне не надо рассказывать, понял?! – громко оборвал его Саша. – Не надо! Как меня вязали, били, издевались... одежду на мне всю порвали... Я это и так знаю. Ты понял, я спрашиваю? – угрожающе наклоняясь, повторил Саша.

Тягин кивнул. Кажется, он догадывался, о чем не хотел слышать Саша. О платье.

– Ты лучше скажи, как я вот тут, – сложив у груди ладони лодочкой, Саша несколько раз энергично ткнул ими вниз, – у тебя, в твоей квартире оказался! Можешь мне это объяснить? Как ты с ней познакомился? – он показал на Майю. – Ты что, по моему следу ходишь?

Тягин некоторое время раздумывал. Парень в красном платье, сидящий перед ним, у него дома, да еще и при таких обстоятельствах – всё это отдавало дурным сном, бредом. Кроме того, что настаивать в этой ситуации на случайной встрече с Майей ему казалось неразумным, он еще надеялся, что проговоренная вслух правдивая история их знакомства сделает происходящее чуть понятней.

На Сашу его рассказ произвел эффект прямо противоположный. Когда Тягин закончил, он сказал:

– Значит, ты случайно ехал в этом же вагоне, так? Потом ты случайно встретил проводника. Потом вы случайно увидели Майю. А потом ты случайно встретил её на улице. Ты нас совсем за дураков держишь?

– Именно так. Я имею в виду, именно так всё и было, – сказал Тягин, сам удивляясь тому, что получилось.

Стоявшая за спиной Саши Майя выглядела потрясенной и напуганной.

Тягин пожал плечами и негромко произнес:

– Просто такая цепь случайностей и совпадений...

Саша молча, о чем-то задумавшись, смотрел на него.

– Жизнь вообще набор случайностей... – сказал Тягин.

– Поговори еще тут. Случайно второй раз бутылкой по голове получишь... – сказал, очнувшись, Саша. Он сделал ладонью знак Майе и хлопнул по сиденью стула рядом. Она подошла и села.

– А почему ты ей сразу не сказал, что приехал из Москвы? – продолжил Саша, показывая Тягину на Майю.

– Не знаю, – Тягин пожал плечами. – На тот момент так показалось проще.

– Слышала? Уже понимаешь, чем это для тебя могло закончиться? Знакомый у неё появился...

Майя быстро обхватила Сашу за шею и уткнулась ему в плечо. Тот взял её за подбородок, повернул лицом к себе.

– О чем ты вообще думала? – Он постучал ей указательным пальцем в лоб и, откинувшись, крикнул через плечо: – Лектор!

– Да, Саша!

– Я вот не пойму: а какого хрена ты ушами хлопал, когда он к Майе подъезжал?

– Саша, он же вёл себя прилично. Ты пропал куда-то...

– А поинтересоваться кто он, откуда?..

– Он мне сказал, я забыл сразу.

– Ни хрена себе забыл. Самое важное.

Саша повернулся опять к Тягину.

– Значит, проводник тебе показал. – Саша усмехнулся и качнул головой. – Ладно, это мы потом выясним. К нему тоже есть пара вопросов. А зачем он тебе её показывал?

– Хотел, чтобы я посмотрел на красивую женщину.

– Ну и как, понравилась?

– Ты же видишь.

– А потом ты бы её, как Юлю, да?

– Я же сказал, я не знаю, о ком ты говоришь, я даже лица её не рассмотрел, видел только краем глаза, как она еще в Москве садилась в красном платье...

– Замолкни! Уже и так всё всем понятно. Всё у тебя случайно. Деньги тоже, скажешь, случайно на улице нашел? Почти десять штук.

– Там половина аванс за квартиру. Другая половина не мои.

– Короче говоря, десятка тебе и по пятерке проводникам. Они тебе купе открыли, пока мы спали, а Юля – хоп! – и проснулась, да? Откуда вы про них узнали?

– Кто – вы? Про что?

– Про деньги!

– Про какие?

– Про такие! Мы с Юлей двадцать штук везли. Получается как раз десять тебе и им по пять на рыло. Всё сходится. Понимаешь? С бабками – всё сходится. И ничего больше доказывать не надо.

– Это не аргумент, – сказал Тягин. – Любую сумму можно поделить как угодно.

– Что-что? – презрительно морщась, переспросил Саша. – Смотри, чтоб тебя тут как угодно не поделили. – Он поднялся. – Так. Делаем перерыв. Надо придумать что-то насчет пожрать. А с тобой потом еще продолжим. Потому что всю эту историю с ней, – он накрыл ладонью голову Майи, – я пока так и не понял.

Саша взял со стола рюкзак, и сначала они все ушли на кухню и просидели там около часа, потом перебрались в спальню.

Это был один из самых долгих дней в жизни Тягина. Началось всё, насколько он помнил, часов в одиннадцать утра, и к вечеру уже было ощущение, что тянется неделю. В спальне не умолкал музыкальный, будь он проклят, канал. Как только за окнами начало темнеть и повсюду в квартире включили свет, началось и весь вечер продолжалось какое-то сплошное движение. Гости сдержанно шумели, ходили по квартире, куда-то звонили, выходил-приходил лектор, в пакете, с которым он вернулся, звякали бутылки, два раза заказывали пиццу и оба раза приносила ее одна и та же, судя по голосу, разбитная девица, которая на третий раз пришла как гостья и поздно вечером ушла с Серым; два раза Тягина выводили в туалет – расстегивал и застегивал наручники под Сашиным присмотром лектор; выпивший Саша приходил с ним поговорить с глазу на глаз; сидя на корточках, курил и выдувал дым под себя, потом сел на пол, в спальне в это время громче заиграла музыка, Саша крикнул, и она стала тише; несколько подобревший от выпитого, он стал говорить Тягину, дескать, ни один волос и всё такое, ты только веди себя хорошо, ты же видишь: я отношусь нормально, не бью, не унижаю, хотя и мог бы, потому что ты меня подставил и я тебе не верю, я хоть еще не во всем разобрался, но чувствую, что тут что-то нечисто, в любом случае ты накосячил, а за это надо платить, так что давай так, получаешь ты за квартиру деньги, мирно их разбиваем пополам и разбегаемся; Саша ушел и через четверть часа вернулся, и опять сел напротив: я что хочу еще сказать, подумай сам, если не договоримся, придется тебя сдать куда полагается, потому что тут всё равно что-то нечисто, и посмотрим, кому поверят; Тягин его спросил, а ты сам-то разве на легальном положении, на что Саша ответил, ты за меня не переживай, вот приведу тебя и стану на легальном, а за тебя так возьмутся, что уже не до меня будет, москаляку на гиляку, слышал? кто-то, думаешь, разбираться будет? да и вообще, прикинь, ну вот ты всё им рассказываешь, как мне: поезд, проводник, Майя, какие-то деньги опять непонятные, а еще эти взрывы в городе, да ты вообще оттуда голым-босым выйдешь, если выйдешь, если повезет... жрать хочешь?

– Ты бы снял с меня наручники, – предложил Тягин. – Сам же говоришь, мне деваться некуда. У тебя оружие. Да и вон вас сколько.

– А вдруг я что-то про тебя не знаю. Может, у тебя черный пояс по карате?

У Тягина было достаточно времени подумать. Отгоняя надоевшую мысль о фантастичности происходящего, он скоро пришел к выводу, что, учитывая обстановку в городе (и тут Саша был прав), оказался в самом незавидном положении. И если даже живчик Абакумов с его связями, опытом и изворотливостью опустил руки перед Мальтой, то Тягину с его связанными руками да при таком раскладе и вовсе рыпаться бессмысленно. Влип он капитально. (Кстати, перебирая немногочисленных знакомых, и гадая, к кому бы из них, появись такая возможность, он бы обратился, Тягин неизменно останавливался на Мальте.) Во всей ситуации был единственный обнадеживающий момент – категорическое нежелание Саши слышать и говорить о красном платье. Наметилась негласная договоренность: Саша не развивает версию удушения Юли Тягиным, хотя и не отказывается от нее, а тот молчит о платье. Но как это можно использовать, Тягин не знал. Главное сейчас, решил он, сохранять спокойствие. Никаких знаков недовольства. Злобно сверкать глазами, скрипеть зубами, играть желваками отложим на потом. Этот Саша, кажется большой болтун и позер, так что с ним можно поладить (хотя и не стоит забы-

вать, что девицу-то он, как ни крути, задушил). А пока остается терпеливо наблюдать и ждать удобного случая. Лучше сразу допустить, что ждать придется долго, до самого дня сделки. Неизвестно, насколько ясно Саша представляет себе, если вообще представляет, всю эту отнюдь не пятиминутную процедуру, скорее всего никак, и вполне возможно, удобный момент только там и наступит. Учитывал Тягин и то, что даже если бы он и смог отделаться от Саши, у того всё равно оставалась возможность подгадить, и, следовательно, в любом случае промежуток между его освобождением и отъездом должен быть сведен к минимуму. А если он хочет уехать с деньгами, то опять-таки предпринимать что-либо раньше дня сделки неразумно. Что Тягина заботило больше всего, от чего прямо-таки мутило, так это от мысли, что придется провести в этом положении такую бездну времени. Что он будет с ним делать? Была пятница, сделка – в понедельник.

Тягин вытянул ноги, запрокинул голову и прикрыл глаза. «Тикай отсюда», вспомнил он.

Пришел лектор и принес пиццу. Неожиданно сказал:

– Я вам верю. И очень сожалею. Очень. Я не хотел, чтобы так получилось.

Часам к одиннадцати Тягина совсем взяла тоска. Всё те же мысли шли по сотому кругу, сна не было ни в одном глазу, и он попросил у Саши выпить.

– Пожалуйста. Мне водки не жалко, – весело отозвался тот. – А ты пьяный спокойный? А то начнешь тут гульванить, песни петь, соседей в гости звать... Ладно, давай выпьем.

Он принес посуду, закуску, разлил, поднял стакан, и тут его окликнула Майя. Выпив, Саша вышел в коридор. Тягин прислушался. Майя уговаривала Сашу не пить с убийцей её подруги.

Сжимая в руке чашку, Тягин вдруг вспомнил сюжет из недавней уголовной хроники: два приятеля выпивали, поругались, один другого ударил молотком по голове, потом помирились, опять выпили, заснули, и тот, ударенный, не проснулся. Но это грозное уравнение – удар по голове плюс водка равняется смерть во сне – его не остановило, скорее наоборот. Не то чтобы он надеялся, но вливая в себя водку, был готов и к такому, не самому худшему на тот момент исходу.

Перед тем как идти спать Саша пересадил Тягина на диван и поставил рядом с ним ведро.

XXVII

С утра по квартире разнесся знакомый сладковатый запах голландского табака. Туда-сюда, не глядя в сторону Тягина, замелькала по коридору Майя. В ней обнаружилась прежде не виданная хлопотливость. При этом она ухитрялась громко шлепать тапочками, которые для нее снял с Тягина Саша. Наконец, в дверном проеме, по пояс голый, с полотенцем на плече появился и сам Саша и поприветствовал ленивым жестом. Он был густо и золотисто волосат. Пришел Серый; под присмотром Саши пересадил Тягина в угол и скоро ушел. Следом ушел за покупками ночевавший на кухне лектор, перед тем покормив Тягина.

Посидев на кухне, Саша с Майей переместились в спальню и включили погромче телевизор. Вернувшийся лектор выложил покупки на кухне, и с кипой глянцевых журналов направился было в спальню, но, услышав оттуда стоны, прошел в комнату, положил журналы на стол и встал у окна рядом с Тягиным.

– Вы видите, что он с ней делает? – спросил он.

– Пока только слышу, – ответил Тягин. – Как тогда вместе с вами, под кроватью.

– Он ее мешает с грязью.

– Ничего страшного. Вода идет, душ работает.

Лектор поморщился.

– Да перестаньте вы! Тут дело серьезное. Он унижает ее своей несоразмерностью. Ничтожностью. Понимаете, о чем я? Как временное увлечение – ничего еще, но... не более. Не более. Извините, но что за блядский вертеп он здесь устроил?! – слово «блядский» лектор, наклонившись, произнес шепотом. – Никогда ему не прощу!

– Месть, я чувствую, будет страшной, – усмехнулся Тягин и, запрокинув голову, спросил: – Вам не приходит в голову, что искать сочувствия у человека, прикованного к батарее с вашей подачи, как-то странновато.

– Я же сказал, что сожалею. И что я такого сделал? Просто вспомнил наш с вами разговор. Кто думал, что всё так обернется?

– У вас короткая память. А то, что вы с Майей меня развели на деньги с этим другом детства – это как?

– Не сердитесь. Она же не могла просить у вас на любимого.

– Хорошее оправдание. Она могла бы вообще не просить. И не водить со мной шуры-муры...

– Просил у вас я. По глупости. И на шуры-муры я её уговаривал.

– Зачем?

– Как вы не понимаете?! Она должна купаться во внимании, быть игривой, легкой, веселой, а вокруг должны клубиться обожатели.

– Ну и как я вокруг нее поклубился? Понравилось? Вы лучше мне скажите: вы верите, что я задушил Юлю?

– Я уже говорил, что не верю. Майя – да, поверила.

– А в то, что это его рук дело, верите?

– Я сомневаюсь. Возможно, вы заблуждаетесь на счет него, так же как Майя заблуждается насчет вас.

Тягин попросил рассказать лектора о Саше, но тот сказал, что толком ничего о нем не знает. Приезжий. Живет в общежитии где-то у черта на куличках. Два раза, до отъезда в Москву с Юлей, ночевал у Майи. Вроде бы собирался к ней перебираться сразу после приезда из Москвы.

– Так он был парнем Юли? – спросил Тягин.

– Был Юли, стал Майи – какая разница? Главное, кем он оказался. Мелкий паршивый сатир, не более того. Жлоб.

– Насколько я помню, сатиры такими и должны быть. Поймал нимфу, оприходовал, побежал за следующей...

– Шкуру бы с него живьем содрать за такое. Думаете, это легко, когда у тебя на глазах гибнет дело всей жизни?

– Лектор, не преувеличивайте. Не так уж и давно вы всё это затеяли.

– Я говорю о будущей жизни, о перспективах, которые тают. Вся моя работа насмарку. Я ведь столько сил на неё положил... пестовал, лелеял... так что, если бы завтра за ней пришли, она бы была уже готова!..

– Ну вот, за ней пришли и она готова. От меня-то вы что хотите?

Лектор грустно покачал головой.

Открылась дверь спальни, и по коридору пробежала Майя в Сашиной камуфляжной куртке. Зашумела вода в ванной.

«А квартирка не подвела, раздела и эту», – отметил Тягин.

Лектор взял стопку журналов и пошел из комнаты. Тягин без особой надежды попросил свой ноутбук, но оказалось, что его вчера вечером, едва открыв, залили апельсиновым соком. «Может, и к лучшему», – подумал Тягин и попросил что-нибудь почитать. Лектор оставил ему пару журналов. Чуть позже сообщил, что рукопись Тверязова он в спальне не нашел.

Во второй половине дня в комнату вышел Саша. Он опять был с голым торсом, на плече вместо полотенца висела пятнистая майка.

– Знаешь такого художника – Ван Гог? – спросил он у Тягина.

Тягин кивнул.

Запрокинув голову, Саша тот же вопрос прокричал лектору в кухню.

– Да, Саша, знаю! – отозвался тот.

– А знаешь, что он себе ухо отрезал?

– Что-то такое слышал! – прокричал в ответ лектор.

И Саша небрежно, с некоторой ленцой жестикулируя, стал рассказывать Тягину и остановившейся по дороге в кухню Майе о Ван Гоге. В конце каждого периода он, выгнув спину и выпятив живот, застывал в эффектных позах и обводил слушателей улыбающимся взглядом. Майя стояла с грязной тарелкой, опершись плечом о косяк, и не сводила с него глаз; кажется, она была под хмельком. За их спинами на мгновение мелькнул лектор с каменным лицом и презрительно поджатыми губами. Свою лекцию Саша заключил выводом, что если бы Ван Гог отрезал себе ухо сейчас, когда везде интернет, то его дела пошли бы лучше еще при жизни, а так, конечно, никаких шансов стать известным у него тогда не было.

Поздно вечером, когда заглянувший ненадолго Серый ушел, а умаянная Майя спала, хорошо поддатый Саша, подошел почти вплотную к Тягину и со всей возможной суровостью выложил свой план действий, по-видимому, итог встречи с Серым. На сделке Тягин представит его как своего телохранителя – дескать, большие деньги, такая обстановка в городе, то-сё. Да и кто станет спрашивать? Полученные деньги поделят поровну. Пообещал, что если что-то пойдет не так, сразу же выстрелит Тягину в ногу. Или еще куда-нибудь. В плечо, например. Убивать не будет. Скажет, что его наняли для охраны через знакомого, втемную, а он вдруг узнал в Тягине пассажира того вагона, убийцу попутчицы. Ну и сорвался. Пусть тогда с Тягиным разбираются люди посерьезней.

«Интересно, был ли он хоть раз в жизни на какой-нибудь сделке, что так легко об этом говорит?» – подумал Тягин. Слушая Сашу, он окончательно утвердился в решении звонить Мальте. Во-первых, никого другого своим избавителем он не видел, во-вторых, под угрозой оказались и тверязовские деньги, которые Мальта с таким упорством выбивала из Абакумова, и в-третьих, она была, если, конечно, это правда, в какой-то там сотне и на единоличника Сашу управу, надо полагать, найдет. Тягин, естественно, не знал наизусть её номера, но мог бы добраться до нее через Тверязова. Главное заполучить телефон и хоть на пару минут выскочить из-под Сашиной опеки.

Покончив с официальной частью, Саша сходил на кухню за чашкой для Тягина и принес кое-что из закуски. Они теперь были как бы партнеры, и не грех было это дело отметить. Выпив, Саша начал рассказывать о своем киевском дядьке, очень большом человеке, к которому в дом как-то ночью ворвались бандиты в масках, связали его, жену и дочь, отвели в подвал, надели на голову пакеты и требовали денег. Глава налетчиков оказался сыном дядьки, дядьку после этого хватил удар, он стал инвалидом и поэтому не взял Сашу к себе, и таким образом Сашино почти наверняка блестящее будущее оборвалось в самом начале. Эта насквозь фальшивая история, подозрительно напоминавшая перелицовку песни о прокурорской дочери, была рассказана сдержанно, но с большим чувством. Ею Саша как бы смиренно вопрошал мироздание: кто и за что может его судить после такого. Он так расчувствовался, что Тягин (нет, он, конечно, в те дни временами как будто мутнел рассудком) не удержался. Очень уж ему захотелось «поддеть ножичком», как говорил старик-сосед в тверязовском романе, историю в поезде. Улучив минутку, он вполголоса доверительно произнес:

– Хотел тебя спросить насчет одной вещи... Скажи честно – мы тут вдвоем – что у вас тогда произошло с Юлей?

Саша долго и тяжело смотрел на Тягина, потом поднялся и гаркнул:

– Лектор!

Прибежал лектор и под присмотром Саши, державшего руку на кобуре, пересадил Тягина из угла на диван. Саша вышел вслед за лектором, но через минуту вернулся.

– Я не знаю, кто ты такой. Может, ты маньяк, может, псих или еще кто-то... может, ты какой-то... Короче, хер тебя знает. Мне это не интересно. Здесь ты вата. Цена тебе – ноль. Понимаешь, о чем я? Точно понимаешь?

И он, сжав кулаки, грозно навис над Тягиным. Тягин покорно замер.

– Еще вопросы есть?

Тягин молчал.

После ухода Саши он долго думал над их разговором и, кажется, догадался, что так нервировало незваного гостя. Вероятно, Саша на свою беду слишком хорошо помнил, что произошло той ночью, а потому ни в какое проникновение Тягина в их с Юлей купе не верил. Он просто знал, что этого не было. Однако столь неожиданный поворот событий его смущал, сбивал с толку. Появление Тягина как будто и было ему на руку, и в то же время вызывало недоумение, даже досаду. Вновь и вновь заставляло искать тут какой-то опасный подвох. Что-то отдаленно похожее происходило и с Тягиным: время от времени и ему приходилось как бы заново перебирать всю цепь случайностей, чтобы еще раз убедиться, что Сашино присутствие здесь не случайно. И всякий раз при появлении Саши в комнате эти объяснения чуть запаздывали, как запаздывает звук на большом расстоянии.

XXVIII

Утром Саша выглядел бодрым и веселым. То ли он не помнил, на чем они вчера расстались, то ли по примеру многих пьющих не придавал значения сказанному на пьяную голову. А Тягину вчерашний разговор, кажется, помог понять смысл ритуала с его утренним пересаживанием на пол возле буфета. Сначала он думал, что это делается из непонятных ему соображений предосторожности, потом предположил, что Саше просто нравится распоряжаться и к тому же смотреть на него сверху вниз, и только сегодня пришло в голову, что всё дело в Майе – единственной, кто здесь верил в убийство Юли Тягиным. Это ей Саша ежедневно демонстрировал свою непреклонную суровость к убийце.

Кстати, о Майе. Её стремительное низвержение, о котором сокрушался лектор, теперь и Тягину бросалось в глаза. Куда всё подевалось – ленивая грация, взгляд с поволокой? Невольно вспоминались отзывы о ней сестры Зины. Тягина Майя старательно не замечала. А в случайных взглядах уже не было того первоначального страха – от него она была надежно защищена своим великолепным Сашей – только отвращение. Ну, может быть, еще недоумение. Что и говорить, причины у нее были самые веские, и всё же это казалось Тягину поразительным. Чтобы вот так, в одночасье... Вчера, когда он её окликнул, она застыла, не поворачиваясь к нему. Он попросил воды. Она ушла, а воду принес лектор.

Часов в десять утра позвонил Филипп. Саша быстро вошел в комнату и сунул Тягину его телефон с включенной громкой связью. Из коридора в комнату заглядывали Майя и лектор. Говорил Филипп бодро, чуть ли не весело. Извиняясь, сообщил, что по вине покупателя, не вернувшегося к сроку из своего путешествия, сделки завтра не будет, она переносится на один день. В комнате повисла нехорошая тишина. Саша отобрал телефон у Тягина и пошел в спальню. «Порадовал, нечего сказать», – удрученно подумал Тягин.

Во второй половине дня разразился скандал. Начался он с коронной Сашиной фразы: «Так, я не понял!». Что говорила Майя, Тягин не мог разобрать, зато Сашу слышал прекрасно.

– Какой на хер салон?! – возмущался тот. – Скоро купим тебе такой салон. Хоть два.

Робкие невнятные возражения Майи, и следом опять громогласное:

– Я-не-по-нял. А кого я е**ть буду? Лектора? Нет, ну я могу, конечно, эту пиццершу вызвать, например, которую Серега трахал, да и не проблема это вообще, ты ж понимаешь. Но ты считаешь это нормальным? Мозги у тебя есть? Двух дней потерпеть не можешь? Сидеть! (Звук затрещины.) Подождешь, я сказал. Что тебе еще не понятно? Давай разберемся! Лектор, сука, место, быстро! Сиди, не высовывайся. Так что тебе не понятно?! Давай, объясни мне!

Хлопнула дверь, но с такой силой, что поползла обратно. Хлопнула еще и на этот раз закрылась. Судя по шуму, по толчкам в стену, там уже происходило что-то нешуточное. Возмущенный голос Саши, возня, затрещины, испуганный крик лектора: «Саша не надо!», и его же крик уже при распахнувшейся двери, переходящий в визг и явно предназначенный Тягину: «Он её задушит! Саша, не надо!!!» Тягин отложил кроссворд, огляделся, поискал глазами какой-нибудь предмет,

которым можно было бы разбить оконное стекло – всё, что он мог сделать – но ничего не нашел. Подобрав ноги, стал ждать, чем всё закончится. Между тем из спальни доносились звуки молчаливой возни, был сильный толчок в стену, и что-то тяжелое сдвинулось с места, кровать, кажется. Наконец в коридор выскочила растрепанная Майя. Держась за горло, и даже тут не глядя на Тягина, она панически выкрикнула в воздух:

– Он его задушит!

В ту же секунду в комнату ворвался лектор, с разбега нырнул под стол и заставился стулом. Вбежавший следом Саша бросился было за ним, но тут в его поле зрения попал Тягин. Саша подскочил к нему.

– Это ты тут, сука, мутишь?! – закричал он, хватая Тягина за ворот свитера правой рукой и потянувшись к горлу левой.

Раздались три коротких звонка в дверь. Саша замер, выпрямился и пошёл открывать. Явился Серый, и они с Сашей прошли в спальню. Лектор выполз из-под стола и, не глядя, на Тягина, ушел на кухню. Еще раньше туда ушла Майя.

У Саши была хорошая черта – он не мог долго находиться в дурном настроении. Уже через полчаса, сразу после ухода Серого, он ходил по квартире и весело говорил:

– Так! Меняем тему! Всем быстро успокоиться! Я, между прочим, теперь снайпер, и вы все у меня на прицеле!

Раскрывал и показывал какое-то удостоверение. Примирение с Майей они отметили бурной любовной сценой. Чуть позже Серый побывал еще раз, а к вечеру Саша, как и в предыдущие дни, уже был хорош. Сначала он завел с Тягиным разговор о Москве, потом выделил ему деньги, судя по купюрам, из абакумовских, и они, выпивая и закусывая, сели играть в очко. Тягин довольно быстро два раза проиграл свою тысячу.

– Ладно, не переживай, – успокаивал его подобревший Саша, протягивая сигарету с начинкой от Серого. – На, затянись. Затянись, я говорю!

На этот раз Тягин еще и выпил больше вчерашнего, и после нескольких затяжек его совсем разобрало. Он даже и посмеяться толком не успел, когда Саша стал рассказывать что-то уморительно смешное, как его вынесло в непроницаемую и как бы знакомую тьму. Там, в ней, стоило только попривыкнуть, было много чего. Горячий плотный ветер, долгое время куда-то уносивший его голову, вдруг утих, а давящая со всех сторон плотность осталась; спасаясь от неё, он тыкался по углам и искал предсказание предсказания. Красное платье в поезде не могло взяться ниоткуда: думай! Поезд набирал ход. Так где же было начало цепочки, и что предсказывало историю с красным платьем?.. И он, конечно же, вспомнил, что в тот вечер, когда они уходили с Дашей от дома Тверязова, на ней были красные туфельки – да-да, в черной ночи, на мокром октябрьском асфальте в желтых листьях! (Значит, вот для чего в его жизни появилась Даша?) Но этого ведущим показалось мало: а до туфелек Даши? что было до туфелек? Вы серьезно? Боже, да столько же всего всякого было, как и у каждого, что ж теперь, всё вспоминать, всю жизнь перелопачивать? И он ползал, натыкаясь то на одно красное пятно, то на другое – да вот же! вот! и вот! вот, вот, вот! – до тех пор, пока озаряемая фальшфейерными вспышками тьма, не растворила его в себе. А между тем поезд египетского метро летел всё быстрей: широко пылающие факелы на стенах мелькали всё чаще и уже соединялись в сплошную полосу света; грозный гул движения, а вместе с ним и плотное хоровое скандирование «Москалив-на-ножи! Москалив-на-ножи! Москалив-на-ножи, на-ножи, на-ножи!» становились всё глуше и сливались в ровный бархатный шум, и медбрат Анубис с пёсьей, как ему и положено, мордой вглядывался в оживающее лицо Тягина всё внимательней...

Тягин открыл глаза. Кухня была залита ярким лунным светом, а перед ним под столом сидел лектор и смотрел на него. В соседней комнате негромко работал телевизор. Во дворе, время от времени подгавкивая, завывала собака.

– Давно сидите? – поинтересовался Тягин, усаживаясь поудобней.

– Вы были правы насчет Юли. Это он. Теперь у меня нет сомнений, – решительно произнес лектор.

– Рад за вас, – сказал Тягин и попросил пить.

Пока лектор ходил на кухню, он пытался вспомнить, как они с Сашей разошлись. Напились так, что Саша забыл его пересадить. Надо сбавлять обороты.

– Вы чувствуете, какое напряжение в воздухе? – сказал лектор, вернувшись со стаканом воды. – Он же маньяк, психопат! И ему нельзя пить. Совсем нельзя. Что если он в следующий раз ее задушит?

– Похоже, всё к этому идет. Или её, или вас. Хорошо бы обоих.

– Перестаньте. Зачем вы это говорите? Вы ведь так не думаете.

– Откуда вам знать, что я думаю. Дайте.

Лектор, спохватившись, протянул стакан.

– Я хотел бы вам помочь, – сказал он.

– А себе?

– И себе тоже. И Майе. Всем нам. Что-то надо делать.

– Бог в помощь, – сказал Тягин, возвращая пустой стакан. – Но в нынешней ситуации с этими вашими любимыми факельными маршами и обстановкой в городе я даже и не знаю, что для меня будет хуже, тут Саша прав.

– Вы о чем?

– Ну вы же, я так понял, в полицию собрались идти, или куда там...

– Вы с ума сошли! Нет, конечно. Меня Майя сразу же проклянет. А его опять отпустят, и он меня вообще укокошит. И даже если бы его арестовали, он ведь её за собой потянет. Как соучастницу.

Слово «укокошит» Тягина рассмешило.

– И наводчицу, – добавил он.

– Тем более. Да она сама за ним пойдет, и еще всё на себя возьмет. Нет, это исключено.

Тягин попросил еще воды, и когда лектор принес, сказал:

– Я бы на вашем месте попробовал сообщить сестре. Она баба бойкая, могла бы тут в два счета порядок навести. Так мне кажется.

– Какой еще сестре? – раздраженно спросил лектор.

– Зине. Есть еще какая-то?

Лектор глубоко вздохнул.

– Дело в том, что и этой-то нет. Открою вам одну тайну – сестра Майи никакая ей не сестра. Она ее мать.

– То есть?

– Вот то и есть. Мать. Просто всю жизнь выдавала себя за сестру. Для отвода глаз. Ей так гулять было легче. Одно дело мать, которая меняет любовников как перчатки, а другое – незамужняя старшая сестра, которая устраивает свою личную жизнь. Как сейчас говорят – в активном поиске. Майя – несчастный ребенок. Всё детство с ней промучилась. Да она её сюда и на порог не пустит. И кто будет сообщать? Я не собираюсь.

– Мать?..

Тягин было задумался – известие несколько иначе осветило его встречу с Зиной, – но не задержался на этой мысли, и вдруг прыснул. Видно, еще не совсем прошло действие травы. Он опять прыснул и, опустив голову, тихо, с наслаждением засмеялся. Веселья еще добавили чуть ли не клоунской величины ботинки лектора, на которые он впервые обратил внимание.

– У вас какой размер обуви? – спросил Тягин, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос.

– Это всё, что вас сейчас интересует? – укоризненно произнес лектор, подтягивая ноги. – Смейтесь-смейтесь.

– Лектор, ну это же просто чудо-водевиль какой-то! Друг детства оказался любовником, сестра – матерью, нимфа – наводчицей... Для полноты картины не хватает только вернувшегося после многих лет скитаний отца. Признайтесь, что это вы. Теперь понятно, почему вас Зинаида так третирует. Вы, может быть, алименты ей не платили все эти годы?..

– Вы, между прочим, тоже оказались совсем не тем, за кого себя выдавали, – в ответ заметил лектор.

– Совершенно верно! О чем и речь. Да у нас тут вообще целое кубло оборотней!

– Смейтесь-смейтесь... – повторил лектор, когда Тягин отсмеялся. – А вот мне плакать хочется от бессилия. Рвать и метать. Что я в этой ситуации могу сделать? Ничего. Другое дело вы. – Лектор заговорил тише, но горячей. – Если бы вы уничтожили этого ублюдка, даже Майя ничего бы вам не смогла сказать. Вы в своем праве. У себя дома. Чувствуете разницу? какие грандиозные у вас преимущества? И знаете, что я думаю? Всё это неспроста. И ваше появление было неспроста. Что-то мне сразу указало на вас. А эти два дня многое прояснили. Тут есть еще и подсказка на будущее. Слушайте: я могу попробовать освободить вас. Если вы пообещаете потом кое-что сделать.

– Что именно?

– Обезглавить его. Отрезать ему голову.

– И всё?

– Я не шучу. Я там у вас на кухне уже и нож подобрал.

– Это такое ваше условие?

– Да. Ради этого я готов рискнуть.

– Большой нож?

– Секач. Вроде топорика. В ящике стола.

– Вы тут сегодня с Сашей ничего не курили?

– Что? Я здесь даже не пью!

– А не похоже. Хотя я, кажется, понял: водевиль вам не подходит, и вы решили замахнуться на трагедию. Или уже сразу на мифы и легенды?

– А если и так? Разве я вам раньше этого не говорил? Решил. Да. И что? И не скрываю этого. Истребитель нимф должен пасть от руки героя. И вы можете им стать.

– Спасибо за доверие. Покойная Юля, значит, у нас тоже была нимфой?

– Она подруга Майи – значит нимфа.

– Логично. А нимфа чего – юго-западной железной дороги? или вообще путей сообщения?

– Вы уходите от ответа. Скажите прямо: вы согласны? Я, если придется, за вас горой буду стоять, костьми лягу... Скажу, вы нам с Майей жизнь спасли. Могу себе какие-нибудь увечья нанести, если понадобится...

– Вам, лектор, не худо было бы подлечиться. Это я уже серьезно говорю. И откуда такая кровожадность? Зачем вам Сашина голова? Что вы с ней собираетесь делать?

– Хорошо, перережьте ему горло. Я возражать не буду. Вонзите нож в сердце на худой конец. Он что – этого не заслужил? Убил одну, сейчас убивает другую...

– А сами не хотите попробовать?

– Я не герой. У меня другая миссия.

– Да, я помню. Пес-летописец жреческой породы.

– Боитесь... А знаете, что будет хуже всего? Самый плачевный вариант. Отдадите вы ему свои деньги, уедете, а это всё продолжится... Вот где ужас. Тихий беспросветный ужас. Ну что, может, действительно – мне его убить?..

– Идите спать. Поздно уже.

После ухода лектора Тягин еще долго не мог заснуть.

С самого начала сидения на цепи его одолевала какая-то чрезмерная пестрота впечатлений. Зрение точно расчистилось, взгляд стал некстати зорче. Было много новых разных, но совершенно ненужных мыслей и ощущений, которые, к счастью, бойко друг дружку вытесняли из памяти, даже как-то весело выщелкивали, и в этой недолговечности была единственная их ценность. Спасибо и на том. За три дня он как будто узнал всё, что только можно узнать, о Саше, Майе и лекторе, но казалось: задуши Саша сегодня Майю, потом лектора, и следом застрелись сам, Тягин забыл бы их одного за другим ровно в той же последовательности, по мере убывания. Бо-

дрое равнодушие – вот как назвал бы он свое состояние. Собственное невозмутимое спокойствие стало для него одной из самых больших неожиданностей. Должно быть, самопальная теория о вещей яви, о том, что яркие события, подобно некоторым снам, предсказывают будущее, не осталась лишь мимолетной фантазией, но исподволь его подготавливала. Недаром же он то и дело возвращался к происшествию в поезде и их с Сашей странному, словно они заранее узнали друг друга, перегляду. А еще все эти – уезжай, уезжай – сигналы от фельдшера, Глафиры и Тверязова. Предупреждая его с первых же дней об опасности, они одновременно приучали к мысли, что так просто здесь не закончится. Тут чувствовалось действие некой грозной силы, с которой, если уж пришлось – по неосторожности, беспечности или из любопытства – встретиться лицом к лицу, бессмысленно было тягаться. Как сказал бы, наверное, тот же Тверязов: тесная материя, будь она неладна. Сражение с ней невозможно, мужество здесь не поможет, еще раньше предупредил человек-свинья Василий. Теперь только оставалось досмотреть это кино до конца.

XXIX

В предыдущие дни Саша и Майя вставали рано (правда, потом в течение дня отсыпались) и вели себя довольно шумно. Этим утром Майя не появилась, не было слышно и её голоса, да и Саша, отправив после завтрака лектора за покупками, скрылся в спальне. В квартире стало необычно тихо. Даже телевизор работал в половину прежней громкости.

День был пасмурный, давящий, и Тягин то и дело задремывал над чтением. Это была единственная книга, которую нашел лектор под ножкой холодильника. «Лоция Мексиканского залива». Просыпаясь, он думал о разном. О Даше, например. Да, Даша. А что – Даша?

В жизни Тягина случались люди, о которых он в их отсутствие почему-то вспоминал с неприязнью и чего только не придумывал, а встречаясь, ничего из придуманного в них не находил. То же было и с Дашей. Какой только напраслины он на нее не возводил, когда ее не было рядом. При встрече все эти злые фантазии рассеивались, но только до следующего расставания. И вот впервые, да еще при такой долгой разлуке, ничего подобного не было. Не единой худой мысли. И того отчуждения, которое появлялось в Москве, стоило ему только выйти за дверь, тоже не было. А было, кажется, даже наоборот... Тут он себя остановил и, вернувшись ко вчерашним мыслям о собственном хладнокровии, дополнил их новыми размышлениями. Он подумал, что с этой квартирой, не раз вместе с ее обитателями проклятой его матерью, по-другому и быть не могло. Он ее не любил, никогда не считал своей, и такими же чужими и незаслуженными были бы полученные за нее деньги. Мысль, что добра они не принесут, явилась ему как давнишнее предчувствие, хотя не исключено, что она созрела лишь в эти дни. Так или иначе, убиваться об их потере Тягин бы не стал и, знай он наверняка, что Саша деньгами ограничится, а не вздумает еще и избавиться от него (как он вчера пригрозил, и где гарантия, что он не вернется к этой мысли?), и если бы всё еще можно было сделать так, чтобы не выглядеть лохом, безответным терпилой – ей-богу, Тягин, не раздумывая, отдал бы Саше их все, только бы подобру-поздорову выбраться отсюда. Конечно, можно было бы найти им применение и получше – издать книгу Тверязова, выделить Даше хорошие подъемные при расставании, да мало ли... Но опять-таки: сильно горевать по ним он бы не стал. Тягину даже казалось, что Саша это всё чует и потому так уверен в успехе своей затеи. И вот это, последнее, Тягина... задевало, что ли...

Громко хлопнула дверь спальни, он поднял голову. В проеме появилась Майя, и в следующее мгновение – видимо, её повело в сторону сразу от порога спальни – со всей силы ударилась лбом о дверной косяк комнаты. Удар был из тех, что валят с ног, да она бы и рухнула на пол, если бы за несколько секунд до удара не хлопнула входная дверь. В тот момент, когда Майя, повернув от удара лицо в комнату и беспомощно протянув руку, уже валилась навзничь, её подхватил подмышки подбежавший лектор. Она выпрямилась, но тут же мягко осела на подкосившихся ногах. Лектор опустился с нею на пол. Обнимая и поглаживая по голове, он посидел с ней, потом помог

подняться и повел в кухню. Что-то в тот момент дрогнуло в сердце Тягина. И эта беспомощная, протянутая к нему рука долго еще стояла перед глазами.

– А я всё жду, когда вы в очередной раз уйдете и не вернетесь, – сказал он лектору, когда тот через полчаса принес поесть.

– И брошу ее одну? Еще чего! Никогда. Неужели вам её не жаль? Посмотрите, во что она превращается. Он ее поит, а сегодня дал еще каких-то таблеток, которые ему принес Серый. Мразь.

Тягин пожал плечами, потом подумал и сказал:

– Лектор, а вы уверены, что в ней вообще когда-нибудь было то, что вы сейчас оплакиваете?

Тот поднял грустные глаза на Тягина.

– Уверен. Было. Всё было. Была нимфа, богиня... Пришел дурак в камуфляже и уничтожил. Знаете, что мне вчера предлагало это пьяное животное?..

– Лектор, прошу вас. Хватит с меня ваших историй. Без того тошно.

– Ладно. Тогда только еще одну.

И пока Тягин ел, лектор рассказал, как, отправившись сегодня за покупками, он решил зайти на Коблевскую, чтобы взять там пару своих тетрадей и кое-что из Майиных вещей. Следом за ним в парадную вошел какой-то парень и дошел до второго этажа. Лектор не обратил на него внимания. Но на обратном пути этот парень лектора там же, на втором этаже остановил и отвел в машину, где сидел человек постарше. Лектор сразу заподозрил что-то неладное и наврал ему, что он Майин дядя и, кроме того, преподаёт ей у себя на дому сценическую речь. Вот уже два урока Майи не было, телефон её не отвечает, и он пришел узнать, в чем дело. В общем, наболтал первое, что в голову пришло. Человек стал спрашивать его о знакомом Майи, Саше. Лектор сказал, что ничего о нем не знает, и такими секретами Майя с ним не делится. Они дали лектору визитку – пустую карточку с телефоном и попросили сообщить, если Майя появится. Человек, с которым лектор разговаривал, его поразил.

– Ух и страшный, скажу я вам. Смотришь и каменеешь. Просто Медуза Горгона в мужском обличье. Когда давал мне визитку, сказал такую фразу: «Если что, позвоните, не пожалеете. А если не позвоните – пожалеете». Но лицо у него! Страх и ужас. Я думаю, что это связано с Юлей.

– Скорее всего, – согласился Тягин. – Тогда чего вы ждете – звоните.

– Вот только бандитов здесь не хватало! Вы думаете, Майя не поймет, как они тут появились? Она меня сразу же проклянет.

– Да вы достали своими проклятиями! Тут уж кажется не до жиру, тем более вам ясно сказали: не позвоните – пожалеете.

– И не уговаривайте. Нет!

– Поймите, ему все равно гулять недолго. Рано или поздно они с Майей вернутся к ней на Коблевскую, а там его будут ждать.

– Нет!

– Тогда к чему вы это мне рассказали?

– К тому, что я вам ночью предлагал. Неужели вам не хочется отомстить за унижение? Пока это еще возможно.

– Опять вы со своей поножовщиной?

– А потом мы позвоним этим людям. Они еще отблагодарят вас за то, что вы за них сделали их работу, и помогут избавиться от трупа.

– Лектор, вы идиот. Извините.

Лектор ушел, а Тягин вновь открыл лоцию.

Филипп позвонил только в седьмом часу.

– Ха-ха-ха! С нашим клиентом-путешественником не соскучишься! Телефон у него наглухо отключен. Так что опять переносимся. На послезавтра! – еще веселее, чем вчера, даже с каким-то восторгом сообщил он и попрощался.

Сидевший на корточках с телефоном Саша поднялся и ударил лектора в грудь. Падая, лектор стукнулся головой о буфет. Саша вышел. В спальне громко заработал телевизор. Лектор всё это время сидел на полу.

– Видели? – наконец произнес он с некоторым удивлением. – А если завтра опять перенесут? А если вообще отменят? Что тогда?

– Это вы меня спрашиваете? – нехотя отозвался Тягин.

Опираясь на буфет, лектор поднялся и, оправляясь, пошел из комнаты. Саша ударил его один раз, но он был взъерошен и расхристан так, будто его били ногами.

– Стойте, – окликнул его Тягин. – Вы когда меня освобождать собирались, как это себе представляли? Технически.

Лектор, остановившись, с недоверием глядел на Тягина.

– Ну! – сказал тот. – Или всё это были одни разговоры?

Лектор подошел, сел на стул и склонился к Тягину.

– Очень просто. Он спит, как убитый. А шнурок с ключом у него на шее, видели? Можно снять. А еще лучше ножницами – чик и всё. А что?

Тягин молчал. Лектор ждал. Наконец Тягин спросил:

– Я так понимаю, вы ничего не знаете о красном платье?

– О красном платье?

– Да.

– А что это?

– Красное платье.

– Одежда?

– Ну а что ж еще?

– Откуда мне знать? Может быть, это название какой-нибудь азиатской казни...

Тягин усмехнулся.

– Ладно, слушайте.

Пока Тягин говорил, у него было странное ощущение, что он так же, как и лектор, слышит это впервые. План действий как бы рождался одновременно с его изложением. Казалось, вот еще мгновенье назад и мыслей таких не было, а тут они уже выговаривались как заранее заготовленные, гладко и без заминок. Несколько раз лектор прерывал Тягина восклицаниями: «Грандиозно! Какой восторг!», а когда тот закончил, с полминуты молчал, как будто у него отнялся язык. Наконец заговорил:

– Слушайте, да вы же настоящий художник, у вас дар! Это, конечно, не то, на что я рассчитывал, но... очень красиво! Безумно красиво! А там, где говорит красота, всё остальное умолкает.

– Я так и думал, что вам понравится.

– И знаете, где его лучше оставить? – воскликнул лектор, выставив указательный палец и нетерпеливо передернув ногами. – Вы только начали, я уже знал. Не в парке. Ни в коем случае! Под Приморским бульваром – вот где. Знаете, там есть грот? грот Дианы? Только там! Накроем чем-нибудь теплым, чтоб не околел...

– Грот Дианы? Никогда не знал, что он так называется.

– Ха! Теперь вы видите, как всё это может заиграть?! Он будет бежать от преследователей, как тот Актеон, помните?..

Тут в спальне раздался звонок тягинского телефона, и лектор бросился прочь, на кухню. Торопился он зря – телефон еще долго продолжал звенеть. Наконец звонок стал приближаться. Но, когда пьяный заспанный Саша, качаясь, появился в дверях, звонок смолк. Саша замер, уставившись на телефон. Через несколько секунд телефон зазвонил опять, и Саша возобновил движение. Тягин услышал пугающе-веселый голос Филиппа:

– Михаил, алло! Вы слышите? Алло! У нас всё на мази. Он приехал. Завтра в одиннадцать, как договаривались. Алло!..

– Да, я слышу, – отозвался Тягин. – Это точно?

– Сто процентов. Я сижу у него в номере. В «Лондонской». Не хотите к нам присоединиться?

После разговора с Филиппом Саша вышел из комнаты, и Тягин слышал, как он звонил Серому и договаривался встретиться завтра в половине одиннадцатого на углу Пушкинской и Греческой. Вернувшись в комнату, Саша заставил лектора пересадить Тягина.

– Может, выпьем? – предложил Тягин. – А то я без стакана теперь и заснуть не могу.

Саша усмехнулся и сел, едва не промахнувшись, на стул.

– Еще вспоминать будешь, как мы здесь квасили. Щас сделаем.

Посидев, он принес из кухни бутылку, они выпили. Но разговора на этот раз не получалось, и Саша скоро ушел. Минут через десять после его ухода осторожно появился лектор.

– У нас всё остается в силе? – спросил он.

– Разумеется, – ответил Тягин, но не сразу, поколебавшись.

– Слушайте, это так хорошо, что я нервничаю, дрожу весь. Пойду опять на кухню, соберусь с мыслями. Чаю выпью.

Проснулся Тягин от того, что рядом возился лектор.

– Вы свободны, – сказал он. – Вставайте, быстрее...

– Как это я заснул? – удивился Тягин.

– Я ему в водку этих таблеток намешал, – сказал лектор. – Я же не знал, что вы будете её пить... В такой момент!

– Он спит? – спросил Тягин.

– Все спят! Вставайте, ну что ж вы! А где мы сейчас возьмем красное платье?

– Это моя забота.

– Ну вставайте же!

Тягин поднялся, постоял и пошел в кухню.

– Вы куда?! – паническим шепотом спросил лектор.

Тягин не ответил. Тело как будто само по себе праздновало освобождение и наслаждалось им, и в то же время было ощущение неуверенности, неприятное ожидание, что в любую секунду может подломиться та или другая нога, а то и обе вместе. Он поставил лектора в коридоре так, чтобы тот видел двери спальни и был при этом в поле зрения. Запоздало понимая бессмысленность этой предосторожности, Тягин достал посылочный ящик с антресолей, а из него парабеллум. Пока он заряжал обойму, с него слетели остатки сна, напало волнение и затряслись руки. На четвертом патроне он спохватился и подумал, что весь-то магазин заполнять необязательно и, вставив пятый, остановился. Прихватив картонную коробку с ампулами и шприцом, вернулся в коридор. Лектор, увидев пистолет, хотел что-то сказать, но тут в дверь тихо постучали. Первой же мыслью Тягина было: если сейчас не открыть, то постучат еще раз, громче, а то и позвонят. И он, сунув пистолет и коробку лектору, бросился к двери. За порогом стоял Клименко-Канавин.

– Прости, Миша... – начал он.

Тягин втащил его в прихожую и быстро провёл в кухню. Усадив за стол, вытянул из холодильника водку и поставил перед ним.

– Сиди здесь тихо.

Лектор ждал его у порога спальни. Они вошли. Тягина сразу же поразило, насколько она загажена. Когда-то он делал серию репортажей о бомжах, и спальня сейчас напомнила ему их лежбища. Пластиковые бутылки, пакеты, обертки, коробки от пиццы... Омытая голубым свечением телевизора, Майя лежала на спине без ничего, широко, в раскоряку раскинувшись, отбросив одеяло и оттеснив любовника к самому краю; её приподнятая на подушке голова была наклонена вперед, отвисшая челюсть упиралась в грудь, но рот был закрыт, и это придавало лицу чрезвычайно тупое выражение. Саша лежал на животе.

Тягин вспомнил про парабеллум, отложил коробку с ампулами на телевизор, взялся за круглые ушки затвора и потянул было вверх и назад, но в последнюю секунду передумал. Сунув пистолет в карман, он взял с табуретки сковородку, под которой обнаружился роман Тверязова, и, держа ее наготове, стал левой рукой доставать из кобуры у Саши на поясе пистолет. Судя по чугунной неподвижности спящего, он мог бы делать это и с меньшей осторожностью. Достал. Затем отыскал свой телефон, взял коробку с ампулами с телевизора и пошел из спальни. Лектор бросился за ним.

– А укол?! – шепотом прокричал он.

– Сейчас, – ответил Тягин.

Всё изменилось. И не только потому, что спящий Саша теперь был безоружен. Давало о себе знать долгое сидение на привязи. Огромное удовольствие доставляла возможность вот так свободно ходить по квартире, туда-сюда. Было еще сильнейшее ощущение куража, фарта. «В таком состоянии выигрывают состояния, хе-хе». Он готовился к тому, что все будет происходить в большой спешке, без времени на раздумья, и собирался сразу вколоть Саше пол-ампулы морфия, но теперь решил проконсультироваться и из комнаты позвонил фельдшеру. «Ты еще не уехал?», – ворчливо спросил тот. Говорил Тягин в полный голос и поймал себя на мысли, что ему даже хочется, чтобы Саша проснулся. Было бы интересно посмотреть, как он себя поведет. Впрочем, нет, не надо. Ему все равно придется избавляться от гостей, и лучше, чем он распланировал, придумать трудно. Успокоив старика фельдшера сообщением, что днем уезжает, он попросил совета насчет дозы. Сказал, что нужно обездвижить как можно надольше одного буйного товарища. В дверном проеме, трясясь и гримасничая, ждал лектор. Фельдшер отговорил от морфина и посоветовал другой препарат, который должен был быть в той же коробке и название которого Тягин никак не мог повторить, но каким-то чудом нужную ампулу все-таки отыскал. Попрощавшись с фельдшером, набрал шприц. Его продолжала распирать веселая энергия, желание ходить по комнате, вот просто разболтанно расхаживать туда-сюда, чуть ли не петь, и на этом разгоне он прошел в спальню. Лектор забежал вперед, схватил сковородку и встал в изголовье у Саши, держа её двумя руками на отлете, как теннисную ракетку. Тягин рывком оттянул вниз штаны на Саше, отбросил майку и чуть ли не с размаху вогнал иглу в верх ягодицы. Саша только медленно заелозил ногами, что-то промычал и перевернул лицо с одной щеки на другую.

– Всё, – сказал Тягин, попятившись. – Давайте, займитесь Майей.

Пока он искал в ящике письменного стола ключ от чердака, лектор поднял Майю, и та, одурело тараща глаза, что-то бормоча, поползла по комнате, хватаясь за предметы. Лектор остановил ее, посадил и стал одевать.

– Что он с тобой сделал... – сокрушенно шептал он.

Тягин тем временем опять вышел в комнату, позвонил Хвёдору и приказал ему приехать. Потом прошел на кухню, к Клименко. Тот спал, откинувшись и решительно отворотив лицо к окну, словно его усыпили крепкой пощечиной. Тягин разбудил его, поднял и повел в прихожую. В то же время из спальни показались лектор с Майей. Увидев, что она босиком, лектор бросился обратно за обувью. Брошенная Майя, чтобы удержать равновесие, чуть откачнулась назад, а когда качнулась вперед, её, как зачарованную, повело к уже знакомому ей дверному косяку. С Клименко под руку Тягин метнулся к ней и в последний момент схватил за плечо. Оказавшийся лицом к лицу с Майей гость из Канавы встрепенулся, поймал её безвольную руку и потянулся целовать. Ему помешал лектор, который увел Майину ладонь у него из-под носа и посадил свою нимфу на шкафчик для обуви. Пока он надевал на неё ботинки и завязывал шнурки, Тягин выпроваживал Клименко.

– Это тебе на Крым. Не потеряй, – сказал он, засовывая ему во внутренний карман плаща деньги.

– Миша, дорогой... Вот всегда, веришь, вот всегда знал, что ты... – Клименко расчувствовался, обнял Тягина. – Давай и ты в Крым, а? Приезжай. Я там сто лет не был. А ты?

– Я тоже.

– Встретимся в Гурзуфе, например. Или лучше в Новом Свете. Помнишь? Грот Шаляпина, Рай и Ад, Царский пляж, Машка... Помнишь Машку?

– У тебя много женщин было, всех не упомнишь.

– Собаку Машку, рыжую. Возле продмага каждое утро встречала. Или это было в Феодосии? Феодосию помнишь? Давай, а? Этим летом в Крыму.

Наконец Клименко ушел, и к двери подошли лектор с Майей.

– Но только я вас умоляю – в грот его! Только в грот, только в грот! – повторял лектор, держа за талию спящую Майю. – Пожалуйста! В грот!

– Лектор, тише! Или отойдите от двери. Соседи услышат, черт-те что подумают!

– Вы скажите: вы обещаете?

– Обещаю. Давайте визитку.

Лектор отдал Тягину визитку с телефоном и предложил:

– А хотите, я вам помогу? Сделаем вид, что тащим пьяного товарища, тем более, что так оно и есть...

– У меня найдется, кому помочь. Ступайте. Всё. Нечего вам здесь больше делать.

– Может, нам лучше пока остаться?

– Идите. Я никого из вас видеть уже не могу, если честно. Идите по-хорошему.

– Но вы точно обещаете?

– Точно. Красное платье, грот Дианы – всё как договорились. Вам советую отвезти всё-таки Майю к себе. Приводите её в порядок, никуда пока не отпускайте и берегите ее прекрасную голову от косяков. Во всех смыслах. Идите.

Когда лектор с Майей ушли, Тягин поднялся на чердак. Там он вкрутил новую лампочку и осмотрелся. Когда-то здесь, на отгороженной кирпичной стеной части отец собирался строить мансарду, но успел только до половины постелить пол.

Приехавший Хвёдор вёл себя как шелковый: никаких расспросов, сплошное послушание.

– Что с ним? – всего-то и спросил шурин, увидев Сашу.

– Всё нормально. Пьяный, заблудился, спит.

«А хорошо ему повестка мозги прочистила. Военный комиссар получше любой ворожеи будет». После неряшливой суеты с лектором, Майей и Клименко, их с Хвёдором совместные действия порадовали Тягина немногословием, слаженностью и быстротой. Только когда тащили Сашу наверх, его посетила неприятная, дурацкая мысль, что он возится теперь с бесчувственным телом Саши еще и потому, что ему в свое время не пришлось ходить здесь за одиноким больным отцом.

XXX

Минут за сорок до отхода поезда Тягин сидел в круглом сквере перед вокзалом. Давно он так не уставал, но вот, наконец-то – всё. Оставалась только встреча с Тверязовым. Саша на чердаке, возможно, уже проснулся. Или вот-вот.

Тягин достал из кармана список, который он – помывшись, побрившись – составил после ухода Хвёдора, чтобы ничего не забыть и не тратить зря времени. По мере выполнения вычеркивал пункт за пунктом.

Утром, впервые оказавшись на улице, он удовлетворено заметил, что теплее за эти дни не стало и даже, кажется, похолодало. То есть погода была в самый раз. Начал с самой дальней точки, с фельдшера. К нему Тягин забежал попрощаться и оставил у него посылочный ящик со всем содержимым. И немного денег, которые он ловко сунул под шахматную доску. Фельдшер опять-таки ни о чем его не спрашивал, только поинтересовался:

– Билеты есть?

Тягин соврал, что есть.

Следующим пунктом была мастерская по пошиву снайперских нарядов. Оттуда Тягин направился в сторону дома, но по дороге еще забежал в первый же попавшийся на глаза магазин женской одежды. После из машины позвонил Тверязову, собираясь завезти ему прихваченную с собой рукопись. Тот сказал, что сейчас не дома и пообещал приехать на вокзал к отходу поезда. Тягин попенял ему за единственный экземпляр и посетовал на то, что и сам не сделал копии, всё откладывал-откладывал, а теперь уже вряд ли успеет.

– Я, кстати, придумал финал, – сказал Тверязов. – Фому и Фому забирают в участок, они встречают там Сыча, и это, конечно, он стащил у них в подвале рукопись, когда они спали. За

ними приходят их женщины: Вера, Маша и Марина, и они все вместе, вшестером, веселые выходят из участка. А на улице осень, октябрь, ясное синее небо, и над городом пролетают журавли.

– Очень хорошо. Обязательно напиши! Только не тяни. И можешь мне поверить – у тебя будет книга. Я обещаю.

Тверязов что-то промычал на это, а потом сообщил, что несколько дней назад сгорел двор Георгия. Во время пожара, спасая животных, погиб человек-свинья, на него рухнула галерея.

– Его звали Василий, – помолчав, сказал Тягин.

– Да, я знаю. Василий.

– Царствие Небесное.

– Оно самое. До встречи.

Дома Тягин сразу взялся за дело. Купленное им длинное с длинными рукавами и с воротником рельефной вязки красное платье было немного не того оттенка, ближе к вишневому, зато теплое, шерстяное, как он хотел. Оно оказалось не из дешевых, но искать другое не было времени; столь ранней торопливой покупкой он, кстати, немало подивил продавщиц. Тягин обрезал на глазок подол, так чтобы платье доходило Саше до середины бедра, отрезал воротник, после чего поднялся с покупками на чердак. Там он раздел Сашу донага и натянул на него платье, а сверху снайперский костюм – штаны и куртку с капюшоном. Снятую одежду, кроме ботинок, сунул в кулек. Спать Саше оставалось часа три-четыре. Между делом Тягин гадал, что приготовил Саше в своих фантазиях лектор. Ведь не зря же он повторял, как заведенный: «в грот, в грот, в грот». Что он напишет в своих записках, вдохновившись тягинским обещанием? Куда погонит сатира-душителя с льняной бородкой, когда тот, проснувшись в гроте Дианы, услышит голоса пришедших по его душу и выскочит вон? Какой выберет маршрут? Заставит сначала пометаться по близлежащим достопримечательностям, чтобы красное платье эффектно полыхнуло на Потемкинской лестнице, между каштанами бульвара, у Воронцовской колоннады, на Тещином мосту, а потом погонит к Большому Фонтану? Или к Жеваховой горе? Охота может затянуться надолго, даже не на один день, и её успешным завершением наверняка дело не кончится. Обезображенное тело истребителя нимф рано или поздно будет выброшено брезгливым Посейдоном на Аркадийский берег, но его неприкаянная тень в неснимаемом красном платье навсегда поселится на одесских склонах. Как-то так. Хотя, возможно, лектор придумает что-то позатейливей, и с еще б´ольшим размахом. Уж он постарается, можно не сомневаться. Намерения Тягина были куда скромнее: привести Сашу на Коблевскую, устроить так, чтобы он пришел туда сам. И поскольку проверять, какой будет настоящая развязка, Тягин не собирался, его задачей было сделать всё, чтобы хотя бы в его собственном воображении не осталось места для иного хода событий. Именно для этого, а не из желания поглумиться над Сашей на всю катушку, как скорее всего тот подумает (и пусть подумает), понадобился снайперский костюм. Одетому в одно лишь платье Саше не останется ничего другого, кроме как, опоясавшись им, постучаться к кому-нибудь из соседей, рассказать, что его ограбили, раздели, заполучить телефон, а то и выпросить что-то из одежды. А вот снайперский костюм с самого начала предложит иные поиски выхода и в том числе даст надежду на возможность как-нибудь добраться до Майи. Платье в таком путешествии будет совсем не лишним. Плотной вязки, мягкое, теплое – кто ж откажется от него в эту погоду и выйдет на улицу в одной холодной, сквозной, сплетенной из капрона и джутовых нитей одежде? Решение придет, конечно, не сразу. После пробуждения Саше предстоит долго гадать, что произошло, и любимый его вопрос: «Я не понял?» наконец-то прозвучит по существу и не один раз. Поводов будет достаточно – место пробуждения, костюм, платье под ним. Сначала он попытается определить, где находится, и осторожно выйдет на лестницу. Узнает ее, сойдет на площадку, позвонит в тягинскую дверь, вернется. Какое-то время будет надеяться, что вот-вот появится кто-то (а кто бы это мог быть?) и объявит всё розыгрышем. Так дотянет до темноты, а то и до глубокого вечера. В конце концов, одурев от неизвестности, намучившись похмельной жаждой и головной болью, не на шутку проголодавшись, всё же решится. Затаив дыхание, торопливо спустится вниз. Выскочит во двор. Там метнется в темную подворотню. Постоит, поглядит по сторонам. И – отдышавшись,

выбрав момент – отправится в путь: крадучись, короткими перебежками, надолго замирая в густой тени между машинами, прикидываясь то кустом самшита под деревом, а то и кучей мусора у переполненного контейнера... (Хм, а ведь безумный снайпер, по ночам ищущий возлюбленную, тоже недурной кандидат в фольклорные герои.) И даже если лектор, как обещал, увел Майю к себе, и в окнах на Коблевской не будет света, Саша всё равно пойдет туда: в знакомом месте и стены помогают. К тому же там есть кухня, где можно напиться, а заодно поискать что-нибудь подходящее, чтобы вскрыть дверь в Майину комнату. Когда его возьмут – там или чуть раньше, на лестнице – и ему станет понятно кто это, он наверняка начнет со всей страстью рассказывать, что знает настоящего убийцу, что он его нашел и поймал, но в последний момент упустил, и если дать ему возможность, он его непременно найдет опять, однако вряд ли его слова будут уже что-то значить, когда перед отцом Юли с него стянут маскировочный костюм.

Вот так в законченном виде будет выглядеть эта история уже завтра, когда Тягин выйдет из вагона на Киевском вокзале в Москве. Переодев Сашу, он осмотрел чердак на предмет случайных тряпок, которыми можно было бы прикрыться вместо одежды и, не запирая его на замок, спустился к себе. Здесь он оставил на столе вторые ключи от квартиры, записку с извинениями и под ней деньги на уборку. По дороге на сделку разбросал по мусорным контейнерам пакеты с вещами Саши, его документами, в которые даже не заглянул, с телефоном, из которого на всякий случай вытряхнул внутренности, и разрозненными частями отобранного «Макарова». Счастливому новому владельцу квартиры, чтобы тот не сунулся в неё сегодня же, Тягин за бокалом шампанского после завершения сделки сказал, что уезжает лишь послезавтра. Этот на редкость жизнерадостный человек соглашался на всё. Повезло Тягину и с проводником. Тот оказался дома и одним звонком в пять минут устроил два места в поезде.

– А знаешь, кого я неделю назад видел в городе? – спросил Иван, принимая от Тягина небольшое вознаграждение. – Нашего хлопчика в красном платье. И знаешь, с кем?

– Знаю. Я тоже видел.

– Я же говорил, что это туфта. Он уже с бородкой, в камуфляже, берцах, всё как положено. Молодец парень. Соображает. Теперь его такого героя возьми, попробуй.

Тягин усмехнулся.

Последним в его маршруте был адрес Абакумова. Они встретились внизу, у подъезда. Вытянув из кармана конверт, Тягин набрал воздуха в грудь и как можно быстрее выложил мрачному молчаливому Абакумову свое предложение.

– Вот, – сказал он. – Это деньги, которые ты мне принес. Половину взяла Мальта, и я доложил свои. Можешь половину оставить себе. Но вторую отдай, пожалуйста, Саше Тверязову. Хочешь сам, хочешь через кого-то, но только отдай, очень тебя прошу.

Не проронив ни слова, Абакумов взял конверт и ушёл.

...До отхода поезда оставалось чуть более получаса. Пора было идти на вокзал. Тягин смял список и бросил в урну. Оставалось выполнить последний пункт: позвонить по номеру на визитке и предупредить человека со страшным лицом о появлении вечером на Коблевской Саши. Тягин придумал немногословное грубоватое сообщение. Если спросят, кто говорит, скажет: Серый. Тягин встал, подхватил рюкзак, достал визитку. Он загадал: будет в номере последней четная цифра – позвонит. Оказался ноль. Тягин бросил визитку в урну и пошел на вокзал.

XXXI

Хвёдор ждал у входа на платформу. Вещей у него было порядочно, но меньше, чем думал увидеть Тягин. Порекомендованный Иваном проводник назвал им номер купе. Хвёдор прошел в вагон, а Тягин остался ждать Тверязова; телефон его не отвечал.

Из общей толпы уезжающих и провожающих прямо на него вышел художник Руденко в распахнутом пальто.

– О! – произнес он, протягивая руку.

Рядом с ним встал двухметровый парень с перемазанными краской кудрями, в синем комбинезоне, с необъятной брезентовой торбой, полной свернутых холстов.

– Вот решил смотаться на разведку. Только давай без комментариев, – предупредил Руденко и накинулся на носильщика, потянувшего торбу с плеча. – Бобик, в чем дело! Вагон четыре, место двадцать восемь! Вперед!

Он сунул Бобику в нагрудный карман билет и повернулся к Тягину.

– А слышал: Мальта теперь живёт с Кишинёвером? У Бурого.

– Разве Бурый его не прогнал?

– Пока нет. Кишинёвер ему какую-то свою поэму посвятил. У него их много. А эта еще и оберег. Поэма-оберег. Ну ты понял. Говорят сюда его жена приехала. Кишинёвера. Так что Мальта там держит оборону.

– А, ну да, она же семейный психолог, кажется... – в тон ему произнес Тягин.

– Вот именно. И я считаю, что пока она живет у Бурого, оберег будет работать, согласен?

У Тягина зазвонил телефон.

– Ладно, – сказал Руденко, – еще увидимся. Посидим в вагоне-ресторане, поболтаем...

Звонил Тверязов, который сказал, что приехать на вокзал не сможет.

– Вот ты даешь! А как же рукопись?

– Как-нибудь потом передашь. Или вышлешь. Мне всё равно сейчас не до нее.

– Ладно. Может, целее будет. И про финал не забывай. Насчет издания я не шутил.

– Значит, ты и Фёдора забираешь? – спросил Тверязов.

Тягина словно по сердцу полоснуло. О том, как Тверязов истолкует отъезд Хвёдора, он – надо же! – ни разу не подумал. А, собственно, как еще Тверязов должен был истолковать? И Тягину так захотелось его утешить, обнадежить, как-то намекнуть на истинный смысл своей затеи, не раскрывая её, что он даже начал искать слова, будто это и в самом деле было возможно.

– Ну, как тебе сказать? Что значит, забираю... я...

Замешательство было как-то связано еще и с недоумением, которое преследовало его с тех пор, как он, очнувшись после удара бутылкой, первым делом вспомнил Дашу. За этим таилось, точно пряталось в густом тумане, что-то, к чему он не решался приближаться, но присутствие чего ни на минуту не переставал ощущать. Что-то тут было еще не закончено. И он еще надеялся, что это какой-то временный сбой, вызванный слабостью и последними потрясениями, и надо только сесть и всё хорошенько обдумать...

– Когда приедешь в следующий раз? – спросил Тверязов, так и не дождавшись объяснений.

– Не знаю.

– Приезжай осенью. Лучше в октябре месяце. Когда вся наша южная природа облачится в свой неизъяснимо прекрасный камуфляжный наряд! – произнес Тверязов несколько нараспев и издал короткий смешок.

– Посмотрим.

– Мне повестка пришла.

– Как?!

– Так. Принесли.

– И что будешь делать? – осторожно спросил Тягин.

– Не знаю. Может, в село поеду.

– Потерпи, скоро всё это кончится.

– Ага.

– Я серьезно. Увидишь, скоро всё изменится. Потерпи.

Перед тем как войти в вагон, Тягин оглянул серое низкое небо с едва заметным движением на юг, скользнул взглядом по вокзальным строениям. С каждым приездом-отъездом когда-то яркий, шумный, почти необъятный мир этого города становился всё меньше, глуше и невзрачней. То же было и теперь. Через год-другой помрёт старик фельдшер, останется здесь один Саша Тверязов, и вряд ли Тягин поедет сюда ради него. Так что: прощай, до нескорого.

Когда он вошел в купе, Хвёдор уже деловито разворачивал один за другим свертки с едой.

– Давай, садись. Впереди дальняя дорога, надо подкрепиться, – сказал он.

Тягин отказался и полез на верхнюю полку.

Спать, как ни странно, совсем не хотелось. Тело – да, даже ломило от усталости, а голова была свежей, хотя и неприятно легкой. Тягин, однако, чувствовал, стоит ему только заснуть – и его уже не добудишься, и проснется он только завтра, где-нибудь на подъезде к Москве. Лучшим снотворным для него с некоторых пор было чтение, и с собой он прихватил роман Тверязова. Устроившись поудобней, поднял колени, разместил на них рукопись и включил над головой лампочку. Поезд тронулся. Тягин глубоко, протяжно вздохнул, нашел нужную страницу, и уже через минуту-другую, уронив голову набок, спал.

***

Я, кажется, где-то упоминал, что Фома до своего ухода в затвор был довольно известной личностью в городе. И стоило ему только вернуться в мир, как опять потянулись разные старые знакомые, просто знакомые, полузнакомые, а за ними и вовсе незнакомые люди, привлеченные главным образом слухами о его каком-то несметном богатстве.

Вот и сейчас перед нами сидел очередной такой соискатель – ни много ни мало, руководитель одной набирающей популярность секты, который мне не понравился сразу же, как только я его увидел. На вид ему было лет тридцать, и был он ярким представителем крайне неприятного мне разряда людей, что сразу же ставят собеседника в неловкое положение своей тотальной всеиспепеляющей иронией. Терпеть таких не могу. И вот с таким подходцем он собирался слупить с Фомы деньжат. Хотя... почему нет? Фома и не таким давал. Чем, собственно, и прославился.

Тут необходимо пояснение. Года полтора, а то и все два назад мое внимание стали привлекать уличные надписи, в которых неизменно фигурировал некий Адам. С каждым месяцем их становилось всё больше и больше. Они встречались везде: на стенах домов, в подъездах, на грязных боках автомобилей, в общественном транспорте, в дворовых сортирах и в прочих самых разных местах. Надписи были такие: «Адам, остановись!», «Адам, не делай этого!», «Даже не думай, Адам!», «Адам, не дури!», «Адам, завязывай!», «Адамчик, умоляю, не надо!» и прочие в таком же духе, от требовательных до просящих. Сначала я подумал, что это пишет какая-то свихнувшаяся от неразделенной любви девица. Потом один наш с Фомой бывший коллега по работе на радио сообщил мне, что в городе появилась новая секта «адамово яблоко» или, как их еще называют, «адамиты», а еще «яблочники», но что это за секта и чем занимаются её члены, он не знал. Забегая вперёд, сразу уж расскажу в двух словах и суть учения адамитов, о котором я в конце концов кое что прослышал. Она примерно такова. Весь наш мир есть разворачивающаяся перед мысленным взором ветхозаветного Адама картинка, рожденная в его воображении запахом яблока с древа познания, которое (яблоко) он поднес ко рту и вот-вот готов надкусить. То есть он видит все, что начнется и будет происходить в известной временной последовательности, если он укусит яблоко, иными словами, всю мировую историю. Но поскольку добра и зла он не различает, то и не может уловить никакого смысла в увиденном, а просто заворожен его красочностью, как своего рода фильмом. И вот задача «адамитов-яблочников» остановить Адама, чтобы он ни в коем случае не надкусил яблоко, и чтобы то, что только представляется ему в его воображении, не начало происходить на самом деле. Для этого они сначала должны убедить весь мир в это поверить, ну а потом уже всем миром, как говорится, придумать способ отговорить Адама от губительной затеи. Послать ему внятный доходчивый сигнал. Одним из вариантов, например, были искусственные острова в открытом океане, насыпанные в форме страстного обращения человечества к своему прародителю.

Всё это я еще раз услышал из уст нашего гостя. До Фомы однако его рассказ доходил туго. Выслушав краткое изложение учения адамитов, Фома вполне резонно поинтересовался: а что если Адам таки надкусил яблоко и все уже происходит на самом деле? Главный адамит сказал, что такое не исключено, но если это все-таки пока картинка, при шансах пятьдесят на пятьдесят имеет смысл побороться.

При этом он (руководитель секты) сидит такой весь приглаженный, напомаженный, при галстуке, очень, как я уже говорил, ироничный, очень. Ирония касается всего: ситуации, в которой он находится, нас с Фомой, желания получить деньги, и даже его учения и его самого.

Фома, опять как будто упустивший в своей глубокой задумчивости самую суть, недоуменно бормочет: «И всё-таки: да или нет? То есть... (опять задумывается, и – вскинув голову) я так ни хрена и не понял: Адам надкусил яблоко или нет?! (отмахивается от моей заботливо протянутой – «Фома, не заводись...» – руки) Да или нет?»

Снисходительный ответ сектанта:

«Ну конечно же нет! В том-то и дело».

«В чем дело?»

«В том, что не надкусил. Только собирается. Лучше считать так».

«Кому лучше?»

«Всем нам. Чтобы не допустить возможного повтора».

«А не проще ли считать, что это уже он и есть? Повтор».

«Конечно проще. Всегда проще ни о чем не думать и ничего не делать. Плыть по течению».

«Я правильно понимаю, что если я вам дам деньги, а у вас не получится и все повторится, то я вам буду давать их еще раз?» – спрашивает Фома гостя.

«Ну... выходит, что так... если не получится», – несколько обескуражено отвечает тот.

«Значит, и не исключено, что если я сейчас дам вам деньги, то дам их уже во второй раз, потому что в первый у вас ничего не получилось, так?»

«Вроде так... Но...»

«Так не лучше ли мне вам их не давать? Оно и логичней. Потому что, во-первых, это значит, что в случае неудачи я вам не буду давать их еще раз, а во-вторых, это еще может значить, что я их вам не давал и в первый раз, если он был, и значит правильно и сделал, если вы тут опять сидите и просите. Тем более что в этот раз предпринимать уже что-то поздно – Адам яблоко надкусил».

Ироничный проситель, кажется, несколько опешил от такой коварной логики Фомы. Иронии, во всяком случае, в нем поубавилось. Однако сдаваться он не собирается:

«Но я же говорил, что Адам еще не надкусил яблоко ...»,

«Вы говорили пятьдесят на пятьдесят», – напоминает ему Фома.

«Я лишь допускал такую возможность».

«Вот и напрасно. Надо было настаивать на своем. Сослаться на какие-то источники, откровения...».

«Хорошо, я настаиваю».

«Поздно».

«И тем не менее, я настаиваю. И – да, есть такие откровения. Я потом как-нибудь принесу».

(ишь как заговорил!)

«Так на чем вы настаиваете? Поясните, пожалуйста».

«Пожалуйста, но... Но я же вам уже сказал: Адам только принюхивается».

«Ах, он принюхивается...»

«Он принюхивается».

«К чему же он принюхивается, собака?»

«Помилуйте, да я же только что объяснил!»

«Ничего страшного. Объясните еще раз».

«Фома, не нервничай... – говорю я. – Будет тебе».

«Что? Как же тут не нервничать?»

«А ты постарайся».

«Где они только берутся все...»

Фома тяжело вздыхает и на некоторое время устанавливается мертвая недобрая тишина.

«Значит, всё это повторится, говоришь?» – наконец хмуро спрашивает Фома.

«Увы», – отвечает гость.

«Точь-в-точь?»

«Совершенно верно: один в один».

«Вот и хорошо».

Фома вдруг хватает с пола за спиной бутылку вина и запускает ею в гостя. Слава Богу, он промахивается, и бутылка, коснувшись стены, словно взрывается. По всей комнате разлетаются осколки, брызгает вино. Гость вскакивает.

«Вон отсюда! – ревёт Фома. – Сгинь!»

И, не глядя, на ощупь ищет за спиной вторую.

Вбегает Марина.

На этом месте рукопись покойного Александра Тверязова обрывается.

Елена МИХАЙЛИК

***

В новом сладостном вкусе
не так уж сложно растить еду,
у Маруси гуси –
чудо на гусеничном ходу,

пушечные сферы,
чуткие края смотровых щелей,
тот, который серый,
смотрится существенно веселей,

мне бы эти крылья,
красные глаза, вертикальный взлет,
сказка станет былью,
но в темноте меня не найдет,

там над приболотьем –
отблеск зрачка, дыханье огня,
сказка станет плотью,
но в темноте не найдет меня,

ни за какой рекой...

что б не жить Марусе? –
ходит над речкой огненный вал –
возвратятся гуси,
каждый притащит, что заклевал,

страны и народы,
горы, автобусы, облака,
выходы и входы,
меру, и всадника, и стрелка,

мелкую планету,
автора, да нет, пожалуй, творца,
есть конец у света –
только у сказки нету конца...

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ.С 1993 г. живёт в Сиднее, преподает в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии, тема диссертации «Варлам Шаламов: поэтика новой прозы». Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Лауреат Первого австралийского фестиваля традиционной и экспериментальной литературы «Антиподы» (2006). Автор книги стихов «Ни сном, ни облаком» (2008). В «Волге» публиковались стихи (2013, №11-12.)

так живет, летает,
черную нефть глотает на заправке в лесу,
а потом латает,
чинит все, что ни принесут.

***

Казалось бы, безграничен, устойчив, неопалим,
Но, кого ни спросишь – отсутствуют, чего ни хватишься – нету.
Приходит Торквато Тассо как обычно в Иерусалим –
А тот ушел к Магомету.

По всей поверхности бродят развеселые гуляй-города,
Причиняя друг другу политику, беспамятство и увечье,
Один Египет лежит примерно там, где всегда,
Но говорит не о том и на другом наречье.

Археологи ломают головы, обнаружив мост или стык –
Параллельное развитие? Неизвестные катаклизмы?
Потому что всех тех, кто помнит, что здесь был один материк,
Не отыскать ни в словарях, ни в письмах.

***

Т. А.

..Является скучная сухая вареная рыба, например, щука в горчичном соусе, и начинает объяснять, что Волга не впадает в Каспийское море, а впадает в него Кама, а в Каму впадает тоже не Волга, а Ока, а Волгой является только Волга Верхняя, и ей, уважаемой рыбе, недоразумение это надоело и предъявляет кольцо, которым ее противоправно и вопреки географии окольцевали в 1921 году, нашли и время, а потом выловили еще раз в 42 и тогда уже съели, всю, с солью и горчицей, ничего другого не было, наши, конечно, немцы не дошли до Волги, то есть до Оки, то есть до Камы, и вообще, если бы ее немцы съели, она являлась бы немцам – и они бы ей не отказали в таком пустяке: снять треклятое кольцо с надписью «Нижняя Волга», им-то что, а с нашими уже и выросла в человеческий рост, и ходишь к ним семьдесят лет – ни в какую.

***

Ты хочешь сказать, что этот шлимазл воплотился вот в эту плоть,
И с утра пораньше бродит здесь по воде?
Ломает рыбу, солит ломоть, запивает тем, что пошлет господь,
Рыбаков приманивает крошками в бороде?

Ты хочешь сказать, что это из-за него чайки выучили иврит,
(Хотя арамейский акцент – непобедим),
И теперь проповедуют буддизм отсюда до самых Касситерид,
Но рыбу едят, рыбу мы все едим.

Ты хочешь сказать, что эта рыба,.. нет, рыба не говорит,
Она всевышним благословлена от носа и до хвоста,
А потому никакой генетик ее не оплодотворит,
Ее тело – летучий александрит, горящий как три куста,

Из которых вот этот же в прошлый раз общался с одним таким,
Не напасешься таблиц, не ототрешь никаким песком, никакой проточной водой,
Ты им про город, ты им про дом – а они тебе строят Рим,
И радужный мост, и башню до звезд, и станцию над звездой,

С прозрачным парусом-плавником и надписями на нём,
А внутри течет все та же река, края ее словно нож,
И под радужной пленкой любой язык по-прежнему глух и нем,
Ходи осторожней, промочишь ноги – до смерти не доживёшь.

***

От лесотундры до небританских теплых морей
птицы и ангелы сходят с ума от человеческих дочерей,
говорят, для них несущественно, кто еврей, а кто нееврей,
они просто влетают в окно, роняют перо,
вдоль стекла грохочет последний вагон метро,
потому что метро идет сквозь все времена,
даже там, где жив и хищен его мазут,
где вагоны сквозь толщу песка и воды ползут,
но по-прежнему тормозят у того окна,
да, окна, в котором белый и длинный свет
достает до самого дна,
до любых костей, идей, людей, лебедей,
до любого дня, даже до того, где легка, смугла,
улыбнулась эта девочка из никогда и нигде,
вышла замуж за плотника, мальчика родила.

***

Ходит закат наперерез, кошки меняют масть,
Мелкий жасмин лезет с небес на проезжую часть,
Небо горчит, в стекла стучит фикус глухонемой,
Хищный рояль бродит в ночи, подменяет гармонь,
Благоприятствующий пассат тащит птиц по воде,
Если ее не написать – музыки нет нигде.

***

Красные губы на желтом лице,
Скулы морковью, волосы – медью,
Что там сегодня у сказки в конце?
Вечер на рейде?

Сороковой моровой океан,
Сизые верфи, белые танцы
В черное небо доносит баян
Мимо инстанций.

Прямо под кожей стынет вода,
Счета не помня, срока не зная.
В это когда не идут поезда,
Как эти двое сумели вернуться сюда?
Вброд. А потом на трамвае.

***

Заходил василиск, подарил василек,
Залетал мотылек, подарил василек,
Синий цвет – на разрыв, напрогляд, невпопад,
Васильки-васильки, не тревожьте солдат.
Мимо русла горы, мимо склона реки,
Все-то пушки остры, заряженны штыки,
Под землею скользят броневые суда,
Васильки-васильки, не растите сюда.
Ты кого заклинаешь, ночной дуралей,
Полевые цветы и царицу полей,
Небеса над полями, скопленья кислот,
Ненасытное пламя горящих болот?
Лучше злые чернила из них заварить,
Запиши, как горит – все равно же горит.
Все равно ни степи, ни руки, ни строки.
Васильки, васильки, васильки, васильки.

***

В коридорах пусто, словно в пещере,
Когда у летучих крыс выходной,
расскажите, доктор Гаспар Арнери,
кто говорит со мной.

За окном промокшая панорама
упоенно предается стрельбе,
я – предмет, я компьютерная программа,
я знаю все о себе.

Гудит инфляцией барахолка,
полиция ловит эфемерид,
я слышу все, я не знаю только,
кто со мной говорит

Про каждое движенье молекул,
про сплетни, про бьющееся стекло,
про то, что кочет прокукарекал,
но как-то не рассвело,

про желтый дым, про верю/не верю
в очередях, про огонь, про лед,
я – вещь для счета, доктор Арнери,
но вдруг закончится счет?

Паровоз на запасном гудит протяжно,
дразнит зима проливным дождем,
если век расшатался,
уже не важно,
кто для чего рожден.

***

Вы представляете, эта лиса
ходит с таким выраженьем лица,
словно танцует,
мимо сусека, печи и крыльца,
Петрозаводска и Череповца,
взятого всуе,
школьный учебник, родимая речь,
учат ее, где тебя подстеречь,
за проходными,
вот ее хвост обвивает завод,
вот ее зуб твою тень достает,
пробует имя,
что ж ты любуешься, сыть, размазня,
тот же учебник от первого дня
учит угрюмо:
где на три такта ложатся шаги,
не разговаривай, сразу беги,
петь? – и не думай,
мимо, навылет, насквозь, наугад,
все отдавая, чем воздух богат,
легким наружу,
кровь изменяя, и говор, и стать,
чтобы уплыть, чтобы только не стать,
тем, кто ей нужен,
где эта школа и где этот дом,
над Салехардом и ночью, и днем
зябкая россыпь,
а через небо глядит уголек:
ты пожалеешь еще, колобок,
что уберегся...

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

***

кривизна облезлых заборов,
сорняки юлят и круглятся,
тополиный пух забивает рот,
выдохнуть что-нибудь
на бубенцовом наречии
жалобной майской птички,
схватить соседа за локоть,
сбивчивым шепотом
засвиристеть:
послушай немного,
брат мой шлимазл,
как в горле першит,
как слезятся глаза
на свету тополином.

****

ирине машинской

вот человек идет, он сердцем беден,
а в голове бухтит шаманский бубен
полынных солнц – он сам себе неведом.

растет цветок, он лепестками светел,
оракул даровой, как он нескладен,
поотрывать и загадать, что будет.

такая в этих днях обыкновенность:
все, что зарыто, лезет на поверхность,
на прочность проверяет, бьет на жалость.

Григорий Стариковский родился (1971) и вырос в Москве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский университет (кафедра классической филологии). Стихи, статьи, рецензии, проза, эссе и переводы печатались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Иностранная литература», «Новая Юность», «Интерпоэзия» и мн. др. Переводил оды Пиндара («Пифийские оды», изд. «Стороны Света», 2009) любовные элегии Проперция («Третья книга элегий», изд. «Русский Гулливер», 2011) «Буколики» Вергилия (изд. «Айтерна», 2013), сатиры Авла Персия (изд. «Айтерна», 2013), «Одиссею», песни 9-12 (изд. «Bagriy & Company», 2015, книга вошла в шорт-лист премии «Мастер»), а также стихи Патрика Каванаха, Луиса Макниса, Луи Арагона, Дерека Уолкотта, Шеймуса Хини и др. Сборник стихов «Левиты и певцы» (изд. «Айлурос», 2013). Живет в пригороде Нью-Йорка. Преподает латынь и мифологию.

прогулка в лес к пустым каменоломням,
ползти по склону, чтоб невольный облик
тебе навстречу засквозил из камня,

вода сочится пленная из камня,
свой слезный путь, как книгу, раскрывая,
не мертвая уже и не живая.

5 июля

Жизнь есть дробление Целого…
Лев Дановский

где стол стоял, теперь два волонтера
в совок метут вчерашний натюрморт:
подветренный и легкий на подъем
вонючий шелест полиэтилена,

куриные обглодки, липкий хлеб,
стаканчиков надорванный пергамент,
тарелка (легкий, ленточный узор),
и не поймешь, паштет или помет

лепниною на ней; ножи и вилки,
как трупики пластмассовых солдат;
повыцвел на салфетке триколор,
потеки крема (торт был съеден весь),

штырь от палатки, где дремал младенец,
пока его родители слипались
и превращались в пареную свеклу,
сопением приправив сладкий труд.

раздавленная банка из-под пива
с изображеньем скал на горизонте,
где, ветру друг, пол ньюман скачет в небо
на боевом, нахрапистом коне.

здесь хоппер поработал кистью, вспомним
его баркас, увязший в киселе,
и полуночников его, и даже
подстриженные мертвые газоны.

густеет свет, дает тепло вещам
и сообщает мнимую живучесть,
пока в пакете черном не истлеет
исчезновенья золотистый опыт.

congers, ny

дьяволиная речка... кажется, так окрестили
суетливый ручей, в просторечьи – отросток запруды,
перецветшая влага сперва изливается трудно,
но работает всеми частями кошачьего, плеского тела.

батерфляй в направлении южном сквозь вязкость,
мимо топких низин, где кривая гледичия меркнет
и платаны сутулятся – лоск инвалидной команды,
образ местных красот, их слепая, древесная мякоть.

воздух влажен и нежен – курбеты лианы и рыбье
неподвижное тело; олень объедает кустарник,
багровеют амбары, подкрашены, чтобы не сгнили,
и чадят фитили камышей и глазницы кувшинок.

suffern, ny

флаги полощутся в парке,
застиранное тряпье.
мексика играет неярко
против польши вничью.

женщина смотрит зыбко,
мужчина с газетой в руке,
дети – фуршетные рыбки
в аквариуме кафе.

медный танцует солдатик,
сражавшийся за союз,
свежее имя на камне,
церковь открыта для всех.

низко летит авиатор,
варится лето в котле,
в пыльном кинотеатре
крутят фильм с вивьен ли.

тихо она то ли просит,
то ли смеется о чём,
безумия сладкие гроздья,
ковальски через плечо

светит, звезда кинопраха,
сыпется стелла халвой,
русская плачет старуха,
вспомнила ржавый трамвай.

***

постылая земля, ты – чай на блюдце,
ты – черное дыханье, бурый войлок,
под веткой разбинтованной лежишь,
прозрачно-синяя насквозь она.

живая ты, как нежилая площадь неба,
не наглядеться на тебя, другая,
слепая глина, из которой все мы,
и певчая древесная подкорка.

предснежие, которому не сбыться,
дай наглядеться, но не наглядеться,
две капли атропина, черный свет в глазах,
ты льешься вся и дышишь по теченью.

песенка

музыка, что-нибудь кроме
плоскостопия кровель,
крутит левый висок,
подсеченная боль на живца,
это – сердечное, нет, оборону
держать, растопырив
пальцы, тянуть искривленный,
жеваный шепот, по струнам
ножичком чи́ркнуть, готова
песенка, будем мычать,
будем просто мычать,
мы – артисты лопаты,
камень толченый
в винноцветной грязи,
горбаться, крутись, *oncle jean*,
кровяное давление, нет, золотое
сечение, три оборота,
талатта-талатта-талатта.

***

ржавчины скудная бездна,
вид из рождения в дно,
ласточка штопает местность
неба размером в пятно.

прежде она горячеет,
но устает вековать,

или теряет значенье,
в скорость вживается вспять.

вечером тайная точка
льдистую песнь завела,
небо – курносая прачка,
выцвели глазки дотла.

***

из вещей, что в комнате живьём, –
свитер, весь исколотый репьём,
шерстяное, топкое тряпьё.

свет включенный, лампа шею гнёт,
есть еще оранжевый мой плед,
мой верблюжий, рвущийся оплот.

табуретка, тихий стол на дне
комнаты и карта на стене,
расстоянье, данное извне.

там, где луг солончаковый льдист,
и трава желтеет в полный рост,
щелкотню утроил черный дрозд.

посмотри на море, как скворчит
пена вровень с берегом, болит
сердце и, как лодочка, юлит,

а душа, она горит в окне,
будто чистый почерк в глубине
времени, сияющего мне.

Владимир ТУЧКОВ

РУССКИЙ ХОЛОД

Надуманное

***

Сапоги до блеска гуталином. Бляху и пуговицы до сияния асидолом. Белоснежный подворотничок ровными стежками, словно автоматной очередью...

Нет, это не солдатское. Это школьное. Разумеется, ботинки вместо сапог и зубной порошок для бляхи и пуговиц. Но в остальном полное совпадение, вплоть до математички Стрелковой, вразумлявшей нерадивых указкой, не уступающей размерами и увесистостью биллиардному кию.

(приснилось после окончания в три часа ночи статьи об экипировке солдата «Ратник»)

***

Подсел за столик к социологам. Шум, гам. Окурки из пепельницы вываливаются. Из вареных картофелин и кусочков расчлененной селедки с энтузиазмом строят какую-то модель общества.

Поинтересовался: вот сейчас на улицах все чаще встречаются такие-то и такие-то. И описал, как смог, в псевдонаучных терминах. Это кто ж такие, и какова их страта?

Протрезвели мгновенно. Помрачнели. Замкнулись.

Лишь один, придвинувшись на расстояние убойной силы чеснока, спросил шепотом: входное отверстие с горошину, выходное с блюдце? Да?

Я молча кивнул головой.

***

Жена купила в «Евросети» радиотелефон взамен поломавшегося. Чтобы с трубкой бродить по квартире. В коробке обнаружился перстенек, простенький. Я отнес его в «Евросеть» продавцу, который телефон продал. Паренек, тыкая пальцами в клавиатуру, сказал: «О, отлично!» И продолжил тыкать клавиатуру.

Я громко сказал: «Пожалуйста».

Он вспомнил слово «спасибо».

Что это такое? Думаю, все же не хамство, а какая-то поломка коммуникации. Но как называется?

***

Телевидение наше улавливает души, стоящие одной ногой в могиле. То есть громадные бюджетные деньги хлещут прямиком на тот свет.

***

Наблюдал в гипермаркете расхитителя капиталистической собственности. Дедок, бедно, но опрятно одетый, подошел к кока-кольной автопоилке, достал из кармана кока-кольный бумаж-

---

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского рассказа XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. В «Волге» публиковалась проза (2014, №11-12) и стихи (2015, №11-12).

ный стакан (который надо одноразово покупать), налил кока-колы и залпом – чтобы следы замести – выпил.

Несомненно, расхищал он собственность и социалистическую. Однако на финальном участке, в 90-е, от расхищения был отстранен.

В свое время ему не могло бы присниться и в кошмарном сне, как он, пенсионер, возможно и ветеран труда с какой-нибудь медалькой на груди за освоение космоса, ворует газировку с сиропом.

***

Весна. Природа дышит. Надев новенькие кроссовки, чешу по лесу, для здоровья. Ну, или быстрым шагом от инфаркта. И тоже дышу. Гулко. Выхожу на опушку и чешу вдоль нее. А там под каждым кустом шашлыки жарят.

– Фу, вонь какая! – говорит лыжник-гонщик на заслуженном отдыхе, угнездившийся в моем правом полушарии.

– Отчего же? – возражает ему из левого полушария вполне активный пьяница. – Счас пожарят да как вмажут для радости жизни!

– Ага, – ворчит ветеран на пенсии, – вмажут по печени.

– А давай-ка, вот сейчас налево, там еще раз налево, там и чебуречная на улице Мичурина, – подзуживает пьяница.

И ведь знает, мерзавец, что перед выходом я пятисотку в карман засунул.

– Ни в коем случае, – раздается из правого полушария, – вспомни, сколько тысяч километров ты своим потом полил! Не предавай свою доблестную молодость, когда за «Спартак» бегал!

– Ага, и за «Зенит» еще, и за «Труд». И что набегал? Полиартрит и гипертрофию левого желудочка сердца! Поворачивай налево!

– Прямо, только прямо! В пивных ты подагру заработал!

– Зато болезнь аристократов!

– И дегенератов.

– Давай, давай налево! Там чебуреки по тридцатнику. И хоть и незатейливая, но честная водочка по шестьдесят всего рубликов за сотку!

В общем, под эти разговоры я добрался до города. И – в магазин. Чтобы купить морковки и соли. А этот, из левого, все: «вон, вон, смотри, как чекушечка поблескивает!.. Нет? Ну хотя бы пивка. Вон, “Туборг”, ты его любишь».

В общем, прикупил к морковке и соли еще бубликов с маком и мороженого. И всю дорогу до дома тот, который из левого, все бубнил и бубнил обиженно.

Но ничего, он еще отыграется. Будет еще праздник и на его улице.

***

Раньше из меня всяческие жаргонизмы так и сыпались. Причем, сыпались не так, как сейчас принято в неконтролируемых социальных сетях. Но я усиленно запихивал их в свои бумажные газетные и журнальные публикации. В последнее время они от меня как-то отпали. Язык не поворачивается ни выговаривать их, ни выстукивать на клавиатуре.

Видимо, это такая подготовка уже началась к встрече с апостолом Петром. Начнешь по-вьюношески выкаблучиваться, а он: «изволь говорить по-человечески, а не по-собачьи!» И пинка под зад.

Правда, от матерных слов пока никак не удается отказаться. Надеюсь, апостол отнесется с пониманием: а, русский? Ну, русскому позволительно, жизнь русская непростая.

***

Два года назад вырубал громадный сосновый пень, топором, чтобы сделать площадку для автомобиля сына. (Сам я лошадью боюсь управлять.) Рубил неделю, ожесточенно, в самую жару.

И вот проходит мимо старушка, останавливается, приглядывается... и с восторгом: «Ну, прямо как на каторге!»

Интересно, из каких она будет?

***

Отлучался с дачи в город. Но не в саму маскву. А в наш наукоград Королёв, руководят которым, естественно, пэтэушники. Пил пиво на летней веранде. Наблюдал до боли знакомую картину.

Некий трудовой коллектив (плановый отдел? бухгалтерия?) отмечал что-то, пия алкогольные напитки и закусывая закусками. Во главе Иван Иваныч лет восьмидесяти. Три дамы лет по 75. Четыре – шестидесятилетние. И одна совсем молодая девушка лет пятидесяти. Ежели вычесть тридцатник, подогнав это дело к эпохе развитого социализма, то, соответственно: 50, 3х45, 4х30 и 1х20. И ухватки все те же самые, как и при родной советской власти.

Закосевший Иван Иваныч лепет что-то фривольное, отчего дамы прыскают.

Две говорят о личном, но теперь, конечно, не о собственных внебрачных отношениях, а о передаче «Давай поженимся».

Трое, раскрасневшись, чихвостят какой-то смежный отдел, который тормозит сдачу отчета.

Две, как и тогда, – о детях. Но теперь уже о детях детей, то есть о внуках.

Молоденькая пятидесятилетка сканирует окружающее пространство в поисках прекрасного принца.

В общем, допили, доели и ушли, поддерживая с двух сторон пошатывающегося Иван Иваныча.

Всё, абсолютно всё как и тридцать лет назад.

И вдруг осенило – не спели! У людей, гады, песню украли на старости лет!!!

***

Помню, как в начале 90-х сообщество галеристов при мощной поддержке критиков-искусствоведов впаривало состоятельным господам шедевры современного искусства – масло на холсте, все как положено, чтобы деньги выманить.

Нынешние современные художники бегают по улицам голышом, рисуют на проезжей части громадные гениталии, занимаются свальным грехом в публичных местах, воруют в магазинах провиант и творят всяческие прочие непристойности.

Разумеется, состоятельным господам такие «художества» понравиться никак не могут. А посему они вернулись к эстетическим корням – к Айвазовскому да к Шишкину. Эти никаких непристойностей не сотворят.

Хотя, будь они живы, их реакция на нынешнюю жизнь могла бы быть непредсказуемой.

(размышляя об эволюции арт-рынка)

***

Надумалось, про «поздняя осень, грачи улетели». Разве что за ломберным столом Николай Алексеевич смог разглядеть пыль на пашне поздней дождливой осенью: скучно склоняться до самой земли, тучные зерна купая в пыли.

***

Вчера многократно услышал словосочетание «мое творчество». Причем от одного и того же человека.

***

Под боком вызрел геополитический конфликт. К нам в садик начал наведываться черный кот с явными территориальными претензиями. Мой кот Шурик начал доблестно пресекать агрессию. Пару раз гнал захватчика. И при этом не преминул захватить ничейную территорию в двух домах

от нашего, где уже давно никто не живет, но где в изобилии водятся мыши. Схватки за ничейную землю с богатыми природными ресурсами были ожесточенными. И проходили с переменным успехом.

И тут черный кот заключил двойственный союз с рыжим котом, который с соседнего участка. Силы неравны. С ничейной земли Шурику пришлось убраться. Теперь там сражаются друг с другом два недавних союзника – черный и рыжий.

И вот сегодня произошли изменения: черный и рыжий вновь объединились и вломились к нам в сад. Но Шурик дал им достойный отпор, поскольку воюет за свою землю. Но не только – бьется еще и за стратегический объект, за кустик мелиссы, которая оказывает на котов наркотическое воздействие.

В общем, все как и у людей. На эту тему писал Де Голль в 1944 году после встречи с Рузвельтом: «Слушая американского президента, я окончательно убедился, что в деловых отношениях между двумя государствами логика и чувство значат очень мало в сравнении с реальной силой, что здесь ценится тот, кто умеет схватить и удержать захваченное».

Так что не будет о нравственности политиков. Не будем.

***

Ночью из пустого ведра, стоявшего у сарая, раздавались какие-то звуки биологической жизни.

Взял фонарь.

Увидел мышь.

Зачем она туда залезла и как ей это удалось, выяснить было нельзя.

Можно было оставить ее в ведре, а утром кот Шурик кардинально решил бы проблему.

Но разве так надо поступать с попавшими в беду. Выпустил.

Правда, насколько это продлило ее мышиную жизнь, сказать невозможно. В округе злые котищи рыщут, смерть сеют.

***

«Погода 14 октября 1969 года была на редкость хорошей», – так начинаются воспоминания одного из руководителей ядерных испытаний на Новой Земле о взрыве 10-мегатонной бомбы.

Как говорится, ничто человеческое...

***

Как же рвет душу подвывание потерявшейся собаки, с грязными уже ногами, рыскающей вдоль шоссе. Рожденной для счастья. А не для воли.

Предполагаю, что дворяне средней руки после революции были такими же потерянными.

***

Прочитал в некой рецензии на некий поэтический сборник: «поэт от Бога». И далее многозначительное многоточие.

Надолго задумался, соотнося это со своим жизненным опытом, во многом советским. Припомнилось: «Я к вам от Иван Иваныча, мне бы сервелатика и икорки к праздничку». Вполне вероятно, что это теперь такой ритуал в издательствах: «Я к вам от Бога, с поэмой».

***

Иллюзии в начале жизни и, так сказать, в ее финале весьма схожи:

Надо слушаться родителей и хорошо учиться, и все будет ха-ра-шо.

Надо слушаться врачей и есть все таблетки, и все будет ха-ра-шо.

***

Сегодня был опять в городе Желтого Дьявола (добром, боюсь, это не закончится). Видел необычайно пьяного человека. Который был буквально обляпан светоотражающими катафотами – спереди, сзади, по бокам. И это очень разумный человек. Уважаю!

***

Надумалось, о ремеслах. Публицист похож на актера. Рукоплескания, букеты, толпа фанатов/фанаток у служебного входа... Но это было характерно для счастливого бумажного периода данной профессии. С появлением же сети-паутины ситуация изменилась. Вместе с букетами на сцену летят и помидоры. И в том же самом количестве. И в этой ситуации крайне сложно остаться публицистом и не стать пропагандистом, окончательно и бесповоротно, автоматически, незаметно для себя не стать рупором идеи, за которую осыпают цветами.

***

Увидел в телевизоре какого-то нашего генерала. И с горечью констатировал: такое обилие золотого шитья на погонах, на фуражке, на груди и, вероятно, на задней части брюк встречается разве что у центральноафриканских диктаторов. Юдашкин, что ли, так расстарался? Бедную мою родину погубит не глад и мор, не нашествие людей с песьими головами, а пошлость.

***

Налил чаю, собрался выпить с аппетитом. Для усиления оного включил телевизор. Чтобы, значит, посмотреть, как хорошеет Москва под чутким руководством нового мэра. А там сидит Михалков. Тут же выключил телевизор. Вылил чай. Вымыл чашку. Налил нового. Береженого бог бережет.

***

При обследовании морозильника выяснилось, что наиболее подготовлен к грядущему голоду кот Шурик. Чего там для него только ни припасено. Как сказал поэт: дивлюсь на морозильник и думку гадаю – чому я не котик?

***

Узнал, что кремлевские рубиновые звезды сделаны на заводе «Автостекло», что в Константиновке неподалеку от Донецка. В 70–80-е я регулярно ездил на этот завод. Там тогда делали обтекатели для баллистических ракет. Благословенные были времена дружбы навек. Командировки в Константиновку чередовались с командировками в Киев. Грустно, очень все это грустно.

***

Приснилась строчка. Просто строчка, просто стих, который требовал продолжения, пытаясь всосать в себя пространство, словно удав, чтобы генерировать это самое продолжение. Просто строчка без какого бы то ни было видеоряда, ее иллюстрирующего. Просто последовательность букв, ритмично изгибающаяся, с ритмом, в нее заложенным этими самыми буквами. Было жутковато. Поскольку акцентированная ритмика, любование звуком – это не мое, этим пусть другие занимаются. А строчка при извлечении ее на поверхность жизни оказалась такой: стотонная бомба упала на город Багдад.

***

А еще была такая история. Пошел с женой в ресторан. Денег не хватило. Карточки не принимают. Полгорода обегал, пока нашел исправный банкомат. Вернулся, а жена уже официанта полюбила. Крепко. Навсегда.

С тех пор частенько туда заходит. И за тот же столик. «Что, – спрашивает, – братан, тяжело?»

Тот только вздыхает, обреченно.

***

Был в магазине. Передо мной человек лет пятидесяти с темными от солярки руками покупал колбасу за 112 рубликов за килограмм. Мадам Юлия Латынина считает, что таких надо лишить избирательного права. Думаю, что и меня она не подпустит к урне и на пушечный выстрел. Вот тогда у нас начнется распрекрасная жизнь.

***

Пришел в банк. Но не в какой-нибудь сбер, а в Банк с очень большой буквы. Там еще у входа всех встречает вырезанный из фанеры американский актер, очень респектабельный.

Внутри наблюдается роение старух. Но не тех, которые в сбербанке, жизнью по исторической стенке размазанных. Эти старухи сплошь нарумяненные, с шиньонами и в коверкотовых манто. Все кричат: проценты, ипотека, кредиты, ставки, прибыль, инвестиции!!!

Отстоял два часа. «Вот, – говорю, – у меня одиннадцатипроцентный вклад («вклад» произношу солидно – ВКЛАД!). Хочу сделать его пятнадцатипроцентным».

Нет, – отвечает барышня, – это можно сделать от двухсот тысяч рублей и выше. Будете дополнять?

А как же можно дополнить, если дополнение почти такое же, как и сумма на счету? (От слова «вклад» я уже отказался).

И тут старухи как захохочут, как загалдят, как закаркают: «Мы-то думали, что Вы – господин. А ты со своим рылом куда суешься? Марш в сбербанк. Тут место для уважаемых господ!!!»

***

Вчера кота не догладил.
Окрысился, подлец.
Затаил.
Надул мимо лотка.
Ухмыляясь, наблюдал из-за угла, как я убираю.

***

Едучи в электричке в саму масквy, сидел напротив волоокой девушки лет пятидесяти. Читала Дарью Донцову. Вдруг прервалась и глубоко задумалась. У Донцовой много мест, где девушки такого возраста задумываются, отождествляя себя с главной героиней.

Вдруг у меня за спиной грянул кларнет под минусовку, именно грянул, у меня мозги чуть в резонанс не вошли. Давали что-то лирическое из советских времен. И вдруг у девушки по щеке прокатилась романтическая слеза. Когда музыкант закончил истязать мои оголенные нервы, девушка одарила его какой-то щедрой бумажкой. Думается, он должен разделить барыш с писательницей.

***

Приснилось. Сидим с Хрущевым в кабаре, слушаем сестер Берри. Я ногой притоптываю. Он мрачно тянет через соломинку бурбон. В конце концов говорит, кулаком по хлипкому американскому столику вмазав:

– Что вам, Владимир Яковлевич, тут нравиться может?! По-моему, хуже, чем эти пидарасы-абстракцанисты! К тому же сестры Берии, Лаврентия! Надо бы их на сто первый километр!

***

Во мраке ночи, путаясь в подземном лабиринте бессонницы, надумал несколько названий для «Квадрата» Малевича.

«Поль Гоген и Винсент Ван Гог, презрев ласки таитянок, стоят ночью обнявшись на берегу океана, в три уха слушая прибой».

«Юрий Алексеевич Гагарин, прильнув к иллюминатору корабля “Восток”, пытается отыскать в космосе бога».

«Черная кошка в темной комнате сочиняет стихотворение про одинокого путника, бредущего под звездным небом с дырявым зонтиком, которое впоследствии было присвоено великим кормчим Мао».

***

Обнаружил на полке давно выпавший из памяти словацкий журнал, посвященный русской литературе. На обложке картинка Леонида Тишкова. Открываю и вижу надписанное над оглавлением карандашиком «Sapgir»!

Мать честная, не отдал человеку при жизни адресованный ему журнал! Какой же я гад, думаю.

Однако нашел внутри журнала себя. Нет, думаю, журнал мой. А у вдовы, вероятно, лежит с надписью «Tuchkov».

***

В неком справочнике, повествующем о писателях, обнаружил: «Тучков Владимир Яковлевич – Гей-литература; Порнография; Толстожурнальная литература».

Вовек не отмыться!

***

Занимательная арифметика. В мой отрезок времени уложились 9 правителей – начиная со Сталина и кончая нынешним. Делим 66 на 9 и получаем 7 с хвостиком. То есть это даже меньше, чем два срока американского президента. Так что с демократическими процедурами у нас все распрекрасно.

***

В воскресенье жена достала с антресолей АК-47, передернула затвор и ткнула ствол мне промеж лопаток. «Пошли, – говорит, – по бутикам, а то, говорит, ты совсем поизносился».

Ходили два часа. Принесли куртку и кепку.

Когда я приходил в старой куртке и кепке в «Пятерочку», то привратник ходил за мной по пятам и наблюдал, чтобы я чего не слямзил.

Вчера пошел в новых куртке и кепке в «Перекресток». Так тамошний привратник передо мной дверь распахнул и шаркнул ножкой.

И вот теперь меня терзает вопрос: стоило ли тратить 6,5 тыс. рублей (5 – куртка, 1,5 – кепка), чтобы производить хорошее впечатление на привратников?

***

На лингвистическом посту. Открываю журнал «Дилетант», позиционируемый как исключительно культурное издание. И вижу слово «полячка». И припоминаю, что видел журнал в киоске по соседству с «Лизой» и юмористическим изданием «Зятек». Диффузия, однако.

***

Общение с парикмахершами свелось к минимуму. Раньше надо было сказать – под скобочку, бокс, полубокс, виски прямые, пробор... Теперь достаточно неопределенно махнуть рукой и сказать – как было.

Но однажды нарвался на язвительницу. «Помилуйте, – говорит, – как было у вас тут при Никите Сергеевиче Хрущеве, я сделать не смогу ни при каких обстоятельствах!»

***

И вдруг взмахнула рукой, обернулась вокруг себя три раза, ударилась оземь...

И стала такой как тогда, в 1966 году.

И посмотрела на меня с ужасом.

(приснилось, после чтения внукам соответствующих сказок)

***

На столбах много чего интересного пишут. Прочитал: «Снимем квартиру. Порядочная, чистопородная русская семья». После протирания глаз выяснилось, что чистоплотная.

***

Неподалеку от нашего наукограда Королева есть село, которое называется Оболдино. Люди приземленные так его и называют – Оболдино. А наши королевские поэты – через запятую: О, Болдино!!!

***

Виктор Константинович Мельников рассказывал мне о том, как отец его, маленького мальчика, иногда брал на строящиеся объекты. То бишь шедевры конструктивизма. А потом прославленный архитектор шел в пивную и пил пиво с сухариками. Сухарики ел и сын. И на всю жизнь сохранил ощущение того, какие же они были вкусные. Виктора Константиновича уже нет. А я помню выражение его лица, когда он говорил про те сухарики. Прошло-то всего ничего, меньше столетия.

***

Приснилось. Приехал я в командировку на завод «Автостекло» в Константиновку, что под Донецком, но не попал в ДНР. Просят записать меня номер моего телефона. Полчаса бился над этой жуткой задачей, но так и не смог. Потому что велели записать римскими цифрами. Нас, говорят, заставили перейти на римские, поскольку, говорят, Украина к арабам не имеет никакого отношения.

***

Вчера, оказавшись по делам на «Новокузнецкой», совершил ритуальное вхождение в рюмочную «Второе дыхание». Выпил ритуальные 150, закусил ритуальным бутербродом с ритуальной колбасой... Да и вышел, плюнув в сердцах.

Форма-то та, да вот содержание выхолощенное. Публика какая-то рафинированная, словно на джазовый концерт попал. Одним словом, модное место со всеми вытекающими.

***

Приснилась сирень во всем своем семантическом благоухании – цветы, одеколон и кафе в Сокольниках. Чуть поодаль было кафе «Черемуха», где после напряженного трудового дня омоновцы и собровцы любили резаться в нарды.

***

Главный редактор популярной радиостанции вопросил президента о том, когда же в Москве появится улица Высоцкого, Владимира Семеновича?

Высоцкий, конечно, велик. Но я вот полагаю, что вначале появиться должна улица Тредиаковского, который придумал всю эту силлабо-тонику, на которой (прежде тучной) паслись и Высоцкий, и мильоны мильонов русских стихотворцев. Высоцкий, конечно, в значительной степени – политика. Тредиаковский – наука и музей. Но, к сожалению, наука с музеем нынче никому не нужны. Никому из тех, разумеется, кто *принимает решения*.

***

Роберт Оппенгеймер весил 58 кг, страдал туберкулезом и однажды пытался отравить коллегу яблоком, пропитанным ядом.

Спустя несколько лет плутониевое яблоко (размером с футбольный мяч) оказалось гораздо эффективнее.

***

Первые признаки того, что мобильник в кармане разрушает мозг, я заметил лет десять назад. Когда в самый ответственный момент некий юный клубный радист заявил мне, что аппаратуру к

перформансу он дома забыл. Потому что мы договорились с ним вечером накануне, а надо было еще и сегодня раз пять позвонить.

Потом такие случаи начали нарастать и учащаться. Сейчас уже никто ничего не помнит. То есть то, что людям самим надо, они прекрасно помнят. Но о чем договариваются с другими о несвоих делах и нуждах – это из пораженного мобильником мозга вылетает через пять минут.

Можно, конечно, предположить, что Москва – территория волчьих законов. Но это не так, в волчьей стае ответственность развита гораздо сильнее. Иначе стая развалится.

***

Дождь костяшками пальцев постукивает по козырьку над лоджией.

Обещанного урагана нет.

Верить никому нельзя. Даже Госдепу!

***

Комментарий к моей статье, растрогавший меня до слез: «Дурачок автор».

Откуда такая нежность на фоне всеобщего озверения?

***

Сегодня придется выпивать. Вот бы найти человека, который ходил бы со мной на мероприятия и вместо меня выпивал.

(мечтательно)

***

...подвергся нападению клещей...

(перечитывая луддитский киберпанк)

***

10 мая съездили с дочерью на кладбище. Вернулись. Подходя к банкомату, что на автобусной остановке, боковым зрением отметил старика с палочкой и с ленточной, сидящего на скамеечке. Думаю, надо с праздником поздравить. Но отвлекся на вставление карты в банкомат.

Когда банкомат отшелестел заказанные 600 рублей, старичок поднялся и оперся рукой сбоку о банкомат.

Ну, думаю, у меня реакция лучше, чем у ветерана, раньше схвачу.

И вдруг слышу: Тучков, да?

Уставился я на него и мучительно начал вспоминать.

Он назвался.

150 лет назад учились на одном факультете на разных потоках и много чего вместе пережили. Изменился разительно. Палочка, говорит, потому что спина. Однако понятно, что инсульт.

Такие дела.

Вьюноши, берегите смолоду не только честь, но и здоровье.

***

Закурив на лоджии, наблюдал, как трясогузка атаковала голубя.

Маневренность у нее, конечно, гораздо выше, поскольку нагрузка на крыло меньше. Да и нагрузка на двигатель тоже лучше, поскольку топливо более эффективное – червячки против зернышек.

Но неповоротливый голубь отстрелил тепловые ловушки, и трясогузка прошла мимо.

***

Сегодня мой кот Шурик выезжает на дачу. Я же, стало быть, буду при нем кормильщиком, поильщиком, гладильщиком и лечильщиком. Стараюсь максимально прилежно исполнять свои функции, однако порой моя нерасторопность вызывает нарекания.

***

Почему депутаты, заседающие в думе, принимают антинародные законы?

По той простой причине, что эти законы на них не распространяются.

Можно ли исправить ситуацию?

Можно, если законы на них будут распространяться по самым жестким сценариям.

То есть – нельзя.

(припоминая период, когда на жизнь зарабатывал колумнистикой)

***

Электричество – штука опасная для здоровья. Даже если не трогаешь руками оголенные провода. Три дня назад у меня оно пропало. Позвал Бориса, моего ровесника, который всю жизнь проработал электриком. Он привязал к ногам кошки и вскарабкался на 7-метровый столб. Что-то там покрутил, и электричество появилось.

Понятно, что каждый подвиг должен быть соответствующим образом отмечен. И вот вчера мы с Борисом целый вечер пили за электричество. В связи с чем сегодня недомогание.

Опасная штука, эх и опасная!

***

Довольно давно подойдя к воротам так называемого дома творчества в Коктебеле, наблюдал грозную табличку: «Тихо! Работают писатели!». Но с другой стороны ворот так ни разу и не побывал. Поэтому не имею ни малейшего представления о том, как должен работать писатель. Посему профессиональным писателем при всем моем потненьком, честолюбивеньком, нахрапистненьком, эгоистичненьком желании называться никак не могу.

Хоть и ношу в кармане синенькую книжицу, где на двух языках говорится, что я писатель.

Не верьте.

***

Сегодня мой доблестный кот Шурик поймал мышь. И положил ее горделиво на плацу из плиток, который я выложил прошлой осенью. Эту добычу я обнаружил, когда кот уже спал в доме с чувством выполненного долга. Решил, когда проснется, вывести его на плац и объявить перед строем устную благодарность. И вручить ему какую-нибудь вкусную награду.

Однако, когда через полчаса вышел покурить, мыши я не обнаружил.

Своровал соседский рыжий кот?

Утащила ворона?

Мышь, прикинувшаяся мертвой, встала, отряхнулась и ушла?

Вознеслась?

***

Позвонил на закате Виктору Ковалю – прославленному орнитознатцу, автору знаменитой поэмы «Гомон». Направил мобильник в сторону ивы, на которой заливался соловей, чтобы усладить ухо Виктора Станиславыча. Но соловей неожиданно смолк.

Мы начали строить версии: почему, шельмец, не выдает свои рулады. И тут Коваль заявил, что поздно уже, видимо, спать соловей собрался!!! И тут я понял, что Коваль – самозванец по части орнитологии.

Потом соловей очнулся и продолжил свое пение. И Коваль начал комментировать: эта дудка коротковата, щелкание отменное, тембр чистый... Нет, Витя, хоть ты мне и друг, но отныне не поверю в то, что ты в птицах разбираешься. Все твои знания вторичны, в лучшем случае от «Чуда со щеглом» Тарковского. Но, подозреваю, туда намешан и Лев Лещенко с его шлягером былых времен: «соловей, российский славный птах, начинает песнь свою со свистом»!

***

Краем глаза заглянув в телевизор (не выбросил я его, не выбросил!!!), увидел, как на Красной площади популярный телекиноактер (лопоухий), заглядывая в книжку, декламирует «Бородино» Лермонтова. Потом вышел еще более популярный телекиноактер (с вкрадчивой лысиной) и прочитал по книжке «Стихи о советском паспорте» Маяковского. А ведь могли бы их поднатаскать. Год литературы как-никак!

***

Некоторые поэты из тех, что пишут ритмические рифмованные стихи, победоносно идущие катренами, словно морская пехота на параде по Красной площади, почему-то крайне негативно относятся к утверждению о том, что Россия не Европа. Чудн***о***! В Европе о таком способе стихосложения даже древние старики не помнят.

***

Надумалось, о транскрипциях. Вот почему Бунину дали Нобелевскую премию, а Чехову не дали? Да потому что для иноземного уха эти фамилии принципиально отличаются: Chekh-OFF и Bun-IN.

***

Полтора года назад вышел из дому в суровый мороз, забыв зажигалку. В киоске была только пьезо с серпом и молотом, за которую с меня слупили какую-то совсем несоциалистическую сумму. Иногда я этой зажигалкой пользуюсь, поскольку деньги уплочены. Вчера старший внук спросил, почему на зажигалку нарисован якорь. Все в мире бренно.

***

На филологическом посту. В телевизоре отчетливо произнесли: «берега нашей родины обмывают тринадцать морей».

***

Подозреваю, что внуки закопали где-то в саду мою карточку для бесплатного проезда в метро и на электричке. Надеюсь, в скором времени дорастет до бесплатных полетов на лайнерах и круизов на океанских яхтах. Если, конечно, ухаживать в соответствии с канонами агрономии.

***

Дошло, что уже лет сто пятьдесят не видел в отечестве кирзовых сапог. В краеведческих музеях, вероятно, сохранились. Но так, чтобы на улице, навстречу, погромыхивая на мостовой, – нет уже и в помине. И это куда более глубинное изменение отечества, чем появление мобильников, банкоматов и прочей чешуи.

А кто в этом виновен? Знамо дело – китайцы, не могут они шить русские кирзачи.

***

Как только М.Б.Ходорковский оказался в узилище, я стал носить майку красного цвета со словами «Свободу МБХ». Мне ее выдали на каком-то правозащитном мероприятии. И вот какая петрушка получилась. Обычные майки дырявятся года через два-три. А эта все носилась и носилась, и всё как новенькая. И вот наступил момент, когда оковы тяжкие пали, и братья отдали меч вышедшему на свободу опальному олигарху. Условный, конечно. Нынче меч – это деньги.

И в такой ситуации носить майку с таким требованием совсем уж глупо. А то и антидемократично: мол, я считаю, что Запад, где расположился МБХ, – это темница, откуда его надо извлечь в светлые кабинеты Лубянки.

Надо сказать, что эта майка пошатнула во мне доверие к богатейшим россиянам. («Если будут богатые, то не будет и бедных» – как же, как же, помним, прекрасно пом-

ним.) Вот если бы эти самые богатые шили такие же крепкие майки для народа, не имея при этом корыстных политических целей (с зайчиками на груди или с солнышками), то я бы их, пожалуй, и полюбил. Ну, или же зауважал. А так с какого, извиняюсь, хрена? Что я им – ходячий стенд для демонстрации на улицах и площадях их идей и потребностей, что ли?

***

В понедельник, словно смерч, ворвались в мою размеренную дачную жизнь на белой чадящей бензином машине поэты Александр Макаров-Кротков (за рулем) и Виктор Коваль (за ветрилами). И, не понюхав цветы, ни разу не подтянувшись на турнике, сели за стол и начали чокаться со скоростью кузнечно-штамповочного станка. В середине застолья Коваль вспомнил, что я обещал друзьям двадцать процентов картофельного урожая. Я сказал, что пока еще не поспела. И предложил ботвой. Отказались.

Утром проснулись и, не понюхав цветы, унеслись в свою заполошную маскву.

***

Вчера в неком присутственном месте меня принимала дама по фамилии Херувимова. Понятно, что кабинет был богато декорирован бумажными иконками.

***

Приснилось, от чего немедленно опустились руки, голова вжалась в плечи, а спина стала согбенной. Литературный вечер. Мой. Читаю всякое разное, вдохновенно, рубя воздух ладонью, вращая зрачками.

Вечер окончен. Некто (не скажу кто) проводит опрос в зале. Необходимо дать один из трех предложенных ответов: а) вечер был плохой; б) был очень плохой; в) был омерзительный.

***

История глубоко символическая. Олимпийский Мишка, которого в восьмидесятом году проводил в вечернее небо мощно всплакнувший главный стадион страны, приземлился на Ленинских горах. Его сдули и отправили на хранение на ВДНХ. В перестройку милого улыбчивого Мишку сгрызли крысы.

***

Только в милитаристской стране могут назвать сваренную в кожуре картошку «картошкой в мундире».

(листая поваренную книгу)

***

Правило дачного обитания: прежде чем съесть сорванную малинину, ее необходимо тщательно обнюхать.

***

В саду появился еще один жилец. Самый симпатичный (если не считать кота). Подростковый ежик. Иголки на нем чистенькие, светленькие, лунно-серебристые, как голос Бабановой в радиоспектакле по Экзюпери. Вчера соизволил принять подношение – кусочек мяса. Принц, чистый принц!

***

Какой же позор пережили австро-венгерские войска в Первую мировую войну, вынужденные отступить с реки Золотая Липа к Гнилой Липе!

(изучая биографию генерала Брусилова)

***

Вчера пришел покупать колбасу и застыл перед прилавком, как Буриданов осел с двадцатью двумя степенями свободы. Пока размышлял, как найти оптимальное соотношение между минимальной ценой и минимальным вредом для здоровья, впорхнуло юное создание. И, не отрывавшее взгляда от айфона, выпалило – сигаретыдайте!

Продавщица махнула рукой в сторону сигаретного отдела. И неодобрительно изрекла: «такое ощущение, что она просит у своей квакалки!»

– Да, в детстве пороли мало, – поддержал я продавщицу.

***

Километрах в десяти – пятнадцати от дачи есть город Красноармейск. Рядом с ним полигон, на котором отрабатываются новейшие технологии уничтожения боеприпасов. Когда взрывают патроны, то это даже мелодично. Когда мины и снаряды – терпимо. Но когда бомбы (подозреваю – ФАБ-1000), то дом на фундаменте подпрыгивает.

Но бывают вещи весьма странные – бомбы иногда, нечасто, к счастью, начинают рваться ночью. Думаю механизм тут такой. Командир полигона поздно вечером коротает время с развеселыми дамами. Пробалтывается, кто он и чем занимается. Дамы визжат от восторга, виснут на нем и умоляют: Мурзик, покажи!

И командир с веселыми дамами заваливается в час ночи на полигон, будит несчастных солдатиков. И они начинают рвать эти самые ФАБ-1000 под визг девиц, который, понятное дело, на фоне канонады не слышен.

***

Социальные сети в общем и Фейсбук в частности – прекрасное место для остервенелой ругани абсолютно не знакомых людей. Однако ничто не ново под луной. Гораздо раньше появился трамвай.

***

В дачный поселок приезжали фермеры. Привезли настоящие русские продукты, которые с позором выгнали с отечественного рынка всяческие хамоны на тонких ножках и прочий слезливый чиз. Простоял полчаса в очереди с квохчущими старухами и двумя стариками, один из которых, предполагаю, прежде был куплетистом. И такая меня охватила тоска, что решил покончить жизнь самоубийством. Открыл рот для произнесения «мне сала!», чтобы пожарить на нем картошки, съесть и немедленно умереть. Но одумался. Так жизнь победила смерть, далее по тексту.

***

В глухие времена среди почвеннических поэтов бытовало мнение, согласно которому излишние знания (литературные) подлинному поэту идут во вред. Поскольку придавливают его индивидуальность. Нечто подобное можно было наблюдать в 60-е годы в Америке, где обезьянам давали холст, кисти и краски. И они в полной мере проявляли свою индивидуальность. На аукционах такие работы уходили за хорошие деньги. Поэтам-почвенникам также неплохо платили газеты, журналы и издательства.

(размышляя об эстетических стратегиях)

***

Ездил за гонораром (за 1 рассказ). На дорогу потратил 500 р. Купил журнал для подарка – 250 р. Осталось 600 р.

А вы спрашиваете, как живут писатели. Русские писатели именно так и живут.

Не все, разумеется, лишь самые значительные.

***

Что делает в первую очередь нормальный человек, который после долгого проживания в сельской местности возвращается в город? Ну, не совсем, конечно, нормальный, а достойный, вызывающий у меня восхищение. Правильно, идет в театр, в музей, в филармонию, на литературные чтения.

Что делает пьяница, у которого отсутствуют культурные запросы? Пьяница немедленно пьет пиво с чебуреками.

Бедная моя родина, в которой преобладают такие, как я.

***

Сегодня меня чуть не повязали в аэропорту Будапешта. Высветили в рюкзаке недопитую бутылку швепса. Выкинул в урну. Спрашиваю: ОК? Ноу, говорят, не ОК!

Достали пробничек и начали елозить им по рюкзаку в поисках наркотиков. Вставили пробник в компьютер – нету наркотиков! ОК? Нахмурились – не ОК!

Взяли другой пробник – на взрывчатку настроенный, поелозили. И опять облом. Премия к чертям усвистывает!

Закинул охранник в третий раз свой невод, на радиацию настроенный. Елозил особенно тщательно. В компьютер совал его во все дыры. Но горит, зараза, зеленая лампочка. На том и расстались. Не повезло парням.

Но ножик так и не углядели. Правда, он маленький, нулевого размера.

***

Как легко дышится на даче об эту пору. Но не потому, что воздух свеж и морозным иглоукалыванием врачует. А потому что все разбежались, как эти самые с этого самого. И эти самые увезли с собой свои мерзкие айфоны, которые интернет пожирают в округе.

И теперь вот сижу и удовлетворенно наблюдаю, как мегафоновский интернет, словно величавая река, вливается в мой ноутбук.

В людях гораздо больше зла, чем мы предполагаем!

***

С восторгом наблюдал *грибной снег*. Это когда солнце подсвечивает трепещущие в воздухе снежинки, которые как рой только что народившихся солнечных зайчиков.

В айфоне масквичам такое не показывают.

***

Вокруг сарая бродит наглая жирная мышь, надменно на меня посматривая, через губу поплевывая.

Подозреваю, что с моим котом у нее сложились такие же отношения, как у депутатов с Генпрокуратурой.

***

9 октября: Похрустывает.

10 октября: Уже не похрустывает. Почавкавает.

***

Надумалось, о проказах великого и могучего: тепло на моей даче обеспечено печью.

***

Нобелевский комитет в свое время не отметил Чехова. И сейчас этот прокол очевиден. Но могли бы и реабилитироваться, отметив Вампилова. Его пьесы прекрасно проецируются на любую мировую культуру.

Думаю, этого не произошло потому, что Вампилов принадлежал к лагерю писателей, к которым на Западе не очень прислушивались. А то и побаивались. Дескать, маргиналы, дуют в свою национальную дуду, не прогрессивны, совсем не прогрессивны. И если опора на местную культуру выглядит симпатично где-нибудь в Африке, то в России это считалось минусом...

Хотя, конечно, может быть, и дали бы. Но слишком быстро человек сгорел. Н-премия – удел старцев.

***

Мадам Васильева, творившая в Министерстве обороны финансовые чудеса, в действительности, не столь уж и уникальное явление в мировом масштаба. Вот, например, ловкие парни из Пентагона выбили нешуточные деньги на покупку восьми патрульных катеров для Афганистана, куда море до сих пор не провели.

Кстати, эту строку военного бюджета с легкостью подмахнули в американском конгрессе. Как заметил русский классик, зачем учить географию, когда извозчик и так довезет.

(проглядывая утренние газеты)

***

Приснилась строчка «с татарами лезгинку танцевал». Что с ней делать, ума не приложу!

***

Женщины, достигнув определенного уровня мудрости, начинают смотреть передачи про здоровье. Моя жена – не исключения. Позавчера она велела показать мне язык. Он оказался желтым.

«Вот, – радостно воскликнула жена, – печень!» Дескать, пьянство даром не дается!

Однако я ее разочаровал, сообщив о нескольких съеденных желтых мармеладинах.

***

Вернувшись через полгода на зимнюю квартиру, слоняюсь из угла в угол, терзаясь неразрешимым вопросом: «как тут, вообще-то, люди могут жить?!!»

***

День народного единства и борьбы противоположностей. Все, как и говорили классики диалектического материализма.

(4 ноября)

***

Процесс заглатывания пылесосом электрошнура завораживает.

***

А вот еще одно умершее слово, симпатичное – телефонировать. И телефонов выше крыши, но никто не телефонирует!

***

Заплатил взносы в Литфонд. Десять минут слышал причитания. Путин много чего пообещал творческим работникам, но ничего не сделал. Писатели бедные, не всем по карману взносы заплатить. В фонде денег на самом донышке. Поэтому материальная помощь выделяется только на похороны.

А рядом, в начале Гоголевского бульвара, Фонд культуры. С Михалковым во главе. Так вот там в деньгах недостатка нет. Потому что Михалков любит отчизну правильной любовью.

Писатели же – даже не странной, а какой-то извращенной. Потому-то отчизна им денег и не дает. Только на похороны. И не из сострадания, а от радости.

***

Вчера с мужем сестры (то есть с зятем) разбирал гараж типа пенал. Подошла дама. Судя по яркой одежде, совсем недавняя красотка. Неопределенного возраста, над которой изрядно потрудился алкоголь. Спросила закурить. Тихим голосом, узнавшего все о своей судьбе человека. Дал закурить. Тихо спросила:

– Работаешь?

– Да, – говорю, – работаю.

– Воскресенье же, – опять тихо, одновременно и с упреком, и с жалостью ко мне, не следующему церковным канонам.

И ушла, грустная.

***

Прислали предложение работы по моему профилю: дед Мороз и Снегурочка, 50 тыс. руб. Правда, не пояснили, в качестве кого из этих двух персонажей. Поэтому не откликнулся: вдруг предложение оскорбительное!

***

Учредили литературный конкурс им. Потемкина. Логичнее было бы – архитектурный.

***

Миром правит пена.

(мрачно просматривая новостную программу)

***

А ведь день еще и дальше будет к земле пригибаться. Хотя, казалось бы, больше некуда. Не только сам пригибается, но и лично меня пригибает: идешь, под ноги смотришь, ямы с водой обходишь. И некогда в небо глянуть.

Да и нет там ничего, пустое оно, как скворечник на моей яблоне.

***

10 декабря одновременно День прав человека и День прав животных. Следовательно, ЮНЕСКО, учредивший (учудивший) такое – главный рассадник толерантности.

***

А вот еще одно музейное слово: численник.

***

Надев ходовые ботинки (в самом прямом смысле), углубился в лес, чтобы с максимально возможной частотой отталкиваться ими от почвы. Почва, кстати, не чавкающая, а подмороженная.

В конце просеки замаячила какая-то синяя куртка. Не напрягаясь, догнал. Куртка оказалась человеком. Глянул на него острым глазком – лет на пятнадцать моложе меня. Пыхтит, упирается. Упирается не только ногами, но и лыжными палками. Это у них, у космополитов, скандинавской ходьбой называется. А на поверку сплошная фанаберия – движения суетливые, а ход тихий.

Хотел сказать, что нам, русским, за традицию держаться надо. Но поразмыслил. В последнее время столько агрессивных русофобов развелось... Куда ни плюнь, обязательно попадешь в русофоба. Даже в безлюдном лесу.

***

Старушка с клюкой, памятуя о том, с какой скоростью передвигаются «полуторки» и «Победы», решительно пошкрябала на красный свет светофора. Разумеется, ее не задавили. Потому что старикам везде у нас дорога, молодым везде у нас почет.

Тут можно было бы ввернуть насчет призывного света маяка Харона, влекущего божьих мотыльков на другой берег Леты. Но мы этого делать не будем. Мы предоставим такую возможность подлинным ценителям русской словесности, которые от рецензии к рецензии не устают напоминать о том, какой же у меня бедный язык.

***

Продавщицы в специализированном винно-водочном магазине начали узнавать. Но пока еще не здороваются. Срочно, срочно надо заняться самокоррекцией!..

Ну, или сбрить бороду.

***

Проехал от края Москвы до середины и обратно с одинокой желтенькой монеткой в кармане под пение ангелов.

***

С трудом опуская правую руку и роняя ее на клавиатуру, настучал: «Как же я устал!» Восклицательный знак дался с особым трудом.

И хотел уже в изнеможении откинуться на спинку кресла, как его пронзила острая мысль: «А ведь этим воспользуются! Нельзя подставлять им затылок!» И немедленно прошелся по строке Делитом.

Вариант: И хотел уже в изнеможении откинуться на спинку кресла, как его пронзила острая и беспощадная мысль: «А ведь я сижу на табуретке!»

***

Почему-то одни и те же люди, прежде восторгавшиеся политической доблестью Эдуарда Лимонова, теперь его проклинают. Называют исчадием ада и ренегатом, продавшимся узурпаторам.

Экая близорукость, однако. Никогда Лимонов не был на стороне лавочников. Все было понятно, когда он вернулся сюда с романом «У нас была великая эпоха». Он всегда был в восторге от грандиозного человеческого эксперимента. Который мы сейчас и наблюдаем. Так что никому он не продался, не надо глупостей.

(наблюдая в мониторе извержение виртуального Везувия)

***

На новогодней вечеринке НЛО популярный и авторитетный литератор среднего возраста заявил нам с Андреем Левкиным, что своим учителем в критике считает Вячеслава Курицына. Ну, а мы с Андреем для него друзья. Что, с его точки зрения, куда лучше и почетнее.

И тут вспомнил я (но промолчал), как этот литератор лет пятнадцать назад, тогда еще совсем молодой, назвал меня своим учителем в прозе, а Николая Байтова – в поэзии.

И ощутил я себя человеком, с которого погоны сорвали.

Однако время неумолимо движется в сторону прогресса: скоро, видимо, стану учеником.

***

Всегда знал, что Байтов выдающийся враль. Но вчера он превзошел самого себя, заявив, что попугаиха умерла от родов.

***

В гипермаркете сидящая на руках у барыньки собачонка посмотрела на меня надменно.

Товарищ Зюганов, сколько еще ждать?!!

***

Подвижность приятельских, товарищеских, дружеских, неприятельских и враждебных связей – это на самом деле очень хорошо. Это жизнь, пластичная и переменчивая. Смерть эти процессы останавливает.

***

Что делает человек, который возглавляет партию пенсионеров?

Борется за права пенсионеров. Протестует против отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Все это верно для какого-то другого места на земле.

У нас же он вносит в думу законопроект о запрете самиздата.

Бедная моя родина, где в думе заседают такие радельцы.

***

Ехал сегодня в маскву в электричке, условно говоря, для богатых. Билет вдвое дороже, идет быстрее и вполне комфортно. Раскрыл книжку, которую мне накануне подарил Женя Бунимович. И весь вагон оторвался от своих букридеров-смартфонов и воззрился на меня с недоумением: а этот-то как сюда затесался?!

Лишь единственный человек – веб-дизайнер хипстерского экстерьера – проявил полную индифферентность. На его голове была укреплена массивная конструкция, к которой подходили провода. Веки его были смежены, голова подергивалась. Человек себя током пытает, – подумал я.

***

И даже этот чистый свежий снежок не умиротворил вас, – грустно подумал он, глядя в окно. – Но, может быть, хоть в новогоднюю ночь... на площадях... все обнимутся, словно агнцы. Поскольку все они именно таковы. Лишь бы всё не испортила оттепель.

Приложение. **Жизнь на картофельном поле. Дневник натуралиста**

13 мая

Взял лопату и закопал в землю картошку. И абсолютно точно знаю, что она возрастет в количественном отношении.

Чего не скажешь о файлах, которые гоняют туда-сюда сидящие на своих трейд-пойнтах офисные работники. Пустоту сколько ни перегоняй с компьютера на компьютер, так и останется пустотой.

20 мая

Пока ни один росточек не взошел. Честно признаться, я волнуюсь. Как она там? Хватает ли питания, вдоволь ли питья? А может, крот завелся и жрет беззащитные корнеплоды? Кроты ведь такие: нажрутся картошки, и подавай им маленьких девочек. Про это еще когда Андерсен написал.

24 мая

Сегодня утром испытал большую радость: посаженный картофель начал всходить, выпускать ростки. Правда, довольно странным образом – я закопал клубни по линеечке, а ростки появились в хаотичном порядке. Поразмышлял и понял, что это вполне естественно. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, а картофелины – где земля питательнее. Вот они и разбрелись в поисках микроэлементов и прочих своих деликатесов.

Еще большая странность заключалась в том, что ростки были двух типов. Но и это было вполне объяснимо. Приобрел-то я два типа картошки: одна будет готова через сорок дней другая через восемьдесят. Это мне продавец сказал.

На всякий случай решил свериться с ботаническим атласом. Однако ростки даже отдаленно не напоминали Solanum tuberosum, каковой должен мне скоро дать обильный урожай. Полистал

атлас и установил, что на моем поле взошли Taraxacum и Sonchus, о которых в атласе говорилось, что это злостны сорняки. Рассвирепел да и выдернул их с корнем.

Ну, теперь моим картофелинам будет дышаться гораздо легче.

26 мая

Ростков все еще нет. Я волнуюсь. Ото дня ко дню волнуюсь все сильнее и сильнее. В таком состоянии люди способны бросаться под паровоз. К счастью, чугунку к нам еще не провели.

29 мая

Ну, наконец-то картошка моя взошла! Сегодня первую ночь спал спокойно. Снилось не стихотворение Игоря Холина «У метро Сокола дочь мать укокола...», а нимфы, играющие в лото.

5 июня

Взрыхлил картошку. Не саму, а уплотнившуюся вокруг нее землю. Существенных сорняков не обнаружил. Значит, может за себя постоять самостоятельно.

Теперь с нетерпением ожидаю, когда зацветет. Жизнь картофелевода – одно сплошное ожидание. Всё на нервах! Успокаиваешься лишь тогда, когда картошку съешь. Когда собрал урожай, то радоваться преждевременно. Поскольку может сгнить.

6 июня

Сомнения одолевают меня. Одолевают меня сомнения! Посмотрел на крайний в ряду картошечный росток. И стало мне его жалко: стоит маленький, щупленький поодаль от своих братьев.

И вспомнились мне рекомендации Мао по посадке семян в годы Большого скачка. Великий кормчий настаивал на том, что сеять надо как можно чаще. Чтобы всходы росли кучно, чтобы они помогали друг другу расти. Поскольку нормальный рост возможен только в коллективе.

И понял я, что Большой скачок у меня не получится. И стало мне грустно.

С печалью гляжу
в желтые воды Янцзы.
Где тот пловец
что, рассекая бурные волны,
звал китайцев вперед,
в светлые дали?

7 июня

Каждый знатный картофелевод, каковым и я являюсь (довольно странная форма употребления данного глагола: являюсь кому?), понимает, сколь важны в его нелегком труде планирование, контроль и учет. Сегодня пересчитал взошедшие картофельные ростки – ровно 60. Именно столько картошек я и посадил. Каждый куст принесет мне 5 кг отборного картофеля. Итого получается 300 кг.

80 мы с женой съедим.

140 – детям и внукам.

40 в изжаренном виде будет съедено с собутыльниками в качестве закуски.

40 пойдет на взятки редакторам отделов поэзии нескольких журналов.

18 июня

Растет. Шелестит на ветру. Радуется солнцу. Пьет дожди. Преданно заглядывает в глаза хозяину.

19 июня

С нетерпением жду, когда зацветет. Даже иногда по ночам выхожу, чтобы чуткими ноздрями уловить благоухание цветущей картошки.

И вот тогда – в петлицу! И закачусь куда-нибудь на литературный вечер этаким фоном-бароном! Вот, скажем, 25-го на презентацию книги Игоря Лёвшина «Петруша и комар». Явлюсь таким загорелым, с таким шикарным цветком в петлице – в качестве эксперта по сермяжности.

Кстати, Лёвшин и комара-то настоящего в своей маскве никогда не видал. Вот у нас, под Сергиевым посадом, комар лютует!

23 июня

Сегодня утром откуда-то – сверху, из-под земли, из скворечника? – влилась мне в уши некрасовская строчка: нашему пахарю моченьки нет!

Тут у нас одно сплошное волхование и столоверчение. Природа, когда от нее много требуешь (500 кг картошки с площадки 3х8 м) становится злобной и мстительной. Милости от нее ждать не приходится!

А уж если пытаешься взять что-то своими руками, то руки отрывает, оставляя огрызки арматуры. Как на знаменитой картине Виноградова и Дубосарского.

26 июня

Сутки отсутствовал. Вначале в Москве, потом переместился в Королев. И все время думы мои были заняты картофелем: как он там без меня?

Ничего. Выстоял. Даже, по-моему, подрос и похорошел. Некоторые особо кустистые кусты начали цвести. Вот так мы с природой бок о бок, рука об руку делаем одно общее дело.

Кстати, вчера один критик сказал, что при всяком моем упоминании будет называть меня поэтом, прозаиком и знатным картофелеводом. Это лестно. Но на первое место я все же поставил бы картофелевода.

30 июня

Знаете ли вы, мирные народы, что такое фитофтора? То-то и оно! Паситесь себе в неведении!

20 июля

Тяжелые думы одолевают меня, а боль скворчонком стучит в виске. В такие моменты не следует пытаться со мной заговорить, начать расспрашивать о проблемах, протягивать руку помощи...

2 августа

Полегла!

12 августа

Пытался натаскать кота на крота. Через неделю изнурительной дрессуры понял, что ничего путного из этого не выйдет. Не станет кот терзать близкого фонетического родственника!

29 августа

Я разорен!

Вадим МЕСЯЦ

Преступление и наказание

Я бы много дал, чтоб перечитать свою первую работу по Достоевскому. Самое радикальное произведение моей жизни. Школьное сочинение, за которое я получил двойку за содержание и тройку за грамотность. Я горжусь этим результатом до сих пор. «Преступления и наказания» я не читал: писал согласно внутреннему чутью. С проблематикой был более-менее знаком. То ли понаслышке, то ли по телефильму. Раскольникова не осуждал. Если бы перед убийством он зашел ко мне, я бы сказал ему: решай сам. У каждого дела есть свои плюсы и свои минусы. Это было главной мыслью сочинения. Раскольникова могли ждать великие дела. Зачем я буду наступать на горло его песне?

Я считал, что все мои сочинения должен украшать звучный эпиграф. Цитаты я выдумывал сходу и неизменно подписывал их Проспером Мериме. «Человек – сложное, но нежное существо». Проспер Мериме. «Все люди – братья, но братья двоюродные». Проспер Мериме. Для Достоевского я решил использовать народную поговорку, которую тоже мог знать эрудированный Проспер. «Старость – не радость», написал я, намекая на возраст процентщицы. В тексте много распространялся про Свидригайлова, расспросив о нем у соседки по парте. На всякий случай сравнил Сонечку Мармеладову с Марией Магдаленой. Других фамилий, встречающихся в романе, не помнил. Раскольниковым откровенно восхищался. Считал, что это человек поступка, раскисший от христианских предрассудков.

Меня вызвали к завучу. Фелицата Андреевна, небольшая горбатая женщина с крашеными волосами, спросила:

– Почему ты не явился, когда я вызывала тебя месяц назад? – оглядела меня. – Почему в джинсах?

– Усов из 10 «А» сломал мне нос, – сказал я правду. – Он – каратист. Я не мог появиться перед вами в таком виде. У меня затекли оба глаза.

Она рассказала мне про ударную комсомольскую стройку БАМ.

– Понял? – спросила она после внушительной паузы. – Вот как люди живут. Им не до заграничных пластинок.

– Понял, – сказал я и уже был готов удалиться, как в учительскую ворвался красномордый физрук и радостно сообщил, что я завалил спортивную работу.

– За весь год ни разу у меня не появился, – сказал Петр Иванович.

– Я занимался спортом, – ответил я. – Чтобы поднять общий моральный дух. На личном примере.

В комнате появилась учительница литературы с моей тетрадью в руке. Экзекуция продолжилась по нарастающей. Как? Почему? Какое имеешь право? Разговор получился пугающе долгим. Я улыбался. На следующий день начинались весенние каникулы.

Каникулы мы с Сашуком провели правильно. Отдыхали. Встречались погулять-покурить. Вечером шли смотреть «Капитана Врунгеля». К концу недели решили наведаться в Лагерный сад,

---

Вадим Месяц родился в 1964 году в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Автор множества публикаций в литературных «толстяках» («Урал», «Знамя», «НЛО», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Крещатик» и др.) и более пятнадцати книг стихов и прозы. Лауреат премии New Voices in Poetry and Prose (1991, USA), Бунинской премии (2005), премии им. П.П. Бажова (2002), финалист Букеровской премии (2002) и др. Организатор «Центра современной литературы» в Москве и руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». В «Волге» публиковались стихи (2015, №7-8). Живет в Москве.

где у памятника павшим стояли наши товарищи по школе с деревянными автоматами. Дело ответственное: к вечному огню брали лучших. Мы с Лапиным к таким не относились.

Сашук щелчком отшвырнул сигаретку в почерневший снег и победоносно высморкался. Мы стояли у подножия монумента, где огромная каменная Родина-мать протягивала винтовку своему каменному сыну. У их ног жалкими лилипутами стояли в синих шинелях юноша и девушка из восьмого «А» класса. Оба были симметрично прыщавы и серьезны. Мы поднялись по гранитным ступеням и засмотрелись на столбик огня, вырывающийся из металлической пятиконечной звезды. Горелка тревожно гудела. К памяти защитников отечества мы относились с уважением. К почетному караулу пиетета не испытывали.

– Как служба? – спросил Сашук дружелюбно. – Не надоело?

Сторожа воинской славы молчали. Мы спустились с постамента и направились к казарме Поста номер один, где надеялись повстречать одноклассников. Березы наливались белизной в предчувствии скорой весны, сугробы по краям дорожек стали пористыми и твердыми. Навстречу нам бежали наши друзья в униформе, с муляжами автоматов Калашникова в руках.

– Как дела?

– Нападение на Пост номер один.

Мы не сразу поняли, что речь идет о нас. Оказалось, нападение совершили мы. Они пришли за нами. Застава – в ружье. Наиболее активным оказался руководитель почетного подразделения, Петр Львович Шаповалов. Мужчина тридцати пяти лет. Комсомольский чин. Он отдавал обрывистые приказания:

– Взять их, – заорал он, когда понял расклад, а соображал он быстро.

Мы тоже врубились, что к чему, и побежали в сторону реки. Путь для отступления в город был отрезан. На Томи велись строительные работы по укреплению набережной. Край обрыва был срыт экскаваторами: внизу вторым ярусом проходила дорога. На нее мы и скатились, благополучно найдя детскую горку. Драпанули в сторону утесов, надеясь найти спуск к реке. Неутомимый Львович ринулся за нами. Он вошел в раж и буквально задыхался от бега и азарта погони.

Я был в клешеных полосатых брюках из местного ателье, тяжелом полушубке и каблукастых сапогах с расстегнутыми молниями, чтобы наполовину заправлять в них брюки: для понта. Правый сапог свалился с моей ноги, и я растянулся на накатанном льду в полный рост. Поднял глаза и увидел, как на склоне мои товарищи встали в ряд по его периметру. Чтобы и муха не проскочила. Вид у них был удушающе серьезный. Они были похожи на карателей из кинофильма про фашистов.

Шаповалов настиг меня в двух обезьяньих прыжках и попытался скрутить за спиной руки. Я увернулся и сел на дороге, глядя на его живот в синей олимпийке. Он помог мне подняться и заорал вслед Сашуку:

– Я поймал твоего друга. Если у тебя есть совесть – остановись.

На мартовском речном ветру это звучало забавно. Лучше бы у Сашука не было совести. Лапин остановился, почувствовав, что его не преследуют. Встал поодаль.

– Че тебе надо? – прокричал он. – Мы тут гуляем.

– Прогулка закончена, – пробормотал Шаповалов.

Сашук нехотя подошел к нам:

– Че надо?

Мы поднялись наверх, цепляясь за маленькие елки и выступы скал. Люди в шинелях окружили нас. Глаза их горели ненавистью, Сережа Риттель ткнул меня в спину автоматом.

– Попались, – сказал он.

Чем их там накачали? Явно не «капитаном Врунгелем». Нас привели к основанию памятника. Караул у вечного огня еще не сменился. Прыщавая девочка из восьмого «А», завидев нас, горделиво достала из кармана черный радиопередатчик с длинным штырем антенны. Подъехали менты на желтом уазике. Одноклассники запихнули нас в решетчатый отсек лунохода. Отъезжая, мы смотрели из заднего окна на товарищей в синих шинелях, на бесцветный в солнечный полдень вечный огонь, на огромный памятник, роняющий бесформенную тень на главную аллею парка.

В молодости я соображал быстрее, чем сейчас. У меня был полушубок с брезентовым верхом. В кармане – нож с выбрасывающимся лезвием. Я нажал на кнопку, быстро вспорол карман и переместил нож за подкладку на задницу. Финка эта счастья никому не приносила. Ее бывший владелец, актер драмтеатра, чуть было не сел из-за нее за хранение оружия.

В милиции нас допросили и провели обыск.

– Вы учитесь в той же школе? – прояснил лейтенант ситуацию. – Это упрощает дело.

Первым он обыскивал Сашука. Из-за рваного шрама на шее вид у него был более криминальный. Он выложил на стол надорванную пачку сигарет «Солнце», спички с изображением кролика на коробке. Укоризненно покачал головой. Я достал из кармана головку репчатого лука и бутылек с «тройным» одеколоном. Лейтенант встрепенулся:

– Ну-ка дыхните.

Мы не без удовольствия подышали ему в лицо табаком.

– Зачем вам одеколон?

– Люблю его запах, – сказал я. – В приличном обществе надо хорошо пахнуть.

Нас отпустили минут через десять. Мы тут же вернулись к вечному огню и провели сеанс пантомимы с неприличными жестами для наших обидчиков. Юноша и девушка из восьмого «А» по-прежнему стояли на посту. Мы немного покривлялись и довольные разошлись по домам.

Политинформации проходили у нас в четверг. В 8:30 утра. Начало занятий попало именно на этот день. Обычно Грайф рассказывал про Никарагуа и наш подводный атомный флот. На сегодня тема лекции изменилась. Моисей Максович был бледен, руки его самопроизвольно застегивали и расстегивали верхнюю пуговицу на пиджаке.

– Ребята, прошу внимания! – сказал он, наконец. – В нашей школе произошло ЧП городского масштаба. – Он тяжело замолк, собираясь с мыслями. – В понедельник, 30 марта в 11:30 утра два распоясавшихся юнца, иначе я не могу их назвать, совершили нападение на Памятник славы в Лагерном саду. Они его осквернили. Лапина и Месяца прошу встать.

Мы нехотя поднялись, заскрипев стульями. Моя подруга, когда я встал, нежно обняла меня за ногу.

Грайф рассказал, что у вечного огня мы оба курили, лузгали семечки и матерились. Действительности это не соответствовало, но мы не стали спорить.

– У меня дедушка воевал с 39-го по 46-й, – сказал я. – Сейчас сидит в инвалидном кресле. Парализовало в прошлом году. Зачем мне осквернять памятники?

Временной отрезок службы деда не понравился Моисею еще больше. Он с семьей был сослан в Сибирь из Черновцов после аннексии Западной Украины, но об этом не распространялся.

– И это еще не все, – продолжил он. – Вчера ученик Лапин вместе с учеником девятого «А» класса Евгением Штерном пронесли на территорию Поста номер ящик вермута и устроили безобразную пьянку. Я считаю это спланированной идеологической диверсией. Я просто не могу подобрать слов для поведения этих подонков.

Мы учились в немецкой школе. Еще недавно здесь преподавали ряд предметов на немецком языке. Сейчас остался только технический перевод и немецкий. Политические казусы случались. Несколько месяцев назад были пойманы ребята из десятого класса, которые носили значки с изображением Гитлера на внутреннем лацкане пиджака: подарок от ровесников из Германской Демократической республики. Зимою нашумела история с моей женитьбой в поезде Новосибирск-Ташкент, куда мы ездили на каникулы с классом. Со свадебными тостами, кольцами, первой брачной ночью. Осквернение памятника стало восклицательным знаком моей карьеры. Мне было пятнадцать лет. Я уже достаточно прославился и был популярен.

В мае начались отчетно-перевыборные комсомольские собрания. Выступающие рассказывали об успехах нашей школы, об отличниках и спортсменах. Если нужно было подчеркнуть отдельные недостатки, речь заходила о нас с Лапиным. Мою фотку сняли с доски почета, благодаря чему она сохранилась до сегодняшних дней. Шили аморальное поведение, осквернение святынь, покушение на социалистическую законность. Как вообще можно осквернить святыню, если она

святая? На то она и святыня, чтоб стоять в веках, невзирая на наши шалости. Зарубить топором старушку – преступление, а полюбить одноклассницу или поиздеваться над дураками – благое дело.

Мы сидели с Лапиным вместе, добродушно слушая речи наших товарищей. Процедура есть процедура. На процедуру не обижаются. У Лапина в кармане лежал бычок от длинной папиросы «Казбек», он вонял на весь зал. Учительница литературы, сидевшая рядом, сделала Сашуку замечание:

– От вас пахнет, как от табачной лавки, – сказала она.

И тут Сашук вскипел:

– Вы когда-нибудь были в табачной лавке, Виктория Павловна? – возмутился он. – Там пахнет совсем по-другому!

Она оскорбленно пересела подальше от нас. Через час мы сидели в подвале дома Аньки Чернышевой и вместе с Лапиным и Штерном пили вермут. Я сдернул пробку своим знаменитым ножом и хохоча спросил:

– А что бы на это нам сказал Проспер Мериме? Кто это такой, кстати?

Шинель для Лейбы

Внешне он был похож на Троцкого. Лейба помог мне с переездом, когда у меня не было ни машины, ни денег. Я пришел в офис к Эрику Кунхардту спросить, что у них делают, когда съезжают с квартиры.

– Полечу на родину. А мебель куда девать?

Эрик увлеченно стучал по клавиатуре. Поднял на меня глаза и вновь ушел в компьютер.

– Ты много ешь, – сказал он, наконец. – Ты стал толстым, Дыма. А переехать тебе помогут мои студенты.

Была весна. Цветущие яблони хорошо смотрелись на фоне красного кирпича нашего кампуса. За окном лежал недвижный Гудзон с фанерной панорамой небоскребов Манхэттена. Внизу шныряли разноцветные международные студенты. В тот год я увлекался индусками, но они не могли перетаскивать тяжелые вещи. И вообще я не хотел никому говорить, что уезжаю.

Эрик дал мне бригаду из двух человек. Про одного я уже сказал. Имени второго не помню. В прокате у Голландского туннеля мы взяли фургон, быстро погрузили в него кровать, шкаф, стол и стул и отвезли их в подвал одному знакомому. Тот сочувствовал России и был готов поделиться местом на своем складе.

– Ты когда-нибудь был в суши-баре? – спросил меня Лейба, когда работа была закончена. – Я балдею от японской кухни.

– В баре был, а в суши нет, – ответил я честно. – Но тоже балдею.

Место располагалось на центральной улице. Сырая рыба недавно начала свое победоносное шествие по миру и даже здесь пока что считалась экзотикой. Мы сели втроем у стеклянной витрины с видом на город, заказали по бутылке «Саппоро».

– Это специальный лосось, – сказал Лейба важно, когда нам принесли большой поднос с ассорти из суши, сашими и вегетарианских роллов, – не вздумай употреблять рыбу из наших супермаркетов в сыром виде. Можно заразиться описторхозом.

Про паразитов, передающихся от рыбы человеку, я знал, но вежливо кивнул и продолжил обучаться есть рис палочками. С роллами справился быстро, но рис мне никак не давался. Соевый соус и имбирь как продукты питания были мне знакомы по Дальнему Востоку, поедание сырой рыбы меня смущало мало. Мне понравилась васаби. Коллеги прочитали познавательную лекцию и о ней.

– У нас это называется чушь, – сказал я, вспоминая недавнюю молодость. – Чушь, суши – похожие слова. Одно и то же. Только в Сибири сырую рыбу едят с уксусом и перцем.

Я рассказал, как режут на деревянном столе кострюка, только что снятого с самолова. Как он пляшет среди граненых стаканов с водкой, извивается змеиным телом и бьет хвостом. И какая у него костяная голова. И как это красиво.

– Осетровые – родственники акул и ихтиозавров, – закончил я. – У них в процессе эволюции даже не сформировалось позвоночника.

– Все-таки русские - живодеры, – протянул Лейба, и они с другом переглянулись. – Вы едите рыбу живьем?

– Только по праздникам, – ответил я.

Мы перешли к разговору о женщинах. О том, что для быстрейшего достижения результата надо создать романтическую обстановку. Лейба поделился с нами несколькими случаями из личной жизни.

– Я зажег свечи, – сказал он. – Поставил алую розу в бутылку из-под шампанского. Мы недооцениваем мелочей, а женщины устроены по-другому. Они любят такие штучки. Цветы, музыка, галантное обращение.

Поспорить с ним было трудно. Тему пришлось вскоре сменить, потому что к нам присоединились Эрик и его сосед Норман, толстый, скучный старик, в подвале у которого я оставил свою мебель. Норман недавно побывал в Санкт-Петербурге и взахлеб рассказывал теперь о России.

– Почему вы считаете, что идея ваучеров порочна? – сказал он, обращаясь к присутствующим. – Ведь она верна. Если раньше все принадлежало государству, то после приватизации надо разделить общественную собственность поровну.

Мы испуганно замолчали. Норман тоже посетил суши-бар впервые, но сырую рыбу есть отказался. Эрик, как настоящий витающий в облаках профессор, ел все, что ему дают, думая о чем-то своем. Ел и напевал какую-то мексиканскую мелодию.

– Я слышал, ты нашел себе girlfriend, Дыма, – посмеивался он. – Тебе было нужно идти не в японский, а индийский ресторан.

Мы вернулись к дамской теме. О политике говорить не хотелось. Лейба пересказал вновь прибывшим о преимуществах романтического свидания перед неромантическим. Развязалась оживленная дискуссия. Брутальных мужчин среди нас не было. Мы отдали им пальму первенства в искусстве обольщения. Норман прошелся по питерским проституткам:

– Сто долларов, – возмутился он. – Я просто подошел поинтересоваться. Сто долларов! Это как здесь. Она что, думает, что я не знаю шкалу цен? Не знаю, сколько стоит завтрак в гостинице? Теперь понятно, почему она ходит в такой дорогой шубе.

– Ты же недавно женился, – подколол его Эрик. – Мог бы сохранять супружескую верность хотя бы на первых порах.

Когда мы прощались, я спросил Лейбу, сколько я ему должен за ужин. Без его приглашения я бы в ресторан не пошел, но он помог мне перевезти вещи, накормил, рассказал о том, как нужно себя вести с женщинами.

– Ты знаешь, – ответил он тоном человека, уже давно принявшего решение. – Я тебя угощаю. Разве что хочу попросить об одном одолжении.

Я внимательно посмотрел на него и допил пиво.

– Привези мне из России офицерскую шинель. Если, конечно, это недорого. Я готов вернуть тебе за нее деньги. Хочу таким образом свести счеты с Красной армией.

Его прадед был родом из Российской империи. Какие-то исторические обиды остались. Лейба хотел отомстить России за страдания своего пращура. За то, что сам по вине прадеда оказался здесь и вынужден теперь помогать обнищавшим русским и кормить их японскими деликатесами.

В родном городе я зашел к знакомому полковнику в отставке, соседу по лестничной площадке. Он умирал от рака желудка. Последняя стадия. Мы обнялись, сели пить чай. Черкасов расспрашивал меня о заморской жизни. Я отвечал. Когда подоспел момент, поведал ему о просьбе Лейбы.

– Любят они все наше, – сказал он. – Офицерские часы. Черную икру. Девок наших любят. Только вот к «Беломору», наверное, не могут привыкнуть.

На мою просьбу он откликнулся радостно.

– Все равно я скоро помру, – сказал он. – А с Америкой у нас теперь дружба. Я рад за тебя. Шинелей у меня полный шкаф. Иди – выбирай. Как в магазине. Только парадную оставь, пожалуйста.

Шинелей у полковника оказалось четыре штуки. У одной супруга уже отрезала рукав для каких-то хозяйственных нужд. Мы достали полковничий гардероб и разложили его на небольшой двуспальной кровати.

– Хорошие, – сказал я, разглаживая короткий шерстяной ворс старинной военной одежды. – А ходить в ней удобно?

– Не понял.

– Ну они такие длинные. Я давно привык к курткам. И потом жесткие. Воротник колется, да?

– Ты, что, в шинели не ходил? – спросил меня полковник подозрительно. – Колется ему... Надень тогда шарф. Какого твой приятель размера?

Я примерял пиджак Лейбы. Мы с ним носили вещи одинакового размера. Это упрощало мою задачу. С Черкасовым мне тоже повезло: мы были одного роста и телосложения. Я надел шинель, посмотрелся в зеркало.

– Как будто на тебя пошита, – сказал полковник. И вообще тебе военная форма к лицу. Жаль, что ты не пошел в военное училище.

Мы вернулись к чаю. Старик притащил с балкона банку клубничного варенья. За чаем рассказал, что год назад к его дочери пришли устанавливать кабельное телевидение. Человек, представившийся монтером, оказался маньяком. Изнасиловал Надьку и её старшую дочь. Потом убил. И сам повесился в туалете. Четырехлетняя Анька три дня бродила среди трупов. Сейчас бабушка пошла за ней в детский сад. Если я еще немного посижу, будет шанс познакомиться.

Я горестно молчал, оглядывая скромную обстановку. Лакированная мебель из какой-то страны социалистического содружества, лосиные рога на стене, чеканка с обнаженной влюбленной парой. Надвигающаяся смерть, которую он принимает со смирением и безропотностью. Надьку я знал: мы обменивались с ней видеофильмами. Один раз она угостила меня большим шматом настоящего деревенского сала.

– Подожди-ка, мил человек, – вдруг сказал Черкасов. У меня и для тебя есть подарок. Я помру – а тебе пригодится.

Он удалился в спальню и принес кортик. Офицерский кортик. Предмет форменной одежды на флоте. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме и на парадах.

– Трофей, – объяснил он. – Настоящий. Немецко-фашистский. С подводной лодки.

– Вы решили так отомстить немцам?

– Что, Дим?

– Ну храните его. Будто изъяли...

Старик меня не понял. Я задумчиво взял кортик, вынул его из ножен, вложил опять. В часах проснулась кукушка. Она была пыльной и немного хрипловатой.

– А чья это шинель? – мне пришла в голову неожиданная идея. – Такая маленькая. Как детская...

– А, – засмеялся Черкасов. – Это у меня был в гостях майор Чижевский. Мелкий во всех отношениях человек. Вместе служили. Сейчас проворовался, торгует американскими сигаретами. Выпили. Опаздывал в аэропорт. На такси убежал прямо в кителе.

...Осенью я появился в офисе у Эрика Кунхардта. Поговорили о том, о сем. Тот собирался переходить в Бруклинский университет. Там больше платят. Когда появился Лейба, я вынул из рюкзака шинель.

– Вот. Только что с офицерского плеча, – сказал я ему. – Уникальная вещь. В России шинель как форму отменили. Перешли на полупальто.

Рукава оказались Лейбе чудовищно коротки, но он счастливо причитал и благодарил за подарок. Спрашивал о правилах химчистки. Маршировал по офису в шинели, застегивал и расстегивал ее. Поднимал и опускал воротник. Он чувствовал себя абсолютно отмщенным.

Егор ФЕТИСОВ

В противоположную сторону

Иногда кажется, что дождь бесконечен, что Северное море обладает неисчерпаемыми запасами туч, которые оно шлет на наш приморский городок с бесстрастностью конторы, осуществляющей бесперебойные поставки продукции. Уже на лестничной площадке я натягиваю капюшон: струйки дождя, пока я завтракал, текли и текли по оконному стеклу, образуя русла рек и притоки, впадающие в реки, и ручейки, впадающие в притоки, и большие отдельные капли, приходящие в движение и впадающие в ручейки... На улице никого. Хартманы, мои соседи по дому, они же владельцы квартиры, которую я снимаю, еще спят: на пенсии можно позволить себе такую вольность. Их серебряного цвета «вольво» (что, в общем-то, непатриотично с их стороны) одиноко смотрит на Фундсдорфштрассе, потом мне в спину, пока я пересекаю ее в неположенном месте, потом опять на Фундсдорфштрассе, когда я пропадаю из вида, послушно бредя в сторону остановки автобуса.

Они уже, наверное, стоят там, прячась под пластиковым навесом. Старшей лет семь, может быть, восемь. Она с ранцем за плечами, красным, с принцессой или феей, я в них не очень-то разбираюсь. Не имея детей, трудно разбираться в принцессах и феях. Младшая с розовым рюкзачком, с кошечкой, совсем кроха, лет четырех, от силы пяти. Я уже знаю наизусть то, что сейчас произойдет, но всякий раз переживаю увиденное заново, как свою личную трагедию. Старшая берет сестру за руку и переводит на противоположную сторону. Там такая же остановка, с неизменным пластиковым навесом, исписанная полуграмотными ругательствами. Малышка поблескивает глазами из-под капюшона, пока сестра дает ей указания. Ничего не говорит, не кивает, только блестит глазенками, и кажется, что она вот-вот заплачет.

Старшая возвращается, оборачивается и машет ей рукой. Подходит автобус и скрывает малышку из глаз. Я поспешно занимаю место у окна и смотрю на нее – как она там. Улица пустынна. Кроме меня и этих сестер никто никуда не едет. Я давно уже посмотрел ее расписание: автобус подойдет через шесть минут и увезет ее куда-то в противоположную сторону. Мы трогаемся, и через зареванное дождем стекло автобуса я смутно различаю контуры детской фигурки. Она машет нам рукой. Конечно, она машет сестре, но мне кажется, что и мне тоже. Она ведь уже стала частью моей жизни. Фундсдорфштрассе делает изгиб, и обе остановки исчезают за поворотом. Она машет нам до последнего. Думаю, она машет еще долго, после того как автобус пропадает из вида. Дети навряд ли понимают, когда уже можно не махать. Когда уже не нужно махать. Когда махать уже бесполезно.

Всякий раз я думаю об одном и том же: куда они едут? Где их родители? Почему они в такую рань и в любую погоду всегда приходят? Неужели они не болеют, не простужаются, не уезжают с родителями на каникулы? Я думаю о том, что мог бы удочерить их. Наверное, я думаю об этом не всерьез, но мне приятно об этом думать. У меня были бы две дочки, и я собирал бы их в школу и в детский сад, и мы ехали бы вместе, все на одном автобусе, который идет куда-то в очень хорошее и счастливое место.

Остановка пуста. Их нет, и в это невозможно поверить, потому что они были здесь всю осень, всю зиму, и начинающейся весной тоже были. Я растерянно смотрю на ту сторону. Подходит мой

Егор Фетисов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Закончил немецкое отделение филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Печатался в журналах «Арион», «Октябрь», «Нева», «Слово»/«Word», «Новый Берег», интернет-журналах «Семь искусств», «45-я параллель», Literratura и др. Финалист Международного Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2015). Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» (2012), романов «Пас в пустоту» (2014) и «Ковчег» (2015). Редактор журнала «Новый Берег». С 2013 года живет в Копенгагене.

автобус, и водитель выжидательно смотрит на меня, открыв двери. Я смотрю через окна автобуса на ту сторону. Двери бесшумно закрываются, и автобус, быстро набирая ход, исчезает за поворотом. Я машу ему. Оказывается, вот так автобусы исчезают. Это полезно узнать, хотя бы сейчас.

Я возвращаюсь домой, завариваю себе кофе. Потом ложусь с книжкой на диван. Наверное, у меня будут неприятности на работе, но ведь это особый день, не такой как все. Я откуда-то знаю, нутром чувствую, что больше не увижу этих девочек, уезжающих в разные стороны. Они больше не появятся на моей улице. И мне хочется думать, что это к лучшему.

Вадим ШАМШУРИН

Вокруг кошки

Кошка осторожно перебежала через участок и скрылась под крыльцом. Тут же она вынырнула с другой стороны и проскользнула в дверь. Запрыгнув на стол, а затем на подоконник, она в напряжении, словно мышь, готовая в любой момент при опасности дать деру, стала есть.

Дом пуст. Дети играют в песочнице. Но песочные дороги и замки стремительно могут оказаться забытыми, дети могут вспомнить про кошку, вновь поймать ее.

Воздух дрожит от зноя. Поселок в оцепенении. Вдалеке слышно, как монотонно постукивают колесами грузовые вагоны. Радио то тише, то громче бормочет новости.

«В результате артиллерийского обстрела жилых районов погиб ребенок и пять местных жителей, правительственные войска отрицают факт применения артиллерии, обвиняя в этом противника...»

Но новости быстро заканчиваются, вновь играет музыка.

Мысли медленные, едва ворочаются, неповоротливые, как земляные пчелы. «Потому что шмель живет в норах», – говорит сестре мальчик.

Кошка сидит на подоконнике. Она смотрит через окно. Насекомое ползет по стеклу, и кошка внимательно наблюдает. Солнце припекает, и насекомое выползает из поля внимания, глаза заволакивает то ли от сонливости, то ли от тепла, наполнившего кошку, словно бурдюк.

Но вдруг глаза ее расширяются, она в одно мгновение вскакивает и стоит вздыбившись. Где-то рядом большая опасность. Чувствуя своей маленькой душой: что-то стремительно приближается. Прячется под стул и ждет, но в доме тишина, от легкого сквозняка шевелится занавеска и слышно, как снаружи шелестят кроны и чирикает какая-то небольшая птица.

В дом входит мужчина. Он шагает тяжело. Следом за ним, как бы догоняя, но не приближаясь, появляется женщина. Кошка теперь видит, как сгустился вокруг женщины воздух.

– Я прошу тебя, – еле слышно говорит женщина.

– Я иначе не могу, – не поворачиваясь, застыв у окна, отвечает мужчина.

Кошка прошмыгивает сквозь ноги людей через открытую дверь. Снаружи мир сразу светлеет.

Кошка не может понять, как и зачем она ловит птиц. Стремительные и юркие, в определенный момент они становятся медленными, они, словно зная, что им не уйти, лишаются воли и застывают на земле или уже в воздухе. Кошке только и остается, что прижать их хвост лапой. И даже отбиваясь от нее, теряя перья и отчаянно щебеча, они ей полностью покорны. Их держит

Вадим Шамшурин родился в 1980 году в г. Клайпеде (Литва). Окончил факультет географии и геоэкологии СПбГУ. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Сибирские огни» и др. Живет в Петербурге.

уже не кошка, а прирожденный страх. Смерть с безудержной прытью, судорогами, распыляет себя в их крови.

Дети уже спят. Женщина плачет, но бесшумно, только слезы капают с подбородка. Она складывает вещи в сумку, мужчина сидит, хмуро, чуть ли не со злостью смотрит куда-то вбок.

– Это быстро закончится, – то ли ей, то ли себе говорит он.

Когда вещи собраны, женщина садится по другую сторону стола. Они сидят молча, только слышно, как тикают часы. Кошка прыгает на стол и ласкается. Но никто словно не замечает ее. Мужчина поднимается, идет в комнату, где спят дети, поправляет одеяла и целует жаркие со сна лбы.

Дверь наружу открыта. Снаружи непроглядно темно и голосят в лесу птицы. Единый силуэт на фоне прямоугольника дверного проема разделяется, мужчина вытирает с щек женщины слезы.

Кошка следует одно время за ним по дороге вдоль поселка, но он идет дальше, и она останавливается, смотрит, как в темноте растворяется его запах. Далеко за полем что-то вспыхивает, быть может, это всего лишь зарницы.

Стоит жара, с кустов черничника осыпаются листки и ягоды. Губы, языки и пальцы у детей синие. Кошка где-то в траве, ее не видно, только время от времени она мяучит то там, то тут, то ли зовет куда-то, то ли ищет чего. Женщина бледна и насторожена, она смотрит то на детей, то на небо. Там гудит, словно это фильм про немцев, самолет. Гул удаляется и постепенно растворяется в шелесте крон. Кошка не дается на руки, но все время тут, рядом.

Воздух все больше и больше разбавляется опасностью. Она идет волнами, все мощнее и мощнее, позванивают стекла в окнах, и слышны далекие раскаты. Небо у горизонта вспыхивает и по своду ползет пелена, то ли чьи-то души, то ли дым. Женщина переносит теплые вещи и одеяла в погреб. Лицо ее каменное. Дети притихшие.

– Это люди убивают друг друга, – говорит мальчик девочке.

Женщина шикает на него. Кошка заглядывает в погреб, из него тянет холодом и сыростью. Но что-то там тихо скребется. Глаза у кошки разгорается, кончик хвоста подергивается. Уже совсем скоро она возвращается из погреба с полудохлой мышью в зубах. Кладет на порог. Кошка всегда кошка.

Страшно ночью. Дети беспокойно спят. Взрывы раздаются совсем близко. В свисте, с каким снаряды рассекают воздух – сковывающий волю, животный потный страх. Кошка вырывается и убегает, когда женщина пытается ее, как и плачущих спросонья детей, спустить в погреб. Ударной волной выбивает стекла. Кошка воет и шипит. Она вздыбилась перед домом. Она готова сцепиться с этим непонятным страшным невидимым зверем, что стремительно несется на нее. Она прыгает навстречу, но движения ее медленные, чужие, словно она какая-то глупая птица.

Герман ВЛАСОВ

***

Теряет, кто боится потерять;
а дерева летучая крылатка –
перелетит прополотую грядку,
глухой штакетник, за которым гать;

когда погожий день – тогда вдвоем
она на солнцепеке с ветром кружит;
она пересечет большую лужу,
уйдет за горизонт и окоем;

и там где сухостой и камыши
мешаются с землистою осокой, –
она отдаст зерно своей души
на берегу песчаном и высоком;

привязанности нету ни на грамм
в неслыханной такой воздушной почте,
а будет это липа или граб,
высокая сосна – узнают после...

***

Пасмурных веток оленьи рога
ночью от ветра бьются.
Если с тобой пойдем на врага, –
надо теплей обуться.

Зубы почистить, побрить лицо
и, прозвенев ключами,
на заметенное снегом крыльцо
с личными встать вещами.

Из второгодников кто, верзил
к нам накопил обиду,

Герман Власов родился в Москве в 1966 году. Закончил МГУ им. Ломоносова (филологический факультет, отделение РКИ). Лауреат (поэзия (2009), фото (2015)) и дипломант (перевод (2011)) Волошинского конкурса. Первое место в фестивале Синани-фест, Ялта (2010). Автор поэтических книг «Просто лирика» (2006), «Музыка по проводам» (2009), «Определение снега» (2011) и др. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Новый берег» и др. Переводил стихи и прозу с украинского, белорусского, татарского, грузинского, узбекского и английского языков. Живет и работает в Москве.

по скудоумию исказил
образ девочки Лиды?

Надо собраться в парке у лип
по двое или по трое.
Облака лобные доли – Олимп,
жидкий подлесок – Троя.

Чей о Щелкунчике рваный текст
ветром гуляет в поле?
О фарисеи, о крекс-фекс-пекс,
о буратинья доля!

Кто самураит и бьет в там-там
о вдохновеньи свежем?
Душно им там, душно им там –
в Лондоне, Киеве, Льеже.

Любовь

Учительница первая моя!
Когда из школы утренним маршрутом
растроганных и перистых края
я с белизной крахмальною попутал;

когда в клеенку рыжую звонил,
стучал и руки прятал за спиною, –
твоя игла царапала винил,
короткая вода была со мною;

она плыла, чтобы осталась связь,
тряпичного ландшафта и основы;
она сама, по-детски удивясь,
к листве и людям подбирала слово;

неправильно, что горестный сосуд
весь этот шар ветвящихся тропинок:
на самом деле, на плечах несут
мозаику большую; был суглинок

от влаги скользким, падали в овраг
зеленого орешника и смеха
такого, что один неверный шаг –
и расползется в простыне прореха;

потом стояла голая луна
и шли слова, как путники в пустыне,
но вот одна осталась тишина
широкая и сладкая, как дыня;

горел глазок и уменьшался в бровь,
за ним была невидимою зритель:
растущая и старая любовь;
учительница первая, учитель.

Осень

Цвет ее одежды, юбки, блузки,
водолазки цвет,
в тень, когда уходит по-французски,
по-английски... Нет –

в день, когда уходит по тверскому,
земляному мху
у реки, в уезде Конаково,
расстегнув доху.

Разорвав, все шарики рассыпав
(листьев винегрет!)
бус, – на глине рыжей, у отсыпки
их брусничный цвет.

Где семья опят, лисичек ворох
и паучья нить,
шарит по карманам (спичек шорох!)
чтобы закурить.

Выпуская облако витое,
новая, ничья
смотрит на пространство прожитое,
в зеркальце ручья.

***

Над картошкою профиль кавказен,
алыча окружила томат;
каревишен и сливообразен
Арарат; аромат, аромат

от бахчи, от янтарных черешен,
и охряной уже алычи, –
так что преющий лук безутешен
и склоняются люди-грачи

над промытой морковью, капустой,
над мешочками собранных бус
голубики; и вкусно, со хрустом
разрезается теплый арбуз;

входит нож в полосатое пузо,
обнажая и мякоть, и сок;
так звенело, гудело арбузом,
что лицом обернулся восток;

а гороха стручки и цыплята,
а тягучего меда слеза,
а, качаясь, воздушная вата,
незабудок лесных бирюза;

но уже у самих электричек,
у вокзала с кирпичной трубой –
на газете с десяток лисичек,
земляника, чеснок молодой;

на гвоздатом, дощатом перроне
запестревшим мозаикой ног –
ничего не останется, кроме
высыхающих луж в солнцепек.

Июнь

Плавни и сходни, вымостки и столбы,
Лето Господне, взгляды речной слюды.
отрок рыбачит – соло, а не вдвоем,
что-нибудь значит, хмурится водоем.

Перед возможным – вечным и обложным
людям несложно верить, что жизнь есть дым,
и в сочетанье спичек на глади вод:
вот и названье – гладким лицом плывет.

Как ее имя, что еще рассказать?
Кимры, Кириллов – дальше Кижи и гать,
всполохи, грозы, запад темен и ал.
Метаморфозы – хоть бы кого поймал.

Тучи трескучи, ветрен и тепл июнь,
Время как случай – каверзен, зол и юн
Розой ли чайной, охом, скрипом весла.
Желтая чайка окуня принесла.

***

Сон, прилипший к дереву улиткой,
остановленный губами смех...
Солнце, солнце, ты – моя улыбка,
ты – одна для всех

Видима сейчас и ощутима...
Дальше – несколько часов
мы идем с тобой, как пилигримы,
в море голосов.

Мы несем волшебную минуту
эти несусветные часы –
окружным маршрутом, через смуту.
Вместе мы – весы:

Если я теперь тебя забуду –
почерк, вес и суть –
покачнется чудо ниоткуда
и разгонит муть.

Свет июля – в замираньи, тени,
сутолоке, простоте;
в листьях, людях, гаме птичьем, в пенье,
ливне, духоте.

Мы одни на циферблате с ними,
нас не больше двух;
и тебя, наверно, не отнимет
разделенья дух.

Феликс ЧЕЧИК

***

под какую мелодию примем
смерть не смерть сон не сон
станем облаком белым на синем
накрахмаленным будто гарсон
под какую мелодию или
в тишине как в ночи
позабудем всё то что любили
растворимся и станем ничьи
невесомее тени полдневной
и прохладней реки
высыхающей внутривенной
божьей длани и детской руки

***

настроить телескоп
и пристально вглядеться
освободиться чтоб
от паутины детства
и от недетских мук
белеющих как сажа
но юности паук
но молодости пряжа

***

профессор кислых щей
любитель бла-бла-бла
на выход без вещей
в чём мама родила
замри умри и вновь
воскресни навсегда
где вечная любовь
и млечная звезда

***

Мишу рифмуя и Симу, –
рифмы не зная точней,
переживу эту зиму,
и позабуду о ней.

Будет не холодно с ними, –
холодно было без них.

Феликс Чечик родился в 1961 году в Пинске. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011). Живёт в Израиле.

Помнит о Мише и Симе
их постаревший двойник.

Вьюга становится тише
и затихает в душе.
Близости Симы и Миши
не удивляюсь уже.

Словно еловая лапа –
снежная в зимнем лесу,
ласково мама и папа,
гладят меня по лицу.

Отец

в костюме из кримплена
в болоньевом плаще
и море по колено
и смерти нет вообще
кримпленовый из польши
из еревана плащ
и десять лет чуть больше
осталось плачь не плачь

***

Как Рембо – завязать навсегда
со стихами, – забыть и забыться,
чтобы только: корабль и вода
и матросов похмельные лица.
Озарение? Боже ты мой!
Озарение – грудь эфиопки, –
нечто среднее – между хурмой
и «Клико», вышибающей пробки.
Небожитель и негоциант, –
путешественник на карусели,
умирать возвратившийся Дант,
в госпитальном кромешном Марселе.
Как Рембо, говоришь? Говори.
Поливай и окучивай грядки,
тиражируя скуки свои
на шестом и бесславном десятке.

***

по правде говоря
нет лучшего подарка
чем песня снегиря
на фоне лесопарка
подарка лучше нет
посередине лета
в израиле чуть свет
державинская флейта

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

СКВОРЕЧНИК №13

***

держательница миров
мечтательница ядра
смени голубой покров
выйди на круг бодра

рука от плеча кругла
спина от бедра сильна
подальше лети мечта
вольней расходись волна

тебе охватить посметь
пространство в один гребок
закручивается смерч
раскручивается клубок

пожар

И опять над нами не каплет, над нами не каплет,
И клубится над нами дымами взамен огонь,
И приходится снова копоть руками лапать,
И въедается копоть в ладонь, копоть в ладонь.

Этот двор поставляет топор, этот – багор,
Этот двор несёт ведро, а в нём воды.
Этот двор... собственно, здесь и вспыхнул костёр –
За все его дворовые, роковые труды.

И кто теперь в огонь – захлебнуться гарью?
Была одна судьба – теперь другая.
И под ногой с молоком опрокинулась плошка.
И кто-то плачет в сторонке – пока немножко.

Рафаэль Шустерович родился под Москвой, до 1993 года жил, учился и работал в Саратове, с 1993 года – в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, переводчик стихов с английского и других языков. Публикации в журнале «Волга» с 2010 года.

подорожник

Предположим, подорожник,
зелёной кожи листы,
стрелка я, а листок округлый –
листок это ты,
и у этой двойчатки
сущность клетчатки,
лечебные свойства
гиппократова свода.

У тропы известковой,
осадочной белой тропы,
я – листок фартовый,
а стрелка – стрелка ты,
к ране приложи,
два слова скажи,
по карманам ножи –
тихо лежи.

Подорожник устойчив,
подорожник вооружён,
на ветру сточен,
в небесах отражён,
господин художник,
нарисуй подорожник –
листок да стрелка,
всего-то безделка.

Неутомима,
золотая ящерица мимо.

отрывок

Скучай, скучай, бессменный бес,
Пока твой Фауст не исчез,
Пока он впал в бездумный транс,
И на скамейке – Гюисманс,
Отведай собственной вины
И скрипок смуглой ветчины.

Скучай. В погожий день видна
За морем грозная страна,
Её туманный жирный край,
Туда плыви – и умирай.
О, список фараонов в ней
Длиннее списка кораблей.

Гляди в казённое стекло:
Непраздным тучам тяжело;

Три пальца вправо – вне земли
Влекутся цепью журавли,
И по волне бегут, легки,
Каракки наперегонки.

Играет с бесом человек –
И вот уже на стогнах снег,
Он заполняет черновик –
И вот он не скучать отвык,
И вот корабль, и беса прыть,
И вот сквозь зубы: утопить.

позиционирование

Закажем министерству пропаганды
короткий ролик: что-нибудь о стран-
ностях любви. Ведь там на должностях
сидят такие зубры – им, конечно,
заботы не составит расписать
минут на семь, а может, и на восемь
волшебное движение двух душ
друг к другу, и предчувствие разлуки –
пусть не сейчас, а где-то в обозримом,
нет, лучше в том далёком и туманном,
у входа в... нет, лучше не у входа...
Но нет, пускай они ломают перья,
долбят клавиатуру, жмут на Save
As, и опять перебеляют строки
сценария – с таким-то пониманьем
особенностей малых коллективов,
принципов лидерства, баланса сил,
основ мобилизации ресурсов
и мощи неосознанных инстинктов.

***

человечек соломенный
того и гляди сгорит
человечек несломленный
того и гляди воспарит

человечек глиняный
бумажный
вполне авантажный
бледный благородный вид

человечек бронзовый
желудёвый
ветошный ртутный стеклянный

человечек розовый жёлтый пьяный
опоясывается жгутом
не знает что будет потом

скворечник №13, Винтертур

Хрупких бирюлек субтильные груды,
кряжей огрузлых глухие горбы –
в парке, где осень важнее причуды,
слаще бессмертья, прозрачней судьбы.

Стылое время – объект вожделенья,
код обнажения птичьих домов,
в пламя подбрасывает поленья
бескомпромиссных утренних снов.

Это ль не свет над Гельвецией, это ль
не опалимость безродных рябин,
нимфы, мелькнувшие бронзовым эхом,
памятью бёдер, и персей, и спин?

Vale, насельник, скворец или галка,
Пой, прославляя чужие миры:
Рыхлым пространством делиться не жалко,
бархатом хвои, штофом коры.

Номер тринадцать. Плещите, ладони,
алые – клёнов, златые – берёз,–
нам, выживающим, млеющим в зоне
крипты подвала от атомных гроз.

***

Почтовый ящик пуст. Полковнику никто
не скажет: посмотри, что пишут с континента.
Полковнику никто не проверяет пульс,
пиявок не несёт, не требует контента.

Слова, слова, слова не значат ничего,
не значат ничего дела, кресты, погоны.
Отпаренный мундир, седая голова,
и каждый третий шаг приветствуют вороны.

Калитку на крючок, на передержку дни,
на проволоку въезд, на выволочку память.
Скитайся в темноте, мучительный зрачок;
Не видя высоты, как долго можно падать.

Михаил БАРУ

САМОВАР ЛОЦМАНА ВОРОНИНА

(Окончание. Начало см.: Волга. 2015. №11-12; 2016. №1-2)

Торопец

Как ни старайся угадать правильное ударение в названии русских городов – все равно ошибешься и скажешь вместо Чу́хлома – Чухлома́, вместо У́стюжна – Усти́жна, Тотьма́ вместо То́тьма, а вместо Торо́пец – Торопе́ц. По неправильному ударению торо́пецкие жители и отличают своих от приезжих. Ссылки на то, что, есть, к примеру, Городе́ц, Еле́ц и даже Горохове́ц, не принимаются во внимание. Торо́пец и только Торо́пец потому, что река Торо́па, и потому, что торопится. И Торопцом-то он стал далеко не сразу, а был сначала Кривитеском. Сначала – это так давно, что Москва... Нечего и говорить о Москве, когда она моложе Торопца лет на сто, а то и больше. Торопец ей в прадедушки годится. И вообще Торопец вошел в тридцать древнерусских городов, первыми упомянутых в летописях, и Кривитеском его называли потому, что жили здесь кривичи. Здесь уже в девятом веке было поселение викингов, здесь гуляли на свадьбе Александра Невского и на второй день пели такие частушки про Золотую Орду... Какая после этого Москва...

Начнем, однако, с самого начала. Кривичи, пришедшие в эти места в седьмом или в восьмом веках, были мирными и не любили выяснять отношения с соседями, а потому предусмотрительно забрались в самую глубь непроходимых лесов и болот, на западный край нынешней Тверской губернии – подальше от Москвы, Твери, Новгорода и Пскова, которых тогда еще и в помине не было. Они облюбовали себе то место, где через озеро Соломено протекает река Торопа. Кривичи были заядлые рыболовы и поселились в самом рыбном месте – кроме Торопы в тех местах еще несколько озер и десяток речек мал мала меньше.

И стали они на его берегах жить-поживать, ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, добывать зверя и растить лук с капустой на своих огородах. С местом они не прогадали – пройдет еще сотня-другая лет и выяснится, что место это не только рыбное, но и денежное, поскольку лежит как раз на пути из варяг в греки. Ну, а пока варяги еще не пришли и звать их никто и не думал, кривичи обнесли свои дома и амбары с сушеной рыбой, ягодами, грибами и добытыми медвежьими шкурами частоколом из заостренных бревен и назвали все это... Никто не знает, как они назвали свое поселение, но в средневековых писцовых книгах, летописях и в других, более поздних документах оно называлось Кривитеском, или Кривическом, или Кривитепском, или Кривичехом, или Кривитом, или Кривигом, или как писец, почесав пером за ухом, записывал – так и называлось.

От тех, почти баснословных времен, до нас дошло немного – глиняные черепки с простенькими узорами, рыболовные крючки, превратившиеся в железную труху ножи, разноцветные керамические бусины и название одной из лучших торопецких гостиниц «Кривитеск»[1].

К концу первого тысячелетия нашей эры жители Кривитеска стали принимать активное участие в проплывающей мимо них торговле. На берегу озера Соломено появились ~~шиномонтажные~~ мастерские по ремонту торговых ладей, пристани, постоялые дворы, харчевня «Щучьи дети», где подавали мелких копченых щурят с темным ячменным пивом, хмельным квасом и забродившим березовым соком. В лавках местных менял можно было попробовать на зуб золотой византийский солид или серебряный арабский дирхем, спросить, сколько это будет в беличьих шкурках или в вяленых судаках, и тихонько выйти, бормоча себе под нос... Впрочем, тогда уходили молча, потому как о словах, употребляемых в подобных случаях, никто не знал и не подозревал даже – до нашествия татар с монголами было еще, как до Китая... то есть до Монголии.

Как, когда и почему Кривитеск превратился в Торопец, мы не знаем и теперь уж вряд ли узнаем. Лаврентьевская летопись упоминает торопецкого купца Исаакия по прозвищу Чернь, раздавшего свое имущество нищим, ушедшего в Киев и принявшего там постриг. Исаакий умер в Киеве в 1074 году и был канонизирован под именем преподобного Исаакия Печерского. 1074 год считается годом основания Торопца. Версий о происхождении его названия столько... и еще полстолька. Остановимся на той, которая от названия реки Торопы, которое от глагола торопиться. На самом деле Торопа никуда не торопится – тихая и спокойная река, правда, вода в ней гниловатая, как и в озере Соломено. Есть в ней и в озере места, не замерзающие даже зимой. Это, по всей видимости, и привлекло кривичей – круглый год можно было находиться под защитой незамерзающей воды.

Так или иначе, а в одиннадцатом веке Торопец уже был торговым, купеческим городом. Торговали лесом, мехами, рыбой, кожами собственной выделки, медом и воском. Торговали и богатели. Кривичам для защиты своих избушек и рыбных запасов хватило и частокола из заостренных бревен, а торопчанам для защиты своих купеческих хором и сундуков с деньгами пришлось насыпать вокруг города высокий земляной вал и увенчать его крепостной стеной с башнями. Деревянная стена, понятное дело, не сохранилась, а валы, образующие что-то вроде небольшого, поросшего изнутри травой и изрытого кротами кратера вулкана районного масштаба, и сейчас возвышаются на острове у впадении Торопы в озеро. Экскурсовод мне рассказывал, что сюда приходят молодожены, просто влюбленные и каждый год школьники-выпускники, приносящие в этой чаше, укрытой от ветров и посторонних взоров, жертвы Бахусу, а как стемнеет, то и Венере.

В 1168 году Торопец, жители которого к тому времени уже успели принять христианство, упоминается в летописи как центр Торопецкого удельного княжества. Скорее всего, валы городища были насыпаны в одиннадцатом веке при первом торопецком князе Мстиславе Ростиславиче Храбром, сыне смоленского князя Ростислава Мстиславовича. Тогда все воевали против всех. Смоляне и торопчане в 1169 году ходили воевать Киев, а новгородцы в это время сожгли и разграбили Торопец, уведя в плен часть местных жителей. Ровно через год торопецкая дружина во главе со своим князем, вместе с суздальцами и их союзниками огнем и мечом прошлась по новгородским землям.

Мстислав Храбрый воевал всю свою жизнь и умер, собираясь в поход на Полоцк. Практически не слезавший с коня, не снимавший кольчуги и не выпускавший из рук меча, он каким-то образом все же успел родить трех сыновей от двух жен. Одному из этих сыновей – Мстиславу Удалому – он и отписал по завещанию Торопецкий удел.

При Мстиславе Храбром все было, как и при его покойном папаше – все воевали против всех. Торопецкая дружина под его началом ходила в походы против половцев, против чуди, против Всеволода Большое Гнездо, против венгров, потом вместе с половцами против монголов, потом против поляков... потом Мстислав Удалой умер. Торопчане любили его за бесстрашие и даже сложили про него песню «Мстислав Удалой»[2]. Мстислав Мстиславич остался в русской истории не только как торопецкий князь[3], но и как дедушка Александра Невского.

Когда Мстислав Удалой занял новгородский стол по просьбе новгородцев, торопецким княжеством стал владеть его брат, Давид, при котором все было, как и при Мстиславе – все воевали против всех, только к обычным проблемам с новгородцами, суздальцами, смолянами и всеми остальными соседями прибавились проблемы с усилившейся Литвой. Князь Давид и погиб в битве с литовцами. Пришлось срочно подружиться и даже породниться с владимиро-суздальскими князьями и с новгородцами – новгородский князь Ярослав, отец Александра Невского, взял в жены дочь Мстислава Удалого – Феодосию. Не помогло – за короткое время Торопец пять раз сжигали и разоряли литовцы. Князья ссорились, мирились, снова ссорились, плели интриги, скакали на белых и вороных конях впереди своих дружин, а торопчане в перерывах между боями пожарами и осадами денно и нощно молились о даровании им другого глобуса. Впрочем, о глобусах тогда и не подозревали и потому молились о другой плоской земле и о черепахах со слонами, на которых она держится.

В 1239 году Александр Невский, которому Торопецкий удел достался по наследству от матери Феодосии, венчался в Торопце с Александрой, дочерью Полоцкого князя Брячеслава. Именно здесь, в Торопце, сварили, по тогдашнему свадебному обычаю, свою первую кашу молодые, а вторую сварили по месту работы Александра, в Новгороде, где он тогда княжил.

Теперь в Торопце на Малом Городище стоит мраморный памятный знак, на котором написано, что на этом месте будет установлен памятник. Знак, видно, давно установлен, и надпись на нем читается с трудом. Зато надпись на памятной табличке у растущего неподалеку на этой же улице дуба читается отлично: «Сей дуб есть семя от семени дуба, посаженного святым князем Александром Невским в год своего венчания в Торопце в лето 1239 года». Бытует среди торопчан легенда[4] о том, что молодые по пути в Новгород из Торопца остановились у озера Наговье и князь на радостях посадил там дуб. И этот дуб рос до той самой поры, пока его не подожгли фашисты[5]. Дуб долго болел, но выжил. Через пять лет в него ударила молния и расколола пополам. Врач сельской больницы, расположенной неподалеку, стянул железным обручем ствол дуба, и тот снова выжил. Прошло еще двадцать восемь лет, и под дубом, которому к тому времени пошла восьмая сотня лет, развели костер рыбаки. Они не хотели его поджигать. Не фашисты же они, в конце концов, но... уголек от костра попал в дупло, и дуб сгорел дотла. Нашелся местный житель, который взял да и рассадил несколько уцелевших отростков княжеского дуба. Один из этих отростков был посажен в Пскове, другой там, где стоял сгоревший дуб, а третий в Торопце. Здесь о нем поначалу никто и не знал, и только теперь, спустя много лет, благодаря энтузиастам и сотрудникам местного краеведческого музея дуб обнесли чугунной оградой, и учитель одной из школ ~~обнес его стихами~~ посвятил ему стихи[6].

Вернемся, однако, в средневековый Торопец. После смерти Александра Невского литовские князья мало-помалу стали прибирать к своим загребущим рукам Торопецкое княжество. Спастись от жестоких литовцев в непроходимых лесах было невозможно – литовцы были пострашнее степняков, поскольку и сами были лесными жителями. Немецкий летописец того времени писал «...и русские бегали от литовцев, хотя бы и малочисленных, по лесам и поселкам, подобно тому, как бегают зайцы пред охотниками».

Известия о тех временах отрывочны и темны, но как бы там ни было, а в 1362 году литовский князь Ольгерд присоединил Торопец к Великому княжеству Литовскому. И стал Торопец литовским на полтораста лет. С одной стороны, это избавило его от татар, а с другой – пришлось переселиться на низменные берега Торопы и Соломено, чтобы новым властям было удобнее, в случае нужды, усмирять торопчан. Потом и вовсе пришлось торопчанам переселяться на остров. Там они были как на ладони. Надо сказать, что литовцы, завоевав торопчан, большей частью сохранили порядки, бывшие до них. Торопец за полтора века под властью Литвы так с ней сжился, что в конце пятнадцатого века, когда усилилось Московское государство, когда Иван Третий взял Новгород и начались набеги новгородцев на северные торопецкие волости, торопчане и не подумали бросаться в объятия Москвы. Воевали долго и упорно. Набегом отвечали на набег. Жгли, грабили, убивали и уводили в плен новгородцев, бывших уже под властью Москвы до начала шестнадцатого века, пока в 1500 году Торопец не был взят соединенными московскими, новгородскими и псковскими войсками под командой новгородского наместника Андрея Челяднина. Через три года по шестилетнему перемирию Торопец со всеми своими волостями отошел Москве. Между прочим, торопецкие бояре по условиям перемирия должны были покинуть торопецкие земли, а все их вотчины Иван Третий раздал своим людям. Они и покинули их, и уехали ко двору великого князя литовского Казимира и жили там, и терпели нужду, надеясь на то, что все у них еще будет, в то время как у них уже все было.

После вхождения в состав Московского государства для Торопца изменилось многое, но только не статус порубежного и прифронтового города. Теперь уже литовские, а потом и польско-литовские войска пытались если и не отобрать Торопец у Москвы, то хотя бы сжечь и разграбить. Пришлось подсыпать валы, рубить новые стены и башни.

В 1580 году город осадил Стефан Баторий, но взять не смог. Потом началась Смута, и Торопец присягнул Второму Самозванцу, потом отряд русских и шведов разбил поляков, и торопчане присягнули Василию Шуйскому, потом город и уезд грабили поляки, литовцы и сторонники Самозванца. Потом, когда уже прогнали поляков, пришли в 1617 украинские, запорожские казаки и просто уголовный сброд, и устроили такое, что торопчане стали вспоминать поляков и литовцев с ностальгической теплотой. Приходили в себя долго, не один десяток лет. Приграничная полоса на пятнадцать верст была опустошена. В уезде образовалось полторы тысячи пустошей. Когда в 1662 году торопчане в своей челобитной царю писали «...твой государев порубежный город Торопец искони стоит на крови», то против истины не грешили. Ни капли.

Кроме регулярных боевых действий и осад, заглянула в город еще и эпидемия чумы. О пожарах и говорить не приходится. Эти приходили, как по расписанию. Пожары были по недосмотру и намеренные, когда торопчане, перед тем как затвориться в крепости от неприятеля, на всякий случай сжигали посад, чтобы врагу нечем было поживиться. Если сосчитать все дома, которые торопчане за всю историю города сожгли на всякий случай и вновь построили, то этими домами, наверное, можно было бы застроить Москву. Если к ним прибавить сгоревшие по недосмотру, то две Москвы. И при всех этих пожарах, эпидемиях, осадах и наводнениях город успевал торговать и богатеть.

О торопецкой торговле и торговцах надо сказать особо. В немецкую Ригу возили дрова и строевой лес, в Новгород везли мясо и рыбу, воск – в Ярославль и другие русские города, в Литву везли кожи самой разной выделки, бараньи тулупы и барашковые шубы, рукавицы, сапоги, сермяжное сукно, сермяги и епанчи. С мехами все обстояло сложнее. Уже при Иване Грозном лесов вокруг Торопца сильно поубавилось. Зайцев и белок добыть еще можно было, а вот соболей уже нет, и поэтому за дорогими мехами приходилось ездить в Москву, а уж после покупки везти их на продажу заграницу. Дело это было трудным и часто опасным. Конечно, между Москвой и Польско-Литовским государством существовали торговые договоры, по которым обеспечивался беспрепятственный приезд и отъезд торговых людей в обе стороны, но таможня в польских, литовских и немецких городах не только давала добро, но часто его же и отнимала. В преддверии Смутного времени и во время него купец даже не всегда мог понять – где и какую границу он переходит. Иногда литовские и немецкие купцы сами приезжали и приплывали в Торопец, чтобы продать свои товары, а взамен увезти коровьи шкуры, нагайки, рыболовные снасти, невареный мед и медвежье сало. Так в Торопце появились и прижились литовские евреи, хотя им и было запрещено торговать в Московском государстве. Запрещение, конечно, никуда не делось, но, как писали торопецкие лучшие торговые люди в 1653 году: «если б не пускать в Торопец для торгового промысла литовских евреев и Литвы разных вер, то государевой таможенной казны и трети не собрать».

Вообще запретительных указов Москва выпускала тогда множество. Время от времени часть товаров объявлялась заповедными. К примеру, в 1634 году было не велено продавать литовцам крестов, вина, меда, воска и золотых ефимков. Торопчане были, однако, большие мастера обходить правительственные указы и распоряжения. Правду говоря, они были закоренелые контрабандисты. Редкий торопчанин не был замечен в неуплате таможенных пошлин. Основную часть товара, привезенного из-за границы, старались привезти ночью и тут же спрятать. На таможне показывали лишь одну подводу с вершками, а обоз с корешками стоял где-нибудь в лесу или в глухой деревне под присмотром своего человека. Торопецкий историк Иван Побойнин, в своей книге «Торопецкая старина», вышедшей в 1902 году, пишет: «И в настоящее время существует в Торопце каменный двухэтажный дом постройки начала восемнадцатого века, в нижнем этаже которого – между стенами одной большой находящейся в нем комнаты и между наружными стенами дома – находится особое помещение, очевидно, предназначавшееся для скрытия в нем контрабандных товаров». Торопчан власти ловили за снятием уже наложенных на их возы с товаром таможенных печатей, и подкладыванием в эти возы новых товаров. Больше всего торопецкие купцы любили взять денег в долг, на покупку товара, и не вернуть их. Брали в Москве, в Литве, в Риге и вообще где угодно за границей, поскольку дома такие фокусы удавались редко. Бегали от своих кредиторов целыми семьями. Их ловили, наказывали, но исправить не могли. Не гнушались они и прямым обманом покупателей. В 1629 году Торопецкий торговый человек продавал сало в бочках. Продавал «сало за чисто, и хитрости в том сале, сказал, никакой нет». Как бы не так! При проверке оказалось, что в «сале в бочках в середке налито воды». Немудрено, что частыми гостями в Торопце были следственные комиссии из Москвы. Размер таможенных недоимок и остальных безобразий был таков, что накрыть поляну, напоить, накормить, одарить и отправить обратно в столицу уже не получалось. В 1734 году «за неправильный торг» торопеческое купечество уплатило астрономической величины штраф в размере десяти тысяч рублей и дало подписку в том, «чтоб впредь им, торопецким купцам, торги свои производить правильно». Торопецкие негоцианты обязались пошлины уплачивать сполна, товаров не утаивать, по ночам контрабанду не ввозить и не вывозить, российских серебряных денег и червонцев за границу не вывозить (был за ними и такой грех), «а ежели в вышеписанном или в другом чем против указов и

таможенных прав и состоявшегося тарифа учинят хотя малое преступление, и за то им учинена была смертная казнь с отнятием всех их пожитков; и во исполнение вышеписанного всего непременно под тем подписались». Ну, да. Подписались. Буквально через несколько лет какие-то предприимчивые, если не сказать жуликоватые, торопчане исхитрились в Германии занять денег под товар, который они обещали... но не привезли. Ни к обещанному сроку, ни через год после него. Немцы обиделись, и дело дошло до императрицы. В Торопец приехала очередная комиссия и стала строго требовать возврата денег. Тут-то и выяснилось, что кредит брала семья купцов-покойников. Умерли они все задолго до описываемых событий, но фамилии свои землякам оставили для оформления бумаг. То есть они, конечно, не оставляли, но не пропадать же такому добру. Хорошая купеческая фамилия на дороге, как известно не валяется. Вот и на кладбище ей нечего лежать без дела.

В 1737 году один из торопецких купцов написал донос на своих товарищей по цеху. Прямо императрице, которой тогда была Анна Иоанновна, и написал. В письме, среди прочего, было и такое: «...торопецкое купечество, которые торги имеют за границей, как Ея Императорскому Величеству Всемилостивейшей Государыне Императрице известно, что в воровском торгу древние преступники и в утайке пошлин похитители».

Тем не менее, торопецкая торговля шла успешно и ко времени царствования Елизаветы Петровны достигла своего расцвета. Торговали с Англией, Германией, Голландией, Данией, Персией и даже в далекой сибирской Кяхте держали своих приказчиков для торговли с Китаем. Бытует среди торопчан легенда о том, что обратились к Елизавете Петровне англичане с просьбой торговать через Россию с Китаем. Не долго думая, собрала императрица совет из самых своих именитых купцов. Из тридцати двух присутствовавших на совете купцов – девятнадцать было из Торопца. Англичанам, конечно, отказали. И вообще, нечего их баловать, и торопецким купцам такая торговля была поперек собственных интересов. Историю эту рассказали мне в Торопце два раза два совершенно разных экскурсовода. Попробовал я было заикнуться, что, мол, легенда, конечно, красивая, но... Посмотрели на меня при этом, как на англичанина, который собрался торговать с Китаем через Россию.

В те времена часть торговых прибылей и сверхприбылей торопецких купцов оседала в Торопце в виде красивых домов и храмов, выстроенных в стиле «торопецкого барокко». В одном из таких старинных купеческих домов живет теперь торопецкий музей истории фотографии. В нем кроме фотографий есть уголок русского быта. Среди непременных в таких уголках прялок, маслобоек, чугунных утюгов, глиняных свистулек и вышитых полотенец есть фотография начала прошлого века, на которой изображены торопецкие красавицы в своих драгоценных нарядах. В прямом смысле этого слова драгоценных. На голове у каждой... нет, это язык не повернется назвать головным убором. Это архитектурное сооружение, тоже в своем роде произведение «торопецкого барокко», представляет собой род кокошника с шишками. Шишки эти, похожие на обычные сосновые и еловые, сделаны из сотен и тысяч речных и озерных жемчужин, которые исстари добывали в реке Торопе, озерах Соломено и Заликовье. Шишек могло быть на кокошнике до нескольких десятков. Да еще жемчужная сетка, прикрывавшая волосы и лоб, да три ряда жемчужных бус, да шитый золотом платок... Вся эта вавилонская башня стоила в ценах конца позапрошлого века от двух до семи тысяч рублей. За эти деньги можно было купить целую усадьбу. Торопчане не были бы самими собой, если бы не извлекали из таких сокровищ выгоду. Их давали на прокат, на свадьбы, не забывая при этом зорко за ними присматривать. После революции... Бог знает, куда они подевались после революции. В местном краеведческом музее этого тоже не знают. С другой стороны – если бы у них такой убор в коллекции был, то его, понятное дело, тотчас же отобрала бы Тверь, а у Твери Москва.

Кстати, о музее. Он находится в барочном здании церкви Богоявления, красивее которой в Торопце не найти. По документам церкви всего две с половиной сотни лет, а на вид все пятьсот – так она запущена. Я посмотрел на нее и подумал, что люди, которые красили и штукатурили эту церковь в последний раз, наверное, давно уже умерли. На колокольню уже не пускают, часть стекол выбита... Торопец к концу восемнадцатого века, конечно, выглядел лучше, но бедность уже стучала в его окна. Торопецкая торговля стала понемногу приходить в упадок. Причиной тому – далеко отодвинувшаяся западная граница империи, новые торговые пути, Петербург с его торговым портом и большие парусные корабли с трюмами, полными товаров. Торопецким торговцам, которые, в сущности, были

средневековыми челноками, пришлось со своими возами подвинуться так далеко, что они и сами не заметили, как оказались задвинутыми в дальний угол, по улицам которого бродили сонные куры. Когда в 1778 году торопецкий священник и первый торопецкий историк Петр Иродионов писал в предисловии своего очерка: «Словом сказать, что он был некогда совсем в ином состоянии, нежели в каком теперь находится», – то он имел на это все основания. И все же, по новому, утвержденному Екатериной Второй городскому плану, улица «Миллионная» в Торопце была. Не такая, конечно, как в столице, но ведь и с миллионами в Торопце все обстояло не так хорошо, как в Петербурге. Торговля уходила, а ее место занимало ремесло – кузнечное, ювелирное, кожевенное, сапожное, портновское. Писали иконы, научились делать печные изразцы отменного качества. Прочтет читатель два последних предложения и скажет: «Экая, однако, тоска в этой провинции. Сапоги, подковы, поддевки, армяки... Кабы какой герой, или полководец, или мореплаватель...» Были и мореплаватели. Двух адмиралов, двух георгиевских кавалеров российскому флоту в восемнадцатом веке подарил маленький городок на реке Торопе. Одному их них, Петру Ивановичу Рикорду, земляки поставили памятник в виде огромного валуна и прикованного к нему якоря на берегу озера Соломено рядом со входом в краеведческий музей. Второму – Макару Ивановичу Ратманову – памятника в Торопце еще не поставили, зато в его честь назвали самый восточный российский остров в Беринговом проливе. Петр Иванович был губернатором Камчатки, освобождал русских моряков из японского плена, организовывал морскую блокаду Дарданелл в турецкую кампанию 1828 года, был членом-корреспондентом Академии Наук и первым употребил в печати слово «пароход». Макар Иванович вместе с Крузенштерном и Лисянским обошел вокруг света, воевал со шведами и начальствовал над портом Кронштадта. Все это происходило в невообразимой дали от Торопца, в котором... тачали сапоги, ковали подковы, шили армяки, писали иконы и ходили по улицам сонные куры.

Война двенадцатого года до Торопца не дошла. Было, однако, в городе устроено Запасное рекрутское депо, в котором обучали новобранцев, прежде чем отправить в действующие части. Все же в Торопецком уезде было создано народное ополчение, которое выдвинулось к западным границам уезда, чтобы пиками, топорами, вилами и косами встретить неприятеля, в случае, если он... но у неприятеля было такое количество проблем, что до границ уезда он так и не добрался. Да еще в августе двенадцатого года привезли в Торопец пленного губернатора парижского, маршала Жюно. Недолго он там пробыл и был отправлен в свой Париж. Говорили, что торопецкий городничий купец второй гильдии Поджаров обращался к Жюно запросто – «коллега», чем доводил маршала и герцога до белого каления.

Девятнадцатый век прошел в Торопце еще тише, чем восемнадцатый. Наверное, он был самым тихим и мирным в истории города и уезда и становился все тише, потому что торопчане понемногу уезжали из города в поисках работы и лучшей жизни. Уехали из торопецкого уезда и родившиеся в нем композитор Модест Мусоргский, будущий военный министр и член Государственного Совета генерал Алексей Куропаткин и мальчик Вася Беллавин, ставший в последствии Патриархом Тихоном. Вернулся на родину только Куропаткин. На дворе был уже двадцатый век и новая власть. Старик до самой своей смерти преподавал в сельскохозяйственной школе села Лебедево, которую сам же и основал, и заведовал волостной библиотекой, которая теперь носит его имя. Возле сельскохозяйственной школы местные жители и поставили ему на свой счет памятник. За год до его смерти в двадцать пятом году в Торопце был основан краеведческий музей. Генерал Куропаткин представлен в нем картиной неизвестного художника «Лунная ночь на Украине», реквизированной из его имения, доспехами японского самурая семнадцатого века, привезенными генералом из поездки в Японию в те времена, когда он еще был военным министром, и фотографией, где он на рыбалке с крестьянскими детьми. Да еще, сказали мне в музее, бамбук, посаженный генералом, растет в парке его бывшего шешуринского имения[7].

Вообще говоря, экспозиция торопецкого краеведческого музея очень скромна. Отчасти потому, что выставочных площадей в Богоявленской церкви мало. Да и не приспособлена она для музея. Нового здания музею строить никто не собирается, а потому власти присмотрели купеческий особняк, но особняку хорошо бы сделать ремонт, а уж потом и переезжать. Ремонт обещают сделать обязательно, а поскольку обещанного ждут три года... Пока прошло только два с половиной. Понятное

дело, что в старом здании ремонт делать уже не будут. Смысла нет. Знать бы, в чем он есть – этот смысл. Вряд ли в том, чтобы тысячи экспонатов музея держать в запасниках и ждать наплыва туристов[8].

В одном из залов музея увидел я выставку, посвященную первому русскому укротителю Николаю Павловичу Гладильщикову. На самом деле он, конечно, не первый, и не столько русский, сколько советский, но... уроженец Торопца, а уж в Торопце до него точно никто медведей и львов не дрессировал. Первый он был в том смысле, что вывел на арену вместе со львами, волками и медведями ослов, петухов и даже галок с воронами. И все эти львы и медведи, вместо того чтобы немедля сожрать ослов, петухов и галок с воронами, показывали почтенной публике различные трюки. Выступал Николай Павлович и с дрессированным удавом по кличке Крошка, правда, только до тех пор, пока тот однажды чуть не проглотил его собственную жену. Гладильщиков был необыкновенным силачом и, как и все силачи, рвал цепи и ломал толстенные гвозди голыми руками. Обрывки тех самых цепей и обломки тех самых гвоздей теперь лежат в музее, на столе, на подушечке красного бархата. Каждый может подойти и убедиться, что теперь таких гвоздей не делают. Не говоря о цепях.

В двадцатом веке в Торопце и уезде больше не рождалось ни адмиралов, ни генералов, ни великих композиторов, а все же родился в 1902 году человек, имя которого теперь заслуженно забыто. Это автор ряда работ по марксистской идеологии науки, академик ВАСХНИЛ, правая рука академика Лысенко и, наконец, просто сукин сын – Исаак Израилевич Презент. В торопецком краеведческом музее нет ни его фотографии, ни личных вещей, ни потрепанного экземпляра журнала «Яровизация», в котором он был, вместе с Лысенко, соредактором, ни пишущей машинки, на которой он настучал статью, а по существу, донос в «Правду» под названием «Лжеученым не место в Академии Наук». И хорошо, что нет.

На втором этаже музея расположен зал, посвященный войне. Немцы заняли Торопец уже в конце августа сорок первого. В Николаевском мужском монастыре устроили концлагерь для военнопленных[9]. Расстреляли двести человек. Торопецких евреев обязали носить белые повязки. В ноябре их расстреляли. Семьдесят пять евреев похоронено в братской могиле на торопецком кладбище возле Трехсвятской церкви. Может, и не семьдесят пять. Может, и больше...

В январе сорок второго немцев из Торопца погнали. Морозы был сильный – тридцать и даже тридцать пять. Еще и полутораметровой глубины снег. Мерзли ноги у немцев, и они делали себе эрзац-валенки. Добротные, надо сказать, валенки. На толстой деревянной подошве с войлочным верхом и кожаными застежками. Стоять в них удобно, а отступать нет. Есть в музее такой валенок. Правда, всего один. То ли его обронили при отступлении, то ли сняли с того, кто уже никуда не шел.

И еще про войну. Неподалеку от музея, на той же Комсомольской улице, но на другом берегу Торопы, стоит на постаменте самолет – памятник военным летчикам. Памятник ставили через сорок лет после победы. К тому времени найти целые По-2 и Пе-2, которые с окрестных аэродромов летали бомбить фашистов, было практически невозможно, а потому взяли то, что смогли достать – реактивный МиГ-21. Ну, да это ничего. Памятная табличка на постаменте все объясняет.

После грохота войны тишина в Торопце стала еще оглушительней. Жили, работали. Построили мебельный комбинат, швейную и обувную фабрики, литейно-механический завод, мясокомбинат, маслосыродельный завод, ликероводочный завод. Когда все построили – началась перестройка. Стали перестраивать. Сначала перестал работать мебельный комбинат, потом литейно-механический завод, потом мясокомбинат, маслосыродельный завод, ликероводочный завод... В общем – все как у всех. Из того, что не как у всех – в семьдесят четвертом году поставили памятник школьному учителю. Ученики предвоенных выпусков поставили за свой, а не за казенный счет. Торопчане говорят, что это единственный памятник учителю в России. Теперь, может, и не единственный, но навсегда первый.

И еще из того, что не как у всех. В восемьдесят пятом году в торопецком районе известным специалистом по бурому медведю Валентином Сергеевичем Пажетновым была основана биологическая станция «Чистый лес», на которой стали выращивать медвежат-сирот. Выращивать и выпускать в те места, откуда их привезли. За тридцать лет существования станции вырастили около двухсот медвежат и выпустили их в лес. Самое сложное в процессе выращивания, как сказал Валентин Сергеевич,

– не приручить медвежонка. Даже когда держишь его на руках и поишь молоком из бутылочки. С ним нельзя разговаривать, чтобы не приучить его к звуку человеческого голоса, с ним нельзя играть, с ним нельзя... всего не перечислишь.

Я спросил его – были ли какие-то смешные ситуации с медвежатами за три десятка лет работы. Валентин Сергеевич посерьезнел и сказал, что смешные случаи бывают обычно с людьми, а с медведями... Потом все же вспомнил про своих первых двух медвежат. Он был им, по его собственным словам, суррогатной матерью. Когда пришла осень, Пажетнов повел медвежат в лес, чтобы те смогли залечь на зиму в берлогу. Надо было приучать уже подросших медвежат к самостоятельной жизни в лесу. Это было очень непросто, потому, что больше всего медвежата хотели залечь в спячку в его палатке – там была теплая печка и он сам.

Мы говорили о медвежатах, о том, как непросто их растить, и мне думалось о том, что будь я медвежонком – тоже от него не ушел бы в лес. Валентин Сергеевич напомнил мне медвежьего деда Мазая и старичка-лесовичка одновременно. Еще я подумал, что он наверняка знает, где зарыты лесные клады, но расскажет об этом только медвежатам. И еще я подумал о том, что на этом месте рассказ о Торопце хорошо бы закончить. Взглянуть еще раз на тихую и спокойную Торопу, на древние валы городища, на барочную церковь Богоявления, на рыбаков по берегам озера Соломено, удящих мелкую рыбку селявку, пахнущую, как утверждают, аборигены, огурцом и даже помидором в сто раз сильнее питерской корюшки, на дуб, который семя от семени дуба, посаженного князем Александром Невским, сесть в машину и укатить в Москву, чтобы там, среди бензинового угара, переполненных маршруток, газонов, усеянных окурками, лицемерно вздыхать и лгать самому себе про то, как было бы хорошо всю жизнь прожить на свежем воздухе, на берегу озера, в таком тихом, чистом и уютном провинциальном городке, как Торопец, и если бы не обстоятельства...

---

[1] Не знаю – пекли ли кривичи блины, но в «Кривитеске» на завтрак подают отменные блины с маслом и сметаной.

[2] Правда, они почти никогда ее не пели, поскольку имя Мстислав плохо подходит для песен. В девятнадцатом веке ее переписал один русский офицер, служивший на Кавказе в Люблинском егерском полку. Вместо Мстислава получился Хас-Булат, а вместо молодого и полного сил князя – старик, которому изменила молодая жена. Как бы там ни было, а народной песня все же стала.

[3] За полвека своей бурной жизни Мстислав Удалой успел побывать еще и Новгородским и Галицким князем.

[4] Это, конечно, для иногородних легенда, а для торопчан – самая настоящая правда.

[5] Да, фашисты. Это легенда, я предупреждал. Дуб могли бы поджечь и французы в двенадцатом году, но они сюда, к счастью, не дошли. Дошли только поляки во время Смуты, но Торопец присягнул Лжедмитрию, и дуб не тронули.

[6] Со свадьбой Александра Невского связана еще одна история, которая начиналась как красивая легенда, а закончилась... все никак не закончится. Тесть Александра Невского, полоцкий князь Брячеслав, благословил молодых иконой Божией Матери. Икону невеста привезла в Торопец и оставила на память о своем венчании в церкви. По преданию, икона эта попала в Полоцк из Византии через Корсунь. Не одну сотню лет прожила она в Торопце. Одно время торопчане боялись, что заберет икону к себе в Москву Иван Грозный, и даже сделали с нее список, украсили его венцами, нарядными ризами, а оригинал спрятали в той же церкви, за алтарем. С Грозным обошлось – он не приехал и даже не прислал вместо себя Малюту Скуратова. Веком позже царь Алексей Михайлович, прослышав об иконе Торопецкой Божией Матери, о ее почтенном возрасте и византийском происхождении, дал торопчанам денег на постройку каменного Корсунско-Богородицкого собора. Собор этот простоял сто лет и в очередном торопецком пожаре обгорел так сильно, что пришлось строить новый. К счастью, икону удалось спасти. Торопчане решили построить новый собор. С деньгами у них тогда было туго – Торопец к концу восемнадцатого века был уже бедным, захолустным городом. Обратились к императору Павлу. Тот был не так набожен, как Алексей Михайлович, и дал лишь половину требуемой суммы. Торопчане поскребли по сусекам и с трудом, но все же собрали вторую половину. Построили новый собор, в котором икона благополучно хранилась до семнадцатого года известно какого века. Новая власть отдала икону, которая к тому времени находилась

в аварийном состоянии, в местный музей на реставрацию, а в тридцатом году ее из Торопца перевезли в Русский музей и продолжили реставрировать. Уже отреставрированная, правда, не очень удачно, висела она себе в тихонько одном из залов или даже коридоров Русского музея, и мало кто из проходящих мимо догадывался о ее удивительной судьбе. Торопчане что-то там говорили о том, что хорошо бы икону вернуть, но, видимо, так тихо, что их никто не слышал. Или уши у тех, кому они говорили, были занятым другим. Так и висела бы она там до сих пор, если бы в начале нынешнего века один небедный человек в небедном подмосковном поселке «Княжье озеро» не построил на свои деньги храм во имя Александра Невского. Человек этот захотел иметь в своем храме икону Торопецкой Божией Матери. Нужные люди поговорили с нужными людьми в руководстве РПЦ, которое поговорило с министерством культуры. Нужные люди поговорили со всеми, с кем надо было поговорить, и Патриарх, не откладывая дела в долгий ящик, написал письмо министру культуры с просьбой разрешить временное хранение иконы во вновь построенном храме. Министр культуры как увидел письмо Патриарха – так свой долгий ящик и открывать не стал, а в тот же день директору Русского музея направил бумагу, в которой предписывалось... Директор Русского музея, понятное дело, не собирался быть против и рвать на груди рубаху. Даже и не думал. Думала часть сотрудников музея, которая написала письмо президенту. Тогда у нас был такой президент, который по части быть против и разорвать рубаху на груди мало чем отличался от директора Русского музея. В одну из длинных декабрьских ночей 2009 года икону тайно, чтобы не беспокоить и не волновать сотрудников, написавших письмо президенту, перевезли в поселок «Княжье озеро». С тех пор она там, в поселковой церкви, на временном хранении. Как долго продлится это временное хранение, кроме небедного человека из небедного подмосковного поселка не знает, видимо, никто. Министерство культуры клятвенно обещает вернуть икону в Русский музей, а музей обещает ее вернуть в Торопец. Вот только временное хранение никак не закончится. Торопчане тоже просят ее вернуть, но, видимо, так тихо, что их никто и не слышит. Или уши у тех... Внимательные читатели могут попенять автору на то, что не привел он ни фамилии небедного человека из небедного поселка, ни имени патриарха, ни министра культуры, ни президента. Поначалу-то я хотел привести, а потом подумал – что толку от этого знания? Ну, зовут, к примеру, небедного человека Андреем Шмаковым, патриарха Кириллом, а президента Дмитрием Медведевым. Что из того? Могли бы звать и по-другому. И время могло быть совершенно другим. И вместо Торопца могла быть Тотьма или Балахна. И вместо иконы могла быть другая реликвия. Думаете, от перемены мест и названий слагаемых сумма изменилась бы?

7 Сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, которую устроил Куропаткин, советская власть одобряла. Самого устроителя не очень одобряла и даже забирала в ВЧК, а к школе относилась хорошо. В один из голодных годов чуть ли не по приказу самого человечного человека в школу направили вагон с пшеницей. И это не все. Из загребущих рук чекистов Куропаткина освободила та же всемогущая подпись.

После смерти Алексея Николаевича усадьбу его национализировали. Новые власти устроили в ней детский дом. После войны с немцами был в ней дом детей-сирот, а после дома для сирот проживал дом инвалидов. Принадлежал дом совхозу «Борьба». Надо сказать, что в инвалидные времена усадьба инвалидом не была. Все в ней и вокруг нее было ухожено – и цветники, и клумбы, и ведущая к озеру аллея, обсаженная дубами и липами, и кусты сирени, и баня, и столовая, и даже кинотеатр. Было даже подсобное хозяйство. Его разворовали в первую очередь – сразу после указа о закрытии дома в начале девяностых. Инвалидов из числа тех, кто не успел, не смог или не захотел до указа умереть или выздороветь, распределили по другим домам, а кровати, матрасы, стулья, доски пола, железо с крыш, кирпич, водосточные трубы, тумбочки, старые кровати и все, что можно было отодрать, отбить, отпилить и отрезать – растащили местные жители.

Ходили упорные слухи, что в усадебном парке зарыты генеральские сокровища. На всякий случай перекопали все, что могли, но сокровищ не нашли. Копателям и в голову не могло прийти, что все свои сбережения Куропаткин вложил в постройку школы, больницы, библиотеки и почты, а то, что не успел вложить, еще в двадцатых, когда он сидел в застенке у чекистов, прилипло к чистым рукам людей с холодными головами и горячими сердцами. И еще ходили слухи, что генерал со своей неудачной войны с Японии привез большое количество морфия и спрятал в усадьбе. Морфий не искали, потому, как из тех же слухов доподлинно было известно, что после смерти Куропаткина наркотик нашел фельдшер с лошадиной фамилией Жеребцов и превратился в заядлого морфиниста. Морфия, говорили, было спрятано такое количество, что его хватило и на то, чтобы и после отечественной войны какой-то врач из дома для сирот превратился в фельдшера Жеребцова. Упорнее слухов о морфии были только слухи о мужской

силе покойного генерала. Шешуринские старухи рассказывали, что генерал был до женского полу уж такой охотник, такой охотник... Сядет, бывало, перед растворенным окном на втором этаже своей усадьбы, приставит к глазу самую сильную подзорную трубу, и давай высматривать молодых девок. Какую высмотрит... а какую не высмотрит сегодня – ту беспременно завтра высмотрит или на следующей неделе. Правду говоря, молодые девки на него не очень-то и обижались. Он им всегда приданое давал, выдавал замуж и дом строил. Каждой. Бывало, генеральский денщик барину еще только подзорную трубу тащит, а они уж давай ходить туда-сюда перед домом. Ну, может, и не ходили туда-сюда, а так просто подтыкали юбки и мыли полы перед своими крестьянскими избами, думая о том, как хорошо было бы выйти замуж с приданым, и жить в собственных домах.

Вернемся, однако, в девяностые года прошлого века. После того, как из бывшего дома инвалидов растащили все, включая даже слухи о подзорной трубе, совхоз «Борьба» стал то, что осталось от усадьбы, сдавать вместе с землей, в аренду разным обществам с очень ограниченной ответственностью. Общества эти хотели устроить здесь (или говорили, что хотели устроить, или говорили, но не думали устраивать, или вообще не думали ни о чем, а просто брали в аренду все, что можно брать) дом отдыха. Сдали в аренду первый раз – разорилось общество и исчезло без следа. Продали во второй раз – такая же история со вторым обществом. И с третьим тоже. На четвертый раз разорился и исчез без следа совхоз «Борьба». Власти продали то, что осталось от усадьбы какому-то человеку, купившему ее для того, чтобы иметь прописку. Теперь этот человек, которого никто из шешуринских и в глаза не видывал, прописан в развалинах усадьбы точно привидение в развалинах готического замка. Что же до усадебного парка, то в нем, кроме трех огромных старых лиственниц, которые охраняются государством, из куропаткинских времен дошли до нас только заросли дальневосточной гречихи. Про гречиху эту в торопецком краеведческом музее думают, что она – бамбук. Заросло ею все вокруг потому как сорняк – он и есть сорняк.

Больнице, в отличие от усадьбы, повезло больше. Никто ее не продавал и не разрушал. Она и сейчас, спустя сто с лишним лет после постройки, стоит в Шешурино. Кроме нее Куропаткин построил дом врача, дом фельдшера, столовую и амбулаторию. При советской власти в больнице работало около трех десятков человек. И хирургия там была, и терапия, и даже родильное отделение было, а на трудные роды из Твери прилетал вертолет. Теперь-то хоть вся деревня, включая мужиков, рожай – из Твери даже комар не прилетит. Теперь и врача там нет – осталось две фельдшера. Вернее, фельдшерицы, одна из которых на правах заведующей больницей, а вторая и фельдшер и заодно завхоз, и даже держит двух коров – Ягодку и Зорьку, молоком которых отпаивает своих пациентов из Шешурино и окрестных деревень. Сено для этих коров косят и родственники больных и добровольцы, и просто соседи, а соседи там все. В самом Шешурино живет всего девять человек, а в Шешуринском сельском округе сотни две с небольшим и малая толика дачников.

Лежит в больнице полтора десятка старых стариков и старух. В основном, сердечники. В тех краях почему-то часты инсульты. Ежели по правилам, то больного с инсультом надо везти в город Нелидово за полторы сотни километров, а из Нелидово их уже развезут по больницам, в которых станут лечить. По правилам надо сначала позвонить в Нелидово, потом дождаться, пока оттуда приедет карета скорой помощи, а потом везти больного туда по известно какого качества дороге, которая из здорового душу вытрясет, а из больного и подавно. Короче говоря, по правилам лучше сразу отдать Богу душу и не гонять зазря нелидовскую машину. Да и тех упрямых, кто вздумает дожить до нелидовской больницы, ждет, прямо скажем, не самый лучший уход вдали от дома. Платить за этот уход будет государство, а оно у нас... Вот и выхаживают их здесь, в Шешурино, поперек всяких инструкций.* Здравоохранительное торопецкое начальство смотрело на это все сквозь пальцы – в райцентре и своих проблем со здравоохранением хватает. Да и вообще из города все эти микроскопические сельские больницы, фельдшерские пункты и их пациенты представляются какими-то молекулами, а уж из Москвы, из министерства, – и вовсе атомами, даже электронами. Тут и реформа здравоохранения подоспела – объявили районные медицинские начальники шешуринской больнице, что будут ее сокращать. Понятное дело, что никто не говорил шешуринским, что все их проблемы никого не волнуют. Даже и не думал так никто. Стариков, что лежат в больнице развезут кого в Нелидово, а кого... ну, куда-нибудь развезут. Кому надо к терапевту – милости просим съездить в другую деревню за тридцать километров. Там можно валидола купить, зеленки, йода, бинтов, настойку боярышника и вообще ни в чем себе не отказывать. Ну, а если валидола, да настойки боярышника мало, то за другими лекарствами можно и в Торопец поехать. Туда раз в день автобус ходит, а если срочно, то и на такси можно за две тысячи рублей в один конец.

Надо сказать, что в Торопце сказали шешуринским (на ухо, конечно), что за больницу они могут бороться, но сами. Пишите, говорят, стучитесь во все двери и бейте во все колокола, но если спросит кто – откуда, мол, звон, то мы тут... То есть, вообще. Они там, в Торопце, не злыдни какие-нибудь. Закрывать больницу будут без всякого удовольствия. Шешуринские, конечно, стали писать**, в Москву. Дело это тоже непростое – писать из деревни в столицу. Письма с надписью «в приемную президента Российской Федерации» дальше уездного почтового отделения не пойдут. Там еще с гоголевских времен засели такие шпекины, что мимо них не только слово, но и буква недозволенная не пролетит, не говоря о вопросительных и восклицательных знаках. Ну, да эти письма пока дойдут, да пока царь прочтет, да призовет министра здравоохранения, да топнет на него царской ногой, да прикажет ему, да приказ этот спустят в министерство, да министерские крючки начнут его с разных сторон рассматривать, да пробовать сначала запятые переставлять, а потом и слова, да... в Шешурино в к тому времени все давным-давно... В Тверь жаловаться – тоже резону нет. В Твери теперь губернатор думает о том, как бы его самого, на новых выборах, как шешуринскую больницу, не умножили на ноль. По слухам, у него на задней части брюк уже проступил отпечаток царского каблука и он этот след скрывает под пиджаком, который не снимает даже на ночь. Не до ерунды ему. Вы там вымираете? И вымирайте себе на здоровье. Не мешайте работать. И то сказать – вымирают последние из шешуринских могикан тихо, начальству не жалуясь, не беспокоя его различными просьбами, а все больше «повторяя: «Суди его бог!», разводя безнадежно руками». Надеются на приезд журналистов из Москвы, на предстоящие губернаторские выборы, на черта в ступе, на чудо... Если закроют больницу, то потеряют работу все ее сотрудники – все пятнадцать человек персонала. Каждый из них сейчас получает зарплату – от шести до десяти тысяч рублей в месяц. На эти деньги, да на том, что вырастят они на своем огороде, и живут их семьи. Конечно, если бы жителя села Шешурино и нескольких окрестных деревенек разом каким-нибудь волшебным образом испарились бы, то начальство век бы Бога за них молило, как минимум, неделю, а то и две, но... они не исчезают. Они хотят сохранить больницу, которая, так уж случилось, получается градообразующим предприятием села Шешурино. Они хотят, чтобы у них, у их детей (а в Шешуринском сельском округе полсотни детей, из которые трое грудных) была возможность, в случае необходимости... Скорее всего, ничего у них не получится. Совсем ничего. Пока приказ о закрытии больницы еще только нагнаивается, точно вулканический прыщ в недрах райздрава или облздрава, но скоро вскроется и тогда, скорее всего, больницу закроют, а перед тем, как закрыть, пообещают не закрывать, чтобы не омрачать радостного настроения, которое должно сопровождать перевыборы тверского губернатора. Ну, а после закрытия пообещают открыть, как только представится возможность. Или закроют сразу после перевыборов, или закроют немедленно и скажут, многозначительно вздымая указательный перст к небу, что, мол, приказ из самой Москвы, потому, как реформа, оптимизация, сокращение расходов, международная обстановка, цены на нефть, черную икру, пляжи на Мальдивах, дома на Лазурном берегу... и будут тяжело вздыхать, и говорить, говорить, не замечая, что все уже разбрелись по своим домам.

К чему я это все рассказал... И сам не знаю. Помочь жителям Шешурино отстоять больницу я не смогу. Да они и сами, судя по всему, смирились со своей участью. «Отстаивать», «бороться», «права», «до суда дойдем» – это все слова не из их лексикона. Придут они домой, выпьют водки***, да и станут говорить про себя: «а мы что ж, когда все решено давно и где решено, а мы где, мы разве куда, да и зачем...». Старики останутся помирать дома, а те, кто помоложе, продадут свои дома или просто заколотят их и уедут на заработки в какой-нибудь город. Останутся здесь немногочисленные дачники, озеро Наговье, аллея дубов и лип, три старых лиственницы, охраняемых государством, и развалины усадьбы генерала Куропаткина, заросшие дальневосточной гречихой, потому как сорняк – он и есть сорняк. И слова здесь останутся из тех слов, которые уже некому говорить. К примеру, бабочку местные жители называют «мяклыш», а мокрый снег «шалипа», а когда бабе плохо, то это называется мягким, нежным и пахнущим парным молоком словом «нянять». Нянять – когда плохо одной бабе, а когда всем и так, что просто... Ну, да что это слово повторять. И без него во рту горше некуда.

*Не то, чтобы это имело прямое отношение к моему рассказу, но... В больничной столовой, как раз в том месте, которое раньше называлось красным уголком, стоит телевизор, а над ним висит, вырезанный из журнала «Огонек» портрет Владимира Владимировича. С изнанки к нему приклеен другой портрет – Дмитрия Анатольевича. Раньше эту склейку раз в четыре года переворачивали. Теперь уж, наверное, портрет Дмитрия Анатольевича заткан паутиной. Зато не засижен мухами.

**Правду говоря, никаких писем никакому президенту шешуринские жители не пишут, а пишет за них Дарья Гребенщикова, которая, как приехала сюда на лето из Москвы четверть века назад – так с тех

пор и живет между Москвой и Шешурино. Вернее, разрывается. Поначалу-то она не разрывалась совсем, а окончила в столице школу-студию МХТ по специальности заведующий художественно-постановочной частью и стала работать ассистентом художника в Ленкоме. Работала себе и работала. Даже на сцену выходила в каких-то микроскопических эпизодах. Проживи... нет, выживи она в театре лет сто – наверняка стала бы и художником по костюмам, и даже главным художникам театра. Она и собиралась выживать... если бы в один прекрасный день муж не предложил ей купить дачу, чтобы отдыхать в ней летом. Подальше от Москвы. Каким образом это «подальше от Москвы» оказалось деревней Шешурино Торопецкого района, теперь уж она и сама не упомнит. Помнит только, что день был морозный, солнечный, высоченные сугробы были ослепительной белизны, и тени на них и на искрящемся льду озера Наговье чернели точно на японских гравюрах. Хозяин пятистенка, который они присмотрели, ничего о японских гравюрах не знал, а то бы запросил за свою избу с прогнившими полами еще больше. Кстати, о живописи. Изба продавалась вместе с огромным портретом Михаила Андреевича Суслова. Портрет был писан маслом и был обрамлен прекрасной дубовой рамой. Упустить из рук такую прекрасную раму и подрамник...

Главный режиссер Ленкома решения Дарьи уехать в деревню Шешурино не понял и не одобрил. Он долго спрашивал у нее о том, как она представляет себе современную деревню. Особенно глухую, особенно нищую, по улицам которой бродят пьяные мужики, бабы, коровы и запах навоза так вездесущ, что проникает даже в душу. В Москве, конечно, коров не было. Тогда, в начале девяностых, в Москве не было не только коров, но и всего того, что дают эти самые коровы.

Собирались долго и тщательно. Составляли длинные списки, в которые вписывали венские стулья, чашки, ложки, вилки, собаку, еще собаку, охотничье ружье, бочку из-под кваса, из которой хотели сделать цистерну для воды, и еще тысячу разных вещей. Через несколько месяцев все это, включая Дарью и ее мужа, грузовик повез в деревню Шешурино. Пока ехали, думали о новой жизни, которая открывается перед ними, и о которой можно будет потом, после возвращения, рассказывать в московских компаниях. Дарья мечтала о будущей деревенской усадьбе... даже имении.... Ну, хорошо, пусть не об имении, а доме, даже домике с огородом и яблоневым садом, с глубоким погребом, а в погребе, сколоченные из толстых досок полки, на полках банки большие, банки поменьше и банки совсем маленькие с соленьями, вареньями, компотами и наливками. И на каждой банке этикетка с указанием года. И на чердаке сушатся связки белых грибов и пучки душистых трав...

Поначалу было не плохо, а очень плохо. Не было горячей воды. Не было даже крана, из которого она могла бы течь. То есть, они думали, что горячей не будет, но никак не ожидали, что еще и холодную надо приносить из колодца и самим делать горячей. И стирать белье надо в озере. Зимой, понятное дело, в проруби. Она и стирала. Потом болела и лежала в сельской больнице. Тогда больницу никто и не думал закрывать.

Местные жители смотрели на них, как на пришлых. Потом выяснилось, что пришлые для шешуринских все, кто не живет в их селе. Фельдшер, который работает в больнице не один десяток лет – пришлый. Не имеет значения, что он из соседней деревни, которая находится в двух километрах от Шешурино. Корова Зорька, которую соседи купили в этой же деревне – пришлая. Понятно почему, она дает меньше молока, чем Ягодка, которая родилась и все детство и юность провела в Шешурино. И вообще, для того, чтобы стать местными им придется там умереть и снова родиться.

Через какое-то время, когда уже появились первые овощи со своего огорода, захотелось своего мяса. Завели кур и уток. Утки бегали везде и почему-то все время были грязные. Дарье это не нравилось. Она мыла уток шампунем и сушила феном. Нет, этому ее не учили на сценическом факультете школе-студии МХТ. Там вообще ничего не говорили о домашней живности. Тем более, о поросятах. Поросенка они завели позже, когда поняли, что уток лучше оставить в покое. Как на грех, поросенок оказался мальчиком, и его пришлось холостить. Он болел, и Дарья его лечила киселем из ольховых шишек, водкой и солью. Кроме поросенка она лечила только свою соседку от алкоголизма настойкой малиновых клопов на водке. Малиновых не в смысле цвета, а в смысле того, что они (совершенно зеленые, кстати) водятся на малине. В народе говорили, что такая настойка может отвратить от водки навсегда. Соседка, которую ломало и корежило жесточайшее похмелье, выпила и отвратилась. Правда, не сразу, а через семь лет. Ну, да речь сейчас не о соседке, а поросенке, которого вырастили до веса почти полтора центнера и зарезали. Взяла Дарья соленого сала, деревенских яиц и повезла гостинцы в Москву, в любимый Ленком, где ее заботливо спросили – не передумала ли она, а услышав в ответ, что поросенок..., что урожай картошки..., что гусь, который охраняет дом не хуже собаки..., окончательно уволили и сократили ее ставку.

Так она и осталась в Шешурино. Научилась делать нехитрую мебель, выращивать преогромные по-

мидоры и ловить рыбу. Односельчане, проходя мимо дарьиного дома и видя ее в огороде, говорили «Труд на пользу!». Так они произносят «Бог в помощь», которого не говорят никогда. Народ здесь, кроме самых старых бабушек и дедушек, по большей части неверующий. Не потому, что убежденные атеисты, а вообще. Кому и во что, спрашивается, теперь можно верить... Зато суеверий здесь много. Верят в то, что много грибов – много гробов, что домовые выдувают мужикам папиросы, а бабам путают вязанье, верят знахаркам, которым в оплату их услуг несут вместо денег сладкое – мед, пряники и варенье.

Дарья долго думала – почему так получилось, что Москву она променяла на Шешурино. Особенно долго думала, после того, как ее муж, киноактер, не выдержав деревенского существования, уехал обратно в город. Получалось, что она приросла к этому медвежьему углу, в котором и, правда, водились медведи. Получалось, что она вышла замуж за село Шешурино. За дом, который уже и не дом вовсе, а часть ее, такая же неотъемлемая, как рука или нога, за сельскую больницу, закрытию которой она изо всех сил старается помешать, за больничных коров Ягодку и Зорьку, для которых она вместе с односельчанами заготавливает сено, за лес, за луну над озером и за само озеро Наговье полное лещей, подлещиков, плотвы и щук. Однажды Дарья поймала в нем налима. Большого. Голыми руками вытащила из-под коряги у самого берега. У него оказались голубые глаза. Ну, может, и не голубые, но ей показалось, что голубые и она его отпустила. Не есть же, в самом деле, рыбу с голубыми глазами.

*** Никакую водку сельские жители, конечно, не пьют. Водка стоит дорого. Самогон тоже не гонят. Пьют они дешевый и плохо очищенный от сивушных масел технический спирт, который пригоняют в цистернах в те края из Северной Осетии или Дагестана. Называется он «Максимка» и стоит семь десятков рублей за литр. Пьют они его и мрут, как мухи.

8 – Мезговники мы, – с печальным вздохом сказала мне директор музея. Слова этого я не знал и мне пояснили, что бедные крестьяне торопецкого уезда в пищу добавляли перетертую исподнюю часть молодой березовой коры. Конечно, это не березовый сок с мякотью, как в известном анекдоте, но около того. Директор, конечно, молодец. За два года работы смогла повысить ежемесячную выручку от продажи билетов с двух до семи тысяч рублей. В музей стали часто приходить дети. Выручку эту каждый месяц надо сдавать в Тверь. Почтовым переводом нельзя. Передавать с представителями городской администрации, которые часто по своим делам бывают в Твери, тоже нельзя. Можно купить билет на автобус (хорошо еще, что, за государственные деньги) за восемьсот рублей в один конец, приехать в пять утра в Тверь, и ждать там, на автобусной станции, до девяти, пока не откроется контора тверского музейного объединения. Жалеть о впустую потраченном времени и жаловаться тоже нельзя. Они и не жалуются. Им бы крышу починить, чтобы не текла и стекла кое-где вставить. Последний косметический ремонт делали в музее лет десять назад. С выпавшими стеклами протопить здание трудно. Тем более, церковь. Зимой бывает холодно внутри. Иногда десять градусов тепла. Иногда шесть. Но это только в сильные морозы, а летом хорошо – прохладно. Вот они и не жалуются. Смысла нет. Директор, если честно, не велела мне про все эти сложности писать. Потому и пишу в примечаниях. Мелкими буквами.

9 Теперь Николаевский мужской монастырь упразднен и на его месте открыт новый – женский, Свято-Тихоновский. Идет в нем реставрация. Трудно идет, но идет. Стоит крест в память о тех, кого здесь расстреляли. Монахинь там нет – только игуменья, мать Иоанна. На ней вся реставрация и держится. На ней вообще вся жизнь монастыря держится. На ней и на помогающей ей девушке, которую зовут Галина. Приехала она однажды из Москвы в Торопец, приехала дважды, трижды... да так и осталась. Кроме них еще маленькая лохматая собака по кличке Клякса. Если Кляксу попросить, то она покажет, как приезжает архиерей – упадет на спину и завиляет хвостом. Впрочем, она и без того им виляет. Просто так, от полноты дружеских ко всем чувств.

Ключик Кибелёк

Прежде, чем обойти три раза озеро Светлояр против часовой стрелки и сесть на берегу, и смотреть, как солнце закатывается за верхушки сосен, и слушать изо всех сил – не раздастся ли колокольный звон храмов подводного града Китежа из темных глубин, мы с женой поднялись на холм, на котором стоит деревянная церковь Владимирской Божьей матери. Я потрогал небольшое углубление в каменном валуне, про которое молва говорит, что это след Богородицы. После дождя в углублении была вода. Целебная, как утверждает все та же молва. Посмотрел на пригоршню мелочи, насыпан-

ную рядом. Среди потемневших от времени российских гривенников, полтинников и рублей лежала блестящая монетка в одну шведскую крону. Метрах в десяти от камня я увидел столбик с указателем «Ключик Кибелёк». Молва, которая знает и про ключик, говорит, что вода его не менее целебна, чем та, что в углублении камня, на который ступала Богородица. Список болезней, от которых лечит вода этого ключа я и до середины не смог прочесть. Там было даже увеличение женской силы. Правду говоря, этот список, найденный где-то в Интернете, мне зачитала жена, которая, на самом деле, и есть молва.

И мы пошли туда, куда показывала стрелка. Сначала мы шли по тропинке через залитую медовым и янтарным предзакатным светом березовую рощу, перешагивая через корни деревьев. Через километр или около того тропинка спустилась к ячменному полю и уперлась в огромную лужу, которую мы, с немалым трудом продравшись сквозь заросли бузины, сумели обойти и потом долго шли по раскисшей дороге через поле. Посреди него стоял еще один столбик с указателем, на котором было написано «Ключик Кибелёк» и был нарисован человечек с рюкзаком на спине и посохом в руке. У подножия столбика лежал дохлый ежик, за право клевать которого дрались три черных ворона. Не то, чтобы нам стало не по себе, и мы подумали, что ключик Кибелёк мог бы быть и поближе..., но стало и подумали, да.

Наконец дорога подошла к лесу, уже не березовому, а смешанному, более темному и более сырому. Тропинка уходила в его глубь. Мы обернулись, посмотрели на залитое солнцем поле, и пошли дальше, прибавив шагу, перепрыгивая через большие и маленькие лужи и уже не заботясь о том, чтобы не забрызгаться грязью. Мы шли мимо больших трухлявых пней, усыпанными гроздьями опят, мимо старых подосиновиков, на огромных осклизлых шляпках которых сидели крошечные изумрудные лягушата, мы... вдруг увидели полусгнившие деревянные мостки и обрадовались, что ключ уже рядом.

Метров через сто или больше мостки кончились и тропинка, или, вернее, то, что от нее осталось, стала стекать вниз, к болоту. Где-то километрах в трех или четырех или пяти от нас солнце закатывалось за верхушки сосен, растущих на берегу озера Светлояр, а здесь комары такими огромными глотками пили из нас кровь, что было слышно, как они ее судорожно глотали. Не то, чтобы мы подумали..., но в тот момент, когда мы чуть не поругались, снова начались мостки.

По мосткам мы через пять минут добежали до колодца под двускатным навесом. Рядом с колодцем, на скамеечке, стояло пластмассовое ведро и два маленьких ковшика. Жена зачерпнула ковшиком воду, пригубила, сказала «кисленькая» и отдала ковшик мне. Я пил эту кисловатую на вкус, желтоватую на цвет воду и думал – зачем мне, немолодому уже мужчине с сединой в бороде, пусть даже и в расцвете сил, увеличение женской силы?

Сил, на то, чтобы обойти озеро Светлояр, как предписывает ритуал, три раза, у нас уже не было. Мы обошли его всего один раз* и пошли мокрыми и грязными ногами в гостиницу. Там нам рассказали, что от озера до ключика Кибелёк всего пять километров в обе стороны. Так мы и поверили. Не меньше пяти в одну.

И еще нам рассказали, что мы не дошли буквально метров сто до могил трех старцев, которые, по преданию, защищали подступы к граду Китежу от войск Батыя. Молва утверждает, что земля с этих могил целебна. Вот только молва, как я ее ни пытал, не сказала мне, что с этой землей надо делать – то ли прикладывать к больному месту, то ли есть, то ли хранить под подушкой. Еще и велела не задавать дурацких вопросов.

*Потом выяснилось, что ритуал допускает обхождение озера всего один раз. Можно или три или один. Лишь бы не два.

Ветлуга

Я ехал в Ветлугу и повторял про себя слова Писемского, которые привел Лесков в своих «Святочных рассказах»: «Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все

скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Эх, не ездил Писемский в автомобиле, думалось мне. Мчишься по шоссе со скоростью сто километров в час или больше, а обругаться в свое удовольствие... Ну, не с женой же в самом деле, которая сидит за рулем и везет тебя в Ветлугу. ~~Так она тебя вдесятеро иссрамит.~~ Разве обругаешь какую-нибудь медлительную фуру с костромскими или ивановскими номерами, которая никак не желает подвинуться вправо, чтобы уступить дорогу, и дальше едешь молча. Только подумаешь: – Вот «кострома» – и ездить-то толком не умеет, а туда же...

И только ты закончишь думать эту мысль, как встречные «Жигули» с кировскими или нижегородскими номерами мигнут вам фарами, предупреждая, что за поворотом в кустах притаились ребята в форме и с радаром. Тут уж начинаешь думать о том, какие душевные в провинции водители – всегда предупредят о засаде. И это притом, что видят твои московские номера.

Ну, да бог с ними, с водителями. К Ветлуге они не имеют никакого отношения. Правду говоря, я и Писемского вспомнил лишь потому, что свои детские годы писатель провел в Ветлуге, куда его отец был прислан городничим. Впрочем, кто теперь помнит Писемского, который в середине позапрошлого века был едва ли не популярнее Толстого и Достоевского. Теперь его помнят разве что студенты-филологи, да и те вечно путают с Писаревым, о котором и вовсе ничего не знают.

Оставим, однако, Писемского и поговорим о самой Ветлуге. История города начинается со второй четверти семнадцатого века, с того самого момента, когда в первый раз в документах была упомянута деревня Шулепниково[1]. Рассуждая в понятиях энтомологии, можно сказать, что деревня Шулепниково была личинкой Ветлуги. Куколкой она стала, превратившись в начале восемнадцатого века в село Верхнее Воскресенское (из-за постройки в нем церкви Воскресения Христова), а уж в бабочку уездного города Ветлуга село превратил указ Екатерины Великой от 5 сентября 1778 года.

Надо сказать, что была у Ветлуги, кроме новой истории, и своя предыстория и корни этой предыстории или даже протоистории уходят в тринадцатый век, когда на месте современной Ветлуги находился марийский город Юр. Археологи пока не докопались до Юра и даже не договорились между собой о том, где он находился (по одной из версий Юр находился не на месте современной Ветлуги, а рядом, на берегу притока Ветлуги – Юрьевки) и потому можно, не опасаясь никаких возражений, воображать себе Юр белокаменным, богатым и процветающим. Тем более, что через Юр проходил торговый сухопутно-водный путь из Северной Двины на Волгу и сухопутный – Галицкий тракт, который шел из костромских земель в марийские. С галицкими князьями и стали воевать ветлужские марийские князья за место под солнцем, а, точнее, у дороги. Так успешно воевали, что умудрились в четырнадцатом веке, правда, не без помощи татар, разбить галицкого князя Андрея Федоровича. Через сто лет, в середине пятнадцатого века, маятник качнулся в другую сторону и галицкие князья, действуя уже не сами по себе, а по наущению Ивана Третьего, разбили войско марийцев. Город Юр был галичанами сожжен дотла и разрушен.

Несколько десятилетий на месте Юра не было ничего, а потом, мало-помалу, сюда стали приходить и оседать русские переселенцы.

Новорожденная Ветлуга была очень мала – всего восемьдесят две души мужеского пола. Если бы не настойчивость костромского генерал-губернатора Мельгунова, купившего еще село Верхнее Воскресенское за восемь тысяч шестьсот рублей серебром, а потом подарившего его императрице, то, может статься, никакой Ветлуги бы и не было.

В народе, понятное дело, бытует своя версия происхождения города. В этой версии никакого Мельгунова нет, а есть жители села Верхнее Воскресенское, которым очень хотелось стать горожа-

нами. Собрали они делегацию и поехали в город Санкт Петербург бить челом Государыне. До нее они не дошли, а дошли до князя Потемкина. Их сиятельства посмотрели на будущих ветлужан, на их бороды, в которых торчали соломинки, на их домотканые армяки, зипуны, кушаки, портянки и лапти и сказали, что просьбе помочь могут, но только в том случае, если мужики в том виде, в котором они приехали, спляшут перед царицей. Мужики, не долго думая, согласились, тем более, что другого вида у них все равно не было. Императрица, глядя на танцующих ветлужан, смеялась до слез. Как она слезы-то отерла – так сразу и подписала указ об основании города Ветлуги, а Потемкину вечером за ужином сказала – пусть и еще приезжают. Может им еще какой город... Ветлужане, однако, более в столицу не приезжали. Одного города им хватило. С тех самых пор и пошло гулять в народе присловье, что ветлужские лапотники выплясали Ветлугу. Легенда, конечно, несуразная, но уж какая есть. Вот только... Предложи сейчас кто ветлужанам поехать в Москву, чтобы выплясать, к примеру, проведение газа в Ветлугу – они бы не секунды не думали. И лапти бы сплели. Да только перед нынешними властями хоть в каком виде пляши...

Как бы там ни было, а Ветлуга стала жить простой и немудреной жизнью захолустного уездного города в Бог знает какой глуши. Бог знает какая глушь в те времена была вся в дремучих лесах, а потому все ветлужские промыслы были так или иначе с ними связаны. Охотники добывали пушнину, углежоги – древесный уголь, бабы и детишки, остерегаясь медведей[2], собирали грибы и ягоды, смолокуры курили деготь, бондари делали бочки, а самые храбрые отнимали у лесных пчел мед. Более всего, однако, было тех, кто рубил лес и сплавлял его по Ветлуге до места ее впадения в Волгу. Рубить лес начинали еще зимой, а по весне его вязали ветками деревьев в тяжелые многослойные плоты – соймы или строили циклопических размеров корабли – беляны, длина которых доходила до ста метров. Сплавлять все эти многочисленные плоты и беляны надо было во время половодья – по высокой воде. По извилистой, местами стремительной, весенней Ветлуге делать это было ох, как не просто. Плоты в узких местах сталкивались, связки бревен распадались, плотоводы и бурлаки, выясняя, кто первым должен пройти, дрались и ругались такими словами, что краснели под корягами даже глухие, как пень, сомы и проплывавшие мимо щуки с карасями, а уж они-то от рыбаков и бакенщиков чего только ни слыхали. Потеря одной беляны могла вконец разорить местного лесопромышленника средней руки и потому так ценились на Ветлуге лоцманы-плотоводы. Если обычный бурлак в середине девятнадцатого века за работу на плоту или беляне получал от семи до двенадцати рублей, то лоцман – от двухсот до трехсот. С течением времени вместо огромных рулевых весел придумали систему специальных многопудовых чугунных грузов – лотов, которыми обвешивали со всех сторон беляны и соймы. Во время сплава при помощи воротов одни лоты поднимали, а другие опускали, чтобы не дать беляне отклониться от фарватера. Сказать, что это была тяжелая работа – значит не сказать ничего. Вес лота мог достигать двух-трех сотен пудов. Поднимать и опускать их надо было как в фортепьянных пьесах Шумана – быстро, как только возможно, и еще быстрее. Веревки на воротах перетирались, и внезапно раскрутившийся ворот мог переломать руки и ноги бурлаку, а то и зашибить насмерть. Приближающуюся беляну или сойму можно было услышать за версту и даже не за одну – так шумели, кричали и ругались между собой бурлаки во время работы.

Сплав леса по Ветлуге давал работу не только сплавщикам. Все прибрежные села и деревни принимали в нем участие. Бабы готовили и продавали еду бурлакам, мужики в случае необходимости подряжались стаскивать плоты и беляны с мелей. Для изготовления лотов даже был построен небольшой чугунолитейный заводик возле города Ветлуги. Кстати сказать, его лоты считались одними из лучших не только на реке Ветлуге, но и на Волге.

Лес по реке сплавляли долго – до середины двадцатого века. В краеведческом музее хранится удостоверение лоцмана-плотовода первого разряда выданное Павлу Веселову в пятьдесят втором году. Павла Веселова из-за его умения водить плоты не брали в армию ни до войны, ни вовремя ее, ни после. Как он ни просился.

Правду говоря, никаких особенных событий в истории Ветлуги не было. Как начали валить и сплавлять лес, жечь уголь, делать бочки, собирать грибы с ягодами – так и продолжали этим заниматься до самого двадцатого века. Не приезжал в этот лесной край даже вездесущий Петр Первый, который, кажется, приезжал во все места, где росла хотя бы одна корабельная сосна. Не ссылали

сюда пленных французов, декабристов и народовольцев. Разве только во время разинского бунта один из мятежных атаманов, Илья Иванов он же Илья Долгополов он же Илья Пономарев он же Пров Игольников забрел в верховья Ветлуги и вместе с приставшими к его отряду крестьянами со всей революционной беспощадностью жег и грабил усадьбы местных бояр и помещиков.

Впрочем, в девятнадцатом веке Ветлуге все же повезло. В ней родился и прожил первые пять лет своей жизни Василий Васильевич Розанов, а за четверть века до Розанова приехал пробегать, пропрыгать и проплавать в реке Ветлуге свое детство Алексей Феофилактович Писемский. Ни экспозиции посвященной Розанову, ни экспозиции посвященной Писемскому в музее я не увидел, но был уверен сотрудником музея, что они есть и находятся в запасниках, поскольку места для них сейчас нет.

Вместо розановской показали мне большую и хорошо оформленную экспозицию, посвященную первой мировой войне. Надо сказать, что первая мировая война довольно плохо представлена в наших провинциальных музеях – обычно ее место занимают, оставшиеся еще с советских времен, стенды с фотографиями маевок, уездных агитаторов и большевистских листовок с призывами грабить награбленное. Среди фотографий отличившихся на первой мировой ветлужан были два портрета полных георгиевских кавалеров – Тимофея Кулькова и Степана Орлова. Оба они в середине тридцатых годов попали в лагеря. Первый был в тридцать пятом арестован в Ветлуге, где работал агентом райпотребсоюза за антисоветскую агитацию и получил три года, а второй, будучи рабочим Мурманского леспромхоза... тоже три года по приговору «тройки». Вышли они из лагерей или нет неизвестно. Рядом с фотографиями Кулькова и Орлова висела еще одна фотография, на которой стояли улыбающиеся, в новенькой форме, унтер-офицеры. Один из них был ветлужанин Иван Иванович Разумов. Иван Иванович, прежде, чем стать в восемнадцатом году основателем и первым директором ветлужского краеведческого музея, собирателем его многочисленных коллекций, таксидермистом, автором многочисленных работ по краеведению, секретарем уездного краеведческого общества, преподавателем естествознания в одной из ветлужских школ, окончил Санкт-Петербургский университет, повоевал на фронте и три года пробыл в немецком плену на острове Рюген. Он не пропал в лагерях, как георгиевские кавалеры Кульков и Орлов – его расстреляли в тридцать восьмом за создание «повстанческой группы», которой он не создавал. Вместе с ним расстреляли еще шесть человек, не входивших в эту несуществующую группу. Все они обвинялись в проведении антисоветской агитации и подготовке восстания в случае войны Советского Союза с капиталистическими странами. Тогда же арестовали и три четверти краеведческого общества Ветлуги[3].

Впрочем, мы несколько забежали вперед. Советский Союз, против которого хотели поднять восстание краеведы, в Ветлуге прописался не сразу. В восемнадцатом году против большевиков выступили эсеры и захватили власть в Ветлуге и в близлежащем Урене. Возле дымовой трубы уездного исполкома Ветлуги восставшие расстреляли пять большевистских руководителей. Труба и сейчас стоит на том же месте. Принадлежит она местному ликероводочному заводу. Завод, правда, уже умер и труба поэтому не дымит. Именами же расстрелянных большевиков назвали все центральные улицы города. После подавления восстания на городскую буржуазию была наложена контрибуция в размере двух миллионов рублей... Ну их, эти два миллиона, которые в восемнадцатом году не стоили и той бумаги, на которой они были напечатаны. Лучше я вам расскажу про другие экспонаты музея.

В том же зале, где находится выставка, посвященная первой мировой войне, стоит резной шкаф. Удивителен он не тем, что на его фасаде вырезаны фигурки Пушкина, Тургенева и Крылова, а тем, что Тургенев расположен в центре дверцы и больше Пушкина и Крылова вместе взятых. Сделан шкаф, судя по всему, на заказ. Кто был в Ветлуге и уезде таким почитателем Тургенева – толстый купец-лесопромышленник или отставной ротмистр или земский врач или инспектор женской гимназии или старая дева, когда-то бывшая тургеневской девушкой...

Почти половину залов музея занимают экспонаты, рассказывающие о природе Северного Поветлужья. Там есть чучела животных и птиц, сделанные еще основателем музея – Иваном Разумовым. Более всего, однако, мне запомнились не старые чучела лосей, медведей и беркутов, не прекрасные диорамы, представляющие природу края, не двухголовые телята и ягнята, отчего-то рождавшиеся чаще, чем обычно, в семидесятых годах прошлого столетия, а розовый фламинго с отрубленной головой и метеорит.

Фламинго, как гласит надпись на табличке, был убит охотником Малышевым под городом Ветлуга в конце лета пятьдесят первого года. Как он оказался в местах столь отдаленных от мест собственного обитания не знает никто и даже не догадывается. Самое удивительное, что это был второй фламинго, залетевший в район Ветлуги. Первый был убит ровно за тридцать лет до этого – осенью двадцать первого года. В восемьдесят первом году третий фламинго, хотя его и ждали, так и не прилетел.

Зато в перерыве между прилетами фламинго, в сорок девятом, прилетел метеорит весом в восемьсот граммов, да не простой, а очень редкий – каменный ахондрит. Ахондрит потому, что в нем нет хондр, а хондры – это... Ну, про них долго рассказывать, да и незачем, поскольку их нет. Метеорит упал буквальной за спиной у лесника, шедшего по лесу на лыжах. Упал и зашипел в снегу. Еще теплым принес его лесник домой и поначалу ни в какой музей отдавать не собирался. Тем более, что к нему валом повалил окрестный народ поглазеть на небесный гостинец. Деревенские старухи силой отобрали у лесника камень и отнесли его в Ветлугу, в церковь. Батюшка, к которому старухи отнесли метеорит, оказался образованным и рассказал им о том, что камень этот, хоть и упал с неба, но проходит по другому небесному департаменту и лучше будет отнести его в музей. Лесник, однако, так не думал. Сотруднику музея, пришедшему к нему за находкой, пришлось его долго уговаривать. Потом-то, конечно, лесник говорил, что хотел отослать метеорит в Москву, но передумал и отдал в местный краеведческий музей. В музее он пролежал на витрине двадцать семь лет, пока сведения о нем не дошли до Академии Наук, и она попросила отдать метеорит в Москву, в комитет по метеоритам. Музей, однако, так не думал, и сотруднику комитета пришлось музейное руководство еще и уговаривать. Теперь метеорит в Москве, а в музее под стеклом лежит муляж, но если бы не надпись на этикетке, то посетители об этом и не догадались бы.

Казалось бы, одного редчайшего метеорита и двух фламинго вполне достаточно для такого маленького городка, как Ветлуга. Ан нет. В двадцатых годах палеонтологом Рябининым на берегах притока Ветлуги были найдены фрагменты скелета древнего земноводного, жившего в этих местах четверть миллиарда лет назад. Назвали существо ветлугазавром. Поскольку Рябинин был не лесником, а ученым, то дома он хранить эти останки не стал, а сразу отвез в Москву, в палеонтологический музей. Через несколько лет еще одна экспедиция под началом Ивана Ефремова нашла кости ветлугазавров и в других местах. По виду ветлугазавр напоминал собою крокодила с головой лягушки и в длину достигал шести метров. Во внутреннем дворике музея на берегу крошечного бассейна, устроенного в железобетонном колодезном кольце врытом наполовину в землю, лежит на бревне его муляж метровой длины – зеленый, облупленный и приветливо улыбающийся.

Если честно, то и сам ветлужский краеведческий музей, хоть и очень хорош, но облуплен сильно. Что ни говори, а ему уже, без малого, сто лет. Денег на ремонт здания, построенного еще в позапрошлом веке для городской управы, администрация не дает. Говорит, как и все наши администрации, что не может, хотя и очень хотела бы. Зато выделила в прошлом году целых две тысячи рублей на развитие музея. Я не поверил и переспросил у сотрудника музея – точно ли две тысячи? Оказалось, что точнее не бывает[4]. Правду говоря, и весь исторический центр Ветлуги выглядит не лучше музея. В конце девятнадцатого века город в результате сильнейшего пожара выгорел практически дотла. То, что построили сразу после пожара и есть современная Ветлуга, за исключением одного микрорайона с советскими трех- и четырехэтажными домами. Если в двух словах, то бедно, но чисто. Все же, что-то в порядок приводят. К примеру, восстановили разрушенную при большевиках колокольню Троицкого собора в центре города. Жаль только, что механизм часов, которые были на колокольне лет десять тому назад, куда-то пропал. Я спрашивал в музее – они не знают куда. Ну, да это ничего. Заложили эти круглые дыры с четырех сторон кирпичом, заштукатурили, забелили и нарисовали циферблат со стрелками. Теперь в Ветлуге, если верить соборным часам, всегда три минуты десятого. Так и живут в остановившемся нарисованном времени. Молодежь, правда, не очень хочет жить в остановившемся времени и потому, как школы окончит, так и уезжает искать счастья в Нижний, в Киров, в Москву и Петербург. Остаются в Ветлуге папы, мамы, бабушки и дедушки и с каждым годом дедушек и бабушек становится все больше. К ним и присылают родители на лето внуков. Здесь можно детям играть во дворах и на улицах так, как играли в детстве их родители. Здесь в городском парке

растут сыроежки и подосиновики. Здесь есть народный театр, который называется «Балаганчик». Здесь в самом центре города добывают из скважины ветлужскую минеральную воду, которая, судя по ее отвратительному соленому и железистому привкусу, целебнее «Боржоми» и «Ессентуков» в сто раз. Здесь пекут самые большие и самые вкусные в Нижегородской губернии ватрушки и пирожки со шпротами[5]. Здесь на площади возле автостанции, в пустом кафе «Виктория», сидит за столиком, на котором стоят три пустых бутылки пива, девушка и усталым голосом говорит в телефон: «Ты меня вообще хочешь видеть или нет?» Здесь кабины грузовиков украшают золотой бахромой с бубенчиками. Здесь на перилах моста через Ветлугу висят замки, которые теперь полюбили вешать новобрачные. Среди этих замков и замочков есть такой большой и такой амбарный, что я чуть не заплакал, представив, как дородная невеста закрывает его с громким щелчком и не выбрасывает ключ в реку, а прячет в вырез бездонного декольте, а маленький, щуплый жених смотрит на ключ, который он видит в последний раз, с такой тоской...

Здесь над Ветлугой неба раза в два больше, чем над всей Москвой и в три, чем над Петербургом.

---

[1] На самом деле, не Шулепниково, как часто пишут, а, как сказали мне в местном краеведческом музее, Шулепниково или Щупликово. Названа она была так по имени московского сотника Щулепникова, который ~~был щупликом~~ построил на берегу Ветлуги деревянную двухэтажную сторожевую башню вокруг которой и выросла деревня. Впрочем, по другим сведениям никакого сотника Щулепникова не было, а были два русских дозорных Михаил Тюхин и Иван Сытин, основавшие на месте современной Ветлуги Воскресенский погост, вокруг которого и образовалась... деревня Щулепниково. То ли сотник подчинил себе дозорных, то ли сами жители решили, что называть деревню разом и Тюхино и Сытино не очень складно...

[2] Признаться, они и сейчас их остерегаются. Восемьдесят процентов ветлужского района занято лесами и медведей в этих лесах, может, уже и не так много, как раньше, но много ли бабам и детишкам, а также и здоровым мужикам нужно, чтобы испугаться?

[3] Краеведческого общества в Ветлуге нет до сих пор. Взрослого нет, а детское собирается в музее регулярно. Ветлужские школьники со своими краеведческими работами занимают призовые места не только на областных, но и на всероссийских смотрах. Если бы мне поручили придумать, как это теперь модно, бренд Ветлуги, то я бы сказал, что Ветлуга – это рай для детей-краеведов.

[4] Две тысячи рублей стоят сутки проживания в местной гостинице «Луга». За эти деньги вам полагается номер «люкс». Свет в этой комнатке, девять десятых которой занимала кровать, почему-то включался и выключался в общем коридоре. Жена попросила у дежурной по единственному этажу хотя бы настольную лампу, чтобы не выходить перед сном в коридор и не выключать свет.

– Настольной лампы у нас не предусмотрено, - отвечала дежурная, - а как ляжете спать – скажите мне. Я вам выключу.

[5] На самом деле, не только со шпротами, но и с другой консервированной рыбой. Такие пирожки называются в провинции пирожками «с консервой». Так и написано на ценниках.

Красные Баки

Поселок городского типа Красные Баки, расположенный на полпути из Нижнего в Ветлугу или из Ветлуги в Нижний, на самом деле не Красные и не Баки. Сначала он был марийским городищем, как и все поселения в Поветлужье, и жили в нем на рубеже первого и второго тысячелетий луговые марийцы[1]. Понемногу, начиная с тринадцатого века, стали сюда приходить немногочисленные русские. Земли было много, рыбы в реках еще больше, зверя в лесах было столько, что на каждого местного жителя, включая стариков и грудных детей, приходилось по двадцать куниц, десять лосей, пять кабанов и три медведицы с медвежатами. Весь этот зоопарк при помощи рогатины, ножа, лука, стрел и сети поймать, освежевать, зажарить на вертеле и засолить – жизни не хватит. Еще и рыбу надо ловить и вялить, чтобы она от переизбытка не вышла из берегов. Еще варить пиво к пойманной рыбе... Короче говоря, русские и марийцы первое время, которое продолжалось около ста лет, жили

так обособленно, что и не пересекались вовсе. И так они мирно жили, пока в 1374 году не пришли в эти края новгородские ушкуйники и не разграбили селения и тех и других без разбору. Ну, а потом все, как обычно – то галицкие князья придут, то казанские татары, то москвичи. Эти, последние, приходили, уходили и, наконец, пришли, чтобы остаться навсегда.

Когда в середине шестнадцатого века Москва присоединила Казань, на месте современных Красных Баков появились два русских поселка для охраны переправы через Ветлугу. Один из них назывался Бочки Большие, а второй – Бочки Малые. Бочки, но не баки. И бочки не потому, что деревянные, а потому, что так называлась речка Боковка, впадающая в этих местах в Ветлугу. Со временем деревня подросла, Бочки Большие слились с Бочками Малыми и стали называться просто Боками, но все равно не Баками.

Поначалу тем, кто пришел в эти, почти дикие, места правительством давались налоговые льготы на десять лет, но... как давались, так и отбирались. Василию Шуйскому нужны были деньги, чтобы бездарно все... и уже в 1606 году в Поветлужье приехали из Москвы первые дозорщики. Через десять лет другие, а в 1635 году и третьи. Дозорщики – это совсем не те, которые приставляют ладонь ко лбу и ходят дозором, высматривая врага, а те, которые переписывают пахотные земли, людей, дворы, коров, лошадей, кур, кадки с солеными огурцами, чтобы потом обложить четырехэтажным налогом и людей, и скотину, и каждый огурец. Московские дозорщики записали деревню Боки Баками, поскольку москвичи, в отличие от местных «окающих» жителей «акали», и все названия переиначивали на свой московский «акающий» лад. Речке Боковке тоже не удалось спрятаться – ее переиначили в Баковку.

Вот так появились Баки[2]. По меркам тех лет село было крупным – целых семь крестьянских дворов. Ровно через двести восемьдесят лет, в 1923 году, Баки стали Красными. Новая власть хотела сделать Бакам подарок. Дешевле прилагательного «красный» не было ничего, а уж сердитее... Впрочем, до Красных Баков еще почти триста лет, а пока они, после постройки князем Львовым, владельцем этих мест, церкви во имя Николая Чудотворца, стали селом Никольское-Баки и под таким названием прожили до семнадцатого года.

«Бунташный» семнадцатый век мимо Баков не прошел. Тогда они сильно покраснели в самом прямом смысле этого слова. В селе устроил свою ставку разинский атаман Иван Долгополов он же Илья Иванович Пономарев. Во времена разинских беспорядков село Баки с прилегающими к нему деревнями принадлежало стольнику князю Дмитрию Петровичу Львову. Сам Дмитрий Петрович в такой глуши, понятное дело, не жил, а управлял его вотчиной приказчик.

Соседними вотчинами, принадлежавшими двум братьям князя Львова, князю Одоевскому и Даниилу Колычеву тоже управляли приказчики. Их-то и казнили в первую очередь разинские казаки, прибывшие в Баки из захваченного повстанцами Козьмодемьянска. К казакам, присоединились еще две сотни местных, из которых сто человек были черносошными крестьянами. Только из поместий князя Львова записалось в казаки полторы сотни человек. Надо сказать, что жизнь крестьян в вотчинах Львова и Одоевского была не то, чтобы несладкой, а просто хуже горькой редьки из-за непомерных податей и оброка[3]. Уже в шестидесятые годы семнадцатого века в тех местах числилось около трех с половиной сотен душ мужского пола в бегах. Куда они бежали из этой глуши...

Баковские казаки в составе разинских отрядов догуляли до Галича и Чухломы, где были пойманы и повешены. Тех же крестьян, что после первых поражений от царских воевод тихонько вернулись домой, власти наказывали в Баках. 17 декабря 1670 года было повешено пять человек. На следующий день на козле кнутом били более полусотни человек и у многих отсекли большие пальцы правой руки и правое ухо. Самого разинского атамана Ивана Долгополова привезли в Ветлужскую волость через месяц в село Лапшангу, рядом с Баками, уже покойником. Поймали и повесили его на Вологодчине, в Тотьме, а в Лапшанге выставили на всеобщее принудительное обозрение.

Строго говоря, всю последующую, после усмирения разинского бунта, историю Баков можно описать в двух словах – торговали лесом. Конечно, выращивали здесь и хлеб, но на этой скудной земле медведи росли лучше ржи. Лес и был хлебом Поветлужья.

Торговали и тем, что мы теперь назвали бы продуктами первичной переработки – мочальными рогожами, древесным углем, смолой, березовым дегтем, бочками, ушатами, долблеными ковшами и

другой деревянной посудой. Одно время умельцы даже наладили выпуск деревянных рублей такого отменного качества, что власти, как только известились об этом, тотчас же прислали в Баки воинскую команду, которая всех причастных к изготовлению денежных знаков препроводила в губернский острог.

При Петре окрестные леса в количестве триста пятьдесят тысяч десятин записали в корабельные. Лучше всех умели вязать плоты и строить беляны крестьяне князей Трубецких[4], владевших этими землями с первой половины девятнадцатого века. Трубецким принадлежали в окрестностях Баков двадцать четыре тысячи десятин леса, пашни и двадцать пять деревень. Трубецкие только за одну навигацию сплавляли по Ветлуге до Козьмодемьянска не одну и не две беляны. И это притом, что стоимость одной беляны доходила до ста тысяч рублей.

В Баках у Трубецких был дом, в котором часто жил Александр Петрович Трубецкой и в котором была контора его приказчиков. Это был первый каменный дом в селе. Построили его в 1879 году. Баковский краевед советского времени Николай Тумаков по-советски писал: «Дом князя встал на самом красивом месте села Баков. Из его окон была видна вся заречная часть с красивыми лесами, уходящими до самого горизонта. Леса здесь сохранялись до самой кромки берега Ветлуги, а чтобы лучше представлялась панорама бесконечности леса, от берега Ветлуги до озера Черного была прорублена широкая просека. И хозяин дома, распахнув окно, холеной ручкой мог показать гостям лесные богатства своего имения – «Все, что видите, - это мои владения» [5]. В 1909 году князь Трубецкой своей холеной ручкой подписал распоряжение своему управляющему подготовить необходимые документы для передачи дома под земскую больницу. Дом, однако, передать не удалось – родная сестра Александра Петровича, как говорили (и до сих пор говорят), из корысти, объявила его сумасшедшим и упекла в желтый дом. Впрочем, и ей недолго удалось пользоваться домом и имением брата – не прошло и девяти лет, как в семнадцатом году дом был национализирован, и в нем была устроена школа, потом его занял уездный исполком, потом райисполком и, наконец, в нем прописался местный краеведческий музей.

В музее, которым уже восемнадцать лет заведует Ирина Сергеевна Корина, есть мемориальный кабинет князя Трубецкого. Там собрано все то, что можно было собрать после того, как все то, что можно было выбросить, выбросили на улицу новые власти, когда переводили в это здание школу, после того, как все то, что можно было растащить, растащили власти и местные жители. Кое-что вернули совершенно безвозмездно жители, кое-что власти, а кое-что потомки Василисы Шихматовой – гражданской жены князя. Само собой, что не сразу, а после просьб и уговоров Ирины Сергеевны[6].

Вернемся, однако, к баковским судостроителям. Такими они были искусными, что в тридцать седьмом году прошлого века краснобаковская кооперативная судостроительная артель[7] по заказу из Москвы построила два судна для съемок фильма «Волга-Волга». Это было непросто, поскольку колесных пароходов в тридцать седьмом уже давно никто не проектировал и не строил. Бригадиром у баковских плотников был А.Ф. Рычев – бывший судовладелец, недавно вернувшийся из мест не столь отдаленных. В этом смысле он был похож на сценариста фильма Николая Эрдмана, вернувшегося из ссылки в тридцать шестом. К Эрдману Александров ездил работать над сценарием в Калинин, а к Рыкову и его бригаде – в Красные Баки. Вот если бы тогда писали, как сейчас, в титрах всех, кто причастен к созданию фильма... Впрочем, в титрах этого фильма имеются и куда более серьезные пропуски.

Теперь в краснобаковском краеведческом музее, в том зале, что посвящен советскому периоду, стоит настольная модель «Севрюги» вся увешанная спасательными кругами размером с маленькую чайную сушку. Модели «Лесоруба», на котором плыла Стрелка, почему-то нет, зато вместо нее стоит модель детской кроватки с деревянными прутьями. В пятьдесят шестом году местная судоверфь стала умирать, и ее преобразовали в лесокомбинат, выпускавший детские кроватки на колесиках, разъезжавшиеся по всей стране, стулья, лыжи и пиломатериалы для мебельной промышленности Горького. Лесокомбинат рос, рос и... тоже стал умирать. Преобразовывать его было уже не во что, а потому ему разрешили умереть своей смертью. Еще раньше умерло формалиновое производство Ветлужского лесохимкомбината – первое на территории России, а потом и Советского Союза. Завод стали строить еще в пятнадцатом году, и в семнадцатом он уже дал первые тонны формалина,

который делали из местного древесного спирта. Руководил строительством завода, был его первым директором и главным инженером – Отто Иванович Гуммель, во время первой мировой служивший в московском представительстве какой-то мирной австро-венгерской компании. На всякий случай его интернировали вглубь страны, в нынешнюю Кировскую область. После того, как кончилась и мировая, и гражданская, Гуммель по предложению советского правительства завершил начатое и брошенное американцами строительство химического завода в Челябинской области, за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В Красных Баках ему тоже пришлось завершать начатое другими. Неподалеку от Красных Баков в поселке Ветлужская под его руководством был построен еще один завод по химической переработке древесины. Оба завода объединили в Ветлужский лесохимкомбинат. Выпускали скипидар, уксусную кислоту, канифоль и специальные присадки для авиационного топлива.

Гуммель руководил заводом многие годы. В тридцать восьмом, когда его расстреляли, как врага народа, ему был семьдесят один год. Обошлись даже и без доносов. Следователь арестовал Гуммеля и еще одного бывшего военнопленного Карла Карловича Рудольфа, механика Ветлужской нефтебазы. Отто Иванович и Карл Карлович не были знакомы, но это не помешало следователю составить из них фашистско-диверсионную группу, злоумышлявшую против руководителей советского государства. В деле Гуммеля было всего четыре странички. Только протокол допроса и приписка рукой Отто Ивановича о том, что вину свою он признает. Этой приписки для вынесения приговора и расстрела было по тем временам и тем законам более, чем достаточно. Впрочем, доносы потом, задним числом, сочинили и к делу приобщили. Тех, кто сочинял, тоже репрессировали. Тех, кто репрессировал... Еще и пенсию персональную получали. Продуктовые заказы по революционным праздникам. Ходили в школы на уроки мира звенеть медалями и рассказывать пионерам о холодных головах, горячих сердцах и чистых руках.

Через две или три стены от зала, где стоит модель «Севрюги» и со стены смотрит фотография рабочих лесохимкомбината, на которой Отто Иванович Гуммель второй справа, висит на стене портрет Сталина. Принесла его в музей старушка, каждый день молившаяся лучшему другу выживших из ума пенсионеров и каждый день рассказывавшая ему новости из своей жизни, жизни Красных Баков и жизни страны. Она бы и не приносила портрет, кабы не подошло ей время отчитываться о своей жизни совсем в другом месте, где... Ну, да Бог с ней, со старушкой. В этом зале есть и поинтереснее экспонаты. Висят там фотографии, рассказывающие о жизни двух детских интернатов, когда-то бывших в краснобаковском районе. Первый появился в сорок первом, и устроили его для детей работников исполкома Коминтерна. Место это называлось (да и сейчас называется) «Лесной курорт». Все там было устроено на самом высоком уровне – лучшие врачи, воспитатели, агрономы, занимавшиеся с детьми выращиванием овощей и фруктов. Поначалу привозили в него испанских детей, а потом и детей коминтерновских сотрудников, работавших в Москве. Во время войны стали привозить детей борцов антифашистского Сопротивления. В общей сложности жило там семьсот ребятишек и сто взрослых. В сорок четвертом интернат расформировали и детей отправили к родителям. Второй интернат, а, вернее, детский дом, был организован позднее – в сорок втором[8]. Привозили в него детей из блокадного Ленинграда. Как правило, это были дети-сироты. Совсем малыши. Только одиннадцать детей было школьного возраста. Почти всех выходили. Было трудно. Всего труднее было запрещать маленьким детям воспитательниц называть мамами. Считалось, что они должны привыкнуть, что мам у них нет. Дети не знали, что так считалось и что они должны, а потому все равно называли, хотя и шепотом.

В этом году, в ночь музеев, собрала Ирина Сергеевна детей, раздала им воспоминания воспитанников этого детского дома и стали они их читать перед взрослыми. Нелегкое это дело – читать такие воспоминания детям. Слушать их взрослым – еще тяжелее.

В одном из залов музея, где собрано все, что можно было собрать на территории Красных Баков и окрестностей, начиная от окаменевшей головы двоякодышащей рыбы, белемнитов, аммонитов, бивней мамонта, кремниевых наконечников стрел и кончая замками, работы местных кузнецов, ключей и ключиков к этим замкам, вышитых полотенец, старых утюгов, большого кирпича... Вот здесь мы остановимся и скажем несколько слов о кирпиче. Его принес в музей бывший комсомолец.

Давным-давно, когда было точно известно, что религия – это опиум для народа, комсомольцы разобрали Никольскую церковь на кирпичи. То есть, разобрать ее было невозможно – пришлось сначала взрывать, а потом разбирать. Комсомольцам, ударно разбиравшим руины, власти разрешили часть кирпичей взять себе, для использования в домашнем хозяйстве. Один из кирпичей оказался больше других и в домашнем хозяйстве не пригодился. Валялся, валялся и превратился в музейный экспонат. Тут его постаревший комсомолец и принес в музей. Наверняка, еще и с рассказом, о том, как не хотелось ему разбирать церковь.

В этом же зале расставлена на полу и на полках дюжина старых самоваров, без которых теперь, как без бивней мамонта и без старых угольных утюгов, не обходится почти ни один из наших провинциальных музеев. Довольно обычные, надо сказать, тульские самовары. Зато у каждого самовара своя история. Вот одна из них, которую рассказала мне Ирина Сергеевна.

Жил в прошлом веке в Красных Баках лоцман – Василий Васильевич Воронин. Жил он в Баках еще с тех времен, когда они красными не были. Ветлужские лоцманы зарабатывали когда хорошо, а когда очень хорошо. Жил Воронин в достатке, в собственном доме и был у него самовар – большой, как и семья, которая вокруг него собиралась. В тридцатых годах стали жителей Красных Баков загонять в артели и колхозы. Василий Васильевич был единоличником, в колхоз вступать не хотел и трудно заработанные деньги отдавать в общий котел не собирался. Даже и планов на этот счет не имел никаких. У советской власти, однако, на счет лоцмана Воронина и других единоличников, были совсем другие планы. Обложила она единоличников такими налогами, которые выплатить было не под силу даже лоцману с его высокими заработками. Даже очень хорошему. Советская власть тем, кто не мог расплатиться, шла на встречу. Нет, она не делала отсрочек платежей и не уменьшала сумму налогов – она разрешала платить налоги имуществом. Другими словами, описывала и забирала вещи единоличников в счет уплаты. Ходили по домам уполномоченные и описывали имущество, которое потом изымали и оно поступало в распоряжение... Ну, кого надо – того и поступало. У кого посуду опишут, у кого стулья или шкаф. И стали Воронины прятать свой самовар от описчиков, которые раз зашли, другой зашли и обещали зайти и в третий. Была у лоцмана бабушка лет девяноста – такая немощная, что уж никуда не ходила, а только сидела себе целый день на стуле перед окошком да смотрела на улицу – кто идет, с кем идет и куда. Как только видела уполномоченных – так сразу и подавала сигнал тревоги. Домашние прятали самовар бабушке под сарафан, и она продолжала сидеть, как ни в чем не бывало. Несколько раз приходили уполномоченные и несколько раз уходили ни с чем. Однажды собрались Воронины чай пить и тут, некстати, несет нелегкая описчиков. Делать нечего – спрятали под бабушкин сарафан горячий самовар. Сидела старая, красная, как вареный рак, пот с нее градом лил, но самовар не выдала.

Много позже, когда Василий Воронин уже умер, историю эту рассказала директору музея дочь лоцмана. Стала Ирина Сергеевна просить ее отдать самовар в музей. Просила, просила... Допросилась до того, что лоцманская дочь, с которой, на самом деле, Ирина Сергеевна дружила, перед ее приходом самовар прятала, чтобы не отказывать просительнице. Увидит ее в окошко – спрячет самовар, а потом уж и дверь откроет. Теперь уж ее нет в живых, а сестра передала самовар в музей.

Ирина Сергеевна рассказала мне не одну историю про самовары, а две и третью про резной деревянный иконостас с двуглавым орлом и коронами российской империи в доме бывшего баковского старосты[9] и еще одну про карнизы для штор в кабинете князя Трубецкого, и еще про одну старую фотографию, на которой стоят рядами на сельской улице нарядные мужики, бабы и детишки[10]. С первого взгляда, особенно, если не понимать о чем речь, кажется, что это какой-то неправильный хоровод, но это не хоровод, а праздничное шествие жителей села на Троицу. Шествие было сложно организовано и называлось «Баковской основой». Шли односельчане по улице, держались за руки и пели. Не просто так шли, а ходили ткацкой основой. Изображали процесс переплетения нитей. Шли медленно, держась друг за дружку через платки. Первыми шли самые опытные, за ними замужние женщины и женатые мужчины, за женатыми шла молодежь, а за молодежью просто так, без всякого порядка, носились во все стороны, как угорелые, мальчишки и девчонки. Говорят, что это было очень красивое зрелище. На Троицу по Бакам ходило и пело целых три таких основы.

Сначала не стало опытных и ходить основой перестали, но песни еще пели, знали за кого держаться и в сундуках хранили платки. Потом стали умирать те, кто знал слова песен. Теперь остались одни платки, да и то не у всех, а за кого держаться, как ходить и куда... Только мальчишки и девчонки продолжаются носиться во все стороны как угорелые. Не так уж и мало, если разобраться. С другой стороны, сказать, что только в Красных Баках не знают за кого держаться и как ходить основой... Не говоря о том, куда[11].

---

[1] Русские их называли черемисами. Теперь это название стараются не употреблять, поскольку марийцы его не любят и считают оскорбительным, точно так же, как украинцы считают оскорбительным слово... Одним словом – марийцы.

[2] Между прочим, жители Баков до сих пор не договорились, где в слове Баки ставить ударение. Одна половина сельчан ставит ударение на первом слоге, а вторая – на втором. И никаких даже и намеков на единогласие в этом вопросе не предвидится.

[3] К примеру, у отца Александра Васильевича Суворова в тех местах была вотчина, а в ней семьсот ревизских душ. За 1791 год приказал генерал-аншеф Суворов собрать две тысячи рублей денежного оброка, а к нему добавить еще сто рублей за причитающееся с вотчины мясо, восемьсот аршин холста, две сотни рябчиков, двадцать пять тетеревов и столько же зайцев, сорок куниц, четыре пуда сухой рыбы, два ведра груздей, десять фунтов сушеной малины и грибов «сколько можно больше». На сто рублей за причитающееся с вотчины мясо можно было тогда купить этого самого мяса немногим более тонны. С одной стороны так и хочется спросить у Василия Ивановича – не треснет ли..., а с другой поблагодарить крестьян за сытое детство Александра Васильевича. Вот только отчего он груздей приказал всего два ведра... Непонятно.

[4] Рубкой леса и сплавом занимались почти всегда крестьяне князя Одоевского. Их полупрезрительно звали «адуями». Из одоевских они превратились в «адоевских» по той же причине, что и Боки превратились в Баки, а уж «адоевских» быстро сократили до «адуев». Малорослые адуи заметно окали, вместо «ч» говорили «ц» и были вечным объектом для шуток, иногда очень злых. В девятнадцатом веке всех сплавщиков (какому бы помещику они не принадлежали) называли адуями.

[5] Цитату эту выписал я из книжки Н. Г. Тумакова «Рабочий поселок Красные Баки», изданной в серии «Библиотека Краснобаковского исторического музея». Таких книжек баковских краеведов несколько и все они вышли, как сказали бы раньше, попечением Ирины Сергеевны Кориной. Ничего удивительного, скажете вы. Есть музей, есть краеведческая литература. Должна быть. Да, есть музей. В России... В принципе, этого уже достаточно, чтобы понять кто кому и что должен, но я продолжу. Есть музей в маленьком заволжском поселке, в котором живет несколько тысяч человек. Есть бюджет поселка, увидеть который, если смотреть на него невооруженным глазом, можно только сильно прищурившись. Есть бюджет музея, который невооруженным глазом и вовсе не увидеть. Есть книги по истории Красных Баков, которые не только доводит до печати, но и сама пишет маленькая женщина с тихим голосом.

Надо сказать, что постоянно помогает ей в этом нелегком деле глава краснобаковской администрации Николай Васильевич Смирнов – и сам большой любитель истории, инициатор передачи дома Трубецкого музею. До переезда в это здание музей десять лет не работал из-за аварийного состояния дома, в котором он находился предыдущие тридцать лет. Администрация даже финансирует археологические раскопки нижегородских археологов в краснобаковском районе. Конечно, в меру своих финансовых возможностей. Кормит, дает транспорт, бензин и, кажется, даже платит какие-то смешные, по столичным меркам деньги. Ничего удивительного, если не учитывать время, в которое все это происходит и место, в котором... мы все, а не только Красные Баки.

[6] После долгих. К примеру, супницу Трубецких у Шихматовых, как сказала Корина, пришлось брать измором. Правду говоря, из всех, без сомнения, интересных экспонатов этого мемориального кабинета мне более всего запомнился один, не имеющий никакого отношения к вещам Трубецкого – антикварная посудная горка. Одна из зим в Красных Баках была теплой, и директору удалось сэкономить на отоплении целых тридцать тысяч. Вот на эти деньги и была куплена горка в одном из антикварных магазинов Нижнего Новгорода. Когда через пятьдесят или сто лет краеведы напишут полную историю Красных Баков в трех толстых файлах с интерактивными картами и многочисленными голограммами, про покупку горки на сэкономленные на отоплении деньги никто и не вспомнит, а жаль.

[7] Плотники, объединившиеся в артель, просто устали быть единоличниками. Государство обложило их такими налогами, что артель была единственным выходом из создавшейся ситуации.

[8] Детский дом устроили в бывшей усадьбе помещиков Захарьиных. Это была одна из ветвей старинного рода тех самых бояр Захарьиных, которые еще при Иване Грозном были в Думе председателями комитетов и вице-спикерами. Когда в музее появился Интернет, директор музея стала искать их по всему свету и разыскала. Оказалось, что потомки древнего рода живут в Москве и в Петербурге. Собрались Захарьины, по приглашению Ирины Сергеевны, приехать в Красные Баки, на родину своих предков. Попросила их Корина привезти, если можно, каких-нибудь старых фотографий того времени, когда усадьба еще была захарьинской. Захарьины, отвечали, что с удовольствием, но привезти им нечего, поскольку фотографий того времени в семье не сохранилось. Да и кто бы стал их хранить, когда вокруг такое творилось. Однако же достали Захарьины свои семейные альбомы и нашли несколько. Когда же их стали вытаскивать, обнаружилось, что под фотографиями советского времени, спрятаны те, которых, как они думали, уж и нет вовсе.

[9] Да, иконостас. Вот какими верноподданными бывают у нас начальники. Особенно мелкие.

[10] И еще рассказала мне Ирина Сергеевна о коллекции старинных пуговиц, которую она собрала. В этой коллекции более трех сотен пуговиц из перламутра, янтаря, фарфора, стекла, медной проволоки, и про каждую она может рассказать историю. Вам нужно только сказать, что вы интересуетесь пуговицами. Или не сказать, но все равно. Мне вообще показалось, что она может рассказать про каждый гвоздь в музее. Рассказать, показать фотографии, письма и свидетельства очевидцев о том, как его забивали.

[11] Хотел я приписать в конце: мол, будете в Красных Баках – зайдите в музей. Он хороший. Они оба хорошие – и музей, и директор. Расскажут вам столько интересных историй. Еще и чаем напоят с мятой, душицей и смородиновым листом. Да я знаю, что не будете и не зайдете. В тех местах и проездом-то редко кто бывает. Ну, и ладно. Не проезжайте, но хотя бы знайте, что есть на белом свете поселок городского типа Красные Баки, а в нем есть интересный музей, и директор, и чай со смородиновым листом. Маленьким провинциальным городкам и поселкам (и музеям) очень важно чувствовать, что о них кто-то знает. Помните, Добчинский просил Хлестакова «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский». Мы в школе над этими словами смеялись. Зря смеялись. А вот когда Бобчинский говорит: «Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский», то уж это он зря. Уж кому-кому, а нашему государю... Короче говоря, хотел я все это приписать, да как-то... Ну, вот, в примечаниях будет.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

(1931 – 2012)

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ ИЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ?
Сон Веры Павловны, или Явь XX века

Публикация Елены Селезневой

Кто из нас после школы по доброй воле и в здравом рассудке перечитывал революционно-публицистический роман «Что делать?», перепахавший, по его пламенному признанию, симбирского гимназиста, будущего глашатая прогоревшей мировой революции? Но программный Четвертый сон Веры Павловны запомнился многим на всю оставшуюся жизнь. Еще бы! Его так рьяно вбивали в наши бедные головы советские учителя, а отличницы с малиновым бантом, в черных юбочках, с комсомольскими значками на белых кофточках, с вдохновенно-отрешенным взором на праздничных вечерах читали, как белые стихи, сказочное сновидение любимой героини Николая Гавриловича.

Так и остался в памяти самый растиражированный в мире сон – как восхитительная утопия, как ослепительная идиллия, как сказка, как манящие огни.

Однако неужто великий революционный демократ (официальный советский титул Чернышевского) был только завлекательным фантазером и сказочником? И разве обворожила бы чистая фантастика прожженного прагматика и циника Владимира Ульянова? И так ли уж далек от российских реалий XX века сон Веры Павловны?

Советские литературоведы и историки, экономисты и политологи, восславив Чернышевского в десятках тысяч монографий, учебников, сборников, брошюр, статей, зевнули, по-моему, его воистину провидческие открытия. В воспетом и зацитированном сне автор романа, предвосхищая главный завет социалистического реализма – изображать жизнь в ее революционном развитии в целях идейно-патриотического воспитания трудящихся масс («<...> будущее светло и прекрасно. <...> Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее всё, что можете перенести»[1]), и впрямь многое предугадал из уникальной теории и практики социалистического лагеря – венца исторического развития всего человечества.

Вере Павловне, новому человеку и, самое-то главное, ультра-новой женщине без всяких там мещанских предрассудков, снится, как после победы веками ждавшейся великой революции навсегда воссияют самые светлые и прекрасные идеалы человечества. Как чудесно преобразилась наша земля. Как сказочно изменились люди – творцы освобожденного труда. «Нивы – это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля – это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, – как же они растут на открытом воздухе?» (С.283-284).

Боже, до чего знакомые картины! Да этакие агрочудеса десятки лет сулили советскому народу Лысенки-Мичурины и прочие маги и волшебники сталинского разлива. Мифическому городу-саду трубадурил зашоренный коммунистической идейкой Маяковский. Колхозное же счастье по художественным рецептам автора романа «Что делать?» пекли Шолоховы, Панферовы, Вирты, Корнейчуки, Недогоновы, Николаевы, Павленки, Бабаевские, Софроновы, Алексеевы, Медын-

[1] *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 290. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте статьи.

ские, Мусатовы, Проскурины, Федоровы и гурты прочих стаднюков. Зря, ей-богу, зря советское литературоведение не додумалось пожаловать Николаю Гавриловичу почетнейшее звание основоположника социалистического реализма (может, не хотели обижать пролетарского Сокола-Буревестника?).

«Группы, работающие на полях, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины – и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, – люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он, – как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь! <...> И все песни, все песни, – незнакомые, новые <...>» (С. 285). Как все похоже на пародийную песенку моего детства: «Нам электричество пахать и сеять будет...»

Ну чем не кадры из моих любимых колхозных комедий: «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Искатели счастья», «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки», «Кавалер Золотой Звезды», «Калиновая роща», «Щедрое лето», «Свадьба с приданым», «Стряпуха» и т.д. А новые песни это, вероятно, «Широка страна моя родная», «Нам песня строить и жить помогает», «Утро красит нежным светом», «Нас утро встречает прохладой», «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы», «Советский простой человек», «Если страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой», «Каким ты был, таким ты и остался» и проч. Если бы артисты не захотели петь без роздыху на экране, они бы наверняка навсегда замолкли в жизни.

В земле обетованной, приснившейся Вере Павловне, не только сплошное песенно-трудовое веселье, но даже старость – тоже радость, хотя «стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть» (С. 284-285). Тирада очень восхитительна, но не очень вразумительна. Если при социализме старость отодвигается на долгие годы, но, увы, все-таки полностью пока что не отменяется правительственным декретом или волшебным эликсиром, то позвольте узнать, куда же девается большинство стариков? То ли Верочка во сне чего-то недопоняла, то ли сам автор что-то от нас утаивает, чтобы не затенять светлое и прекрасное будущее.

Не добившись ясного ответа от Николая Гавриловича Чернышевского, обращаюсь к Владимиру Николаевичу Войновичу. Герой его романа «Москва 2042», прилетев в первую в мире отдельную московскую коммунистическую республику (сокращенно МОСКОРЕП), узнает потрясающую новость: там вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков! Может, их вылечили или омолодили? Нет, что вы, попросту их всех чохом заблаговременно выдворили за границу полного коммунизма – в Первое Кольцо. Поистине, колумбова простота и ленинская гениальность! Потому-то «даже и смертность среди рядовых комунян вообще практически ликвидирована»[1]. Так антиутопия проясняет одну из загадок утопии.

Одному из главарей единороссов, пришедшему на смену бессменному владыке стольного города – толстяку в черной кепочке, сумевшему поджечь больше домов, чем даже Федор Ростопчин в 1812 году, ударила в голову чудная идейка: а не выселить ли всех пенсионеров из столицы нашей родины города-героя Москвы куда-нибудь подальше, в какие-то города, которых пока что и на карте-то нет? Правда, позже он смилостивился и молвил, что выдворять из первопрестольной будут строго добровольно, а не под конвоем русиш гестапо! Что ж, спасибо добряку мэру и за это.

Но если в коммунистической Москве 2042 года раз и навсегда покончили со смертностью и старостью, то из райского царства Чернышевского пока что сплавили в места не столь прелестные не всех стариков и старух. Правда, вовсе не из ложного буржуазного человеколюбия, а по чисто практическим мотивам. Ветеранам великих строек и героических буден не дают почивать на лаврах и предаваться греющим душу воспоминаниям о своем личном вкладе в строительство социализма. Хоть на тучные нивы стариков и старух не выгоняют (какой там от них прок!), но зато обязывают (вместе с детьми!) «готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в ком-

[1] *Войнович В. Н.* Малое собр. соч. М.: Фабула, 1993. Т. 3. С. 180

натах <...> это слишком лёгкая работа для других рук <...> ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого» (С. 285). То есть в светлом будущем из стара и млада выжимают все, что только возможно.

Конечно, именовать слишком легкой работу кухарок (не тех, понятно, кои дорвались до управления государством), как и прочей прислуги, способен или очень уж неумный барин, или очень уж революционный вождь типа Чернышевского или Ульянова, у которых всегда хватало прислуги и никогда не было ни желания, ни необходимости самим заниматься каким-либо физическим трудом. И спросим у великого революционера-демократа: какая участь ожидает стариков и старух, когда им будет не под силу выполнять и эту якобы легкую работу? Не та ли, что их ровесников в Москве 2042 года?

Труд в столовой, впрочем, и вправду куда легче, нежели в поле, на стройке или, избавь боже, на лесоповале. Туда и рвались (в столовку, а не на общие работы) самые увертливые и блатные. «Дневальным по столовой цепко держался Хромой. Хромоту свою в инвалидность провёл, а дюжий, стерва. Завёл себе посох берёзовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет. <...> название – "дневальный". А разобраться – князь! – с поварами дружит!»[2] Это цитирую уже не роман, опубликованный в 1863 году в «Современнике», а повесть, напечатанную в 1962 году в «Новом мире» – «Один день Ивана Денисовича».

Заглянем в столовую, где потчуют не бедолаг ГУЛАГа, а свободных тружеников изобильных нив: «Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уже на столе <...>» (С. 285). Очаровательно, но что же, любопытно узнать, сумели приготовить младые и престарелые повара: алюминием, хрусталем и цветами сыт не будешь! Блюда вовсю расхваливаются, однако ж их названия почему-то утаиваются от читателя: не государственная ли сие тайна? Лишь в черновой редакции романа расшифровывается райское меню: чай, кофе, сыр (тут революционный демократ расщедрился и, не без сердечных колебаний, дописал: «и вет», подразумевая самый дефицитный продукт эпохи перезрелого социализма – ветчину. Помните частушку: «Ты, миленок мой, / Про ветчину ты мне не пой./ В наше время ветчина / Есть антисоветчина!».

По допотопным понятиям кошмарного царского времени – пища для аскетов. Суровейший и сверхжелезный Рахметов, претендент на звание будущего всенародного правителя всея Руси, добровольно принявший историческое решение есть лишь то, что «доступно простым людям» (С. 206) , и тот в Санкт-Петербурге с чистой совестью, заодно с угнетенными трудящимися столицы империи, лакомился, к примеру, апельсинами. А знаете ли, какой воскресный обед подавали (бесплатно!) самым опасным врагам царского режима – четырем узникам Алексеевского равелина, в том числе убийце и провокатору Нечаеву, в 1880 году: суп со свежей капустой (3 с половиной фунта говядины, капуста, коренья и картофель), жаркое (3 с половиной фунта телятины), 4 (четыре) огурца. А напоследок узники равелина вкушали еще и пирожное![3] В каком советском санатории (за вычетом разве что цекистских) можно было отведать нечто подобное?

Но вернемся вместе с Верой Павловной в столовую светлого будущего. Тех, кто не привередлив и готов хлебать что подадут, кормят тут без всякого расчета, то бишь даром. Ну, а кого воротит от комплексного обеда, вправе заказать что-нибудь повкуснее, «но тогда особый расчет» – плати, любезнейший! «И всё так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть – расчет» (С. 285). Вот оно, полнейшее торжество социалистического равенства и социальной справедливости во сне идеальной героини!

Увы: поэтическо-социальная гармония Чернышевского не выдерживает поверки ни алгеброй нормальной экономики и социальной психологии, ни даже арифметикой житейской прозы. Расплачиваться за более вкусный обед или иную буржуазно-помещичью прихоть приходится, очевидно, старым досоциалистическим способом – денежными купюрами. Но чтобы их иметь, вы должны получать заработную плату.

---

[2] *Солженицын А. И.* Рассказы.// Малое собр. соч. М.: ИНКОМ НМ, 1991. Т. 3. С. 89.

[3] *Лурье Ф. М.* Созидатель разрушения. Документальное повествование о С. Г. Нечаеве. СПб.: Петро-РИФ, 1994.

И тут выходим на капитальный вопрос: оплачивается ли вообще труд в царстве разума и свободы? И если да, то как? Старикам, ясное дело, уже поздно давать деньги, а детям еще рано. А строго ли поровну получают герои сказочных нив и чудеснейших мастерских? Или главные творцы счастливейшей жизни загребают себе львиную долю (пайками или валютой?), а прочим кидают, что останется (советский остаточный принцип)? Поскольку Чернышевский с революционно-демократической непреклонностью хранит гордое молчание о столь прозаических материях, то можно, не рискуя ошибиться, предположить, что, по крайней мере, рядовые обитатели земного рая вкалывают только за комплексный обед и за крышу над головой.

Как век спустя Ивану Денисовичу и другим зекам «за работу в этом лагере не платили ни копья <...> А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали всё равно, а зачисляли на лицевой счёт»[1]. Но – где ж устоять дурным запретам пред великой русской смекалкой! – денежки у зеков все ж водились: припрятывали, утаивали. Не так ли изворачивались и безымянные герои социалистического сна Веры Павловны?

Осенью, как просвещает Веру Павловну «старшая сестра» – пересказчица краткого курса всемирной истории для подготовительных классов и путеводительница по земле сияющего будущего, большинство тружеников, подобно перелетным птицам, устремляются в южные края – «кому куда приятнее». А может, куда выгодней высокому начальству кинуть дешевую рабочую силу? Помнится, после гражданской войны народные комиссары, переименовав красные армии в трудовые, заставили красноармейцев, теперь их называли трудармейцами, восстанавливать ими же, большевиками, дочиста разоренное хозяйство, задарма вкалывать на полях и заводах.

«Но есть у вас на юге», продолжает «старшая сестра» свой социалистический урок, «и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша». Точно – едут добровольно, по зову сердца, но по руководящей партийной разнарядке. Как уезжали комсомольцы-добровольцы на уборку урожая или стройки, как мчались на Дальний Восток, на Крайний Север, на целину или на БАМ.

«Эта сторона так и называется Новая Россия» – «Это где Одесса и Херсон?» – «Это в твое время, а теперь смотри, вот где Новая Россия» (С. 286). Итак, в светлом будущем «Новой России» суждено стать старой Россией, а самая «Новая Россия» – это очень-очень южная местность: горы, прежде, понятно же, голые, нынче «одетые садами»; бывшая пустыня тож преобразилась в сплошной цветущий сад («Я знаю – саду цвесть!» – в пьянящем <восторге> воскликнет кремлевский стихотворец). Да, верная идея и даровой труд повсюду творят чудеса!

Но где же, где же она, эта самая новейшая Россия? Сладкоголосая сирена-гидша втолковывает Вере Павловне: про эту землю «говорилось в старину, что она “кипит молоком и медом”». В Библии (а 150 лет назад все грамотные отлично знали сию священную в самом точном смысле этого слова книгу) сказано попроще и пояснее: Бог открыл Моисею, что тот приведет евреев «в землю <...> где течет молоко и мед». Стоп... да куда ж это занесло героев нашего Николая Гавриловича? Неужто великие социалисты-преобразователи дорвались аж до Ближнего Востока? В черновой редакции романа без всяких там намеков и экивоков открыто обнародовано: «Да, ты отгадала, это Синай» (С. 653).

Господа, граждане, товарищи, братцы, братишки! Выходит, по грандиозному экспансионистскому замыслу великого революционного демократа, будущая Россия – не самодержавная! не империалистическая! а мирная, свободная, социалистическая! – запросто проглотит не токмо своего исконного врага Турцию со всякими там Босфорами и Дарданеллами, но чуть ли не всю юго-восточную Азию, полонив и Синайскую пустыню – территорию нынешнего Египта.

Ну и одурманивающие геополитические мечтания всего через шесть лет после вчистую проигранной Крымской войны! Не миновать бы, пожалуй, Российской империи громкого международного скандала, ежели бы английские, французские или турецкие дипломаты не поленились бы внимательно прочесть если и не весь роман (чересчур уж утомительно и нудно для читателя, не опьяненного революционными наркотиками), то хоть Четвертый сон Веры Павловны.

Чернышевский нисколько не сомневался, что социалистическая доктрина непременно восторжествует на всем земном шаре, а Россия, ей уготовано первой поверить универсальный рецепт

[1] *Солженицын А. И.* Т. 3. С. 89-90.

вечного счастья, будет присоединять прочие земли и народы: конечно же, архидобровольно, по их слезной и искренней просьбе. Чем не Мировая Республика Советов – буйная мечта большевистских вождей!

Не менее радикальный ратоборец с царским режимом, но куда более скептичный Щедрин, похвалив в романе своего единоверца «мысль о необходимости новых жизненных основ», мягко пожурил автора за то, что он «не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет ещё достаточно данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей»[2].

Ясно: сатирик подразумевает программный сон Веры Павловны. Нет, он отнюдь не оспаривает саму социалистическую идею, почитая ее живой и разумной; он только полагает, что зря Чернышевский явил социализм в столь натурально-соблазнительных картинках, слишком уж регламентировал грядущее счастье всего человечества. В паточной сказке о новой свободе можно разглядеть скорбную правду о новом рабстве, а в бочке социалистического меда отыскать не одну ложку натурального дегтя.

Но, как сказал знаменитый немецко-американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ, дьявол кроется в деталях. А социалистический дьявол, конечно же, открывается именно в социалистических деталях. Сегодня нам как раз более всего любопытны эти сценки, эти подробности поистине провидческого сновидения главной героини.

Чернышевский предвосхитил не только ликующий клич первых сталинских пятилеток «Время, вперед!», но и очень многое из жизни вечных строителей коммунизма. Предугадал миллионы книг, спектаклей, фильмов, воспевающих праздник освобожденного от оплаты труда. Академиков-шарлатанов, хватающих реальные награды, почести, премии, дачи за анекдотические обещания фантастических урожаев, за мифические рецепты многократного продления человеческой жизни. Словно советские инженеры человеческих душ учились у автора романа создавать свои самые оптимистические в мире книги, а советские ученые списывали свои эпохальные открытия из сна Веры Павловны. Так ослепившие радикальную молодежь 60-х годов минувшего века поэтические картинки вольной жизни и вольного труда на изобильных нивах при внимательном прочтении больше схожи, увы, с колхозной или лагерной реальностью. Ученики, правда, переплюнули своего предтечу.

Я, конечно, не собираюсь провозглашать Чернышевского отпетым злодеем, накликавшим столько бед на Россию в XX столетии, идеологом тоталитарного режима, трубадуром концентрационных лагерей. Как человек и общественный деятель, он был несомненно совестливее, честнее и мужественнее люмпенских вождей нашего века. Зарабатывал на жизнь литературным трудом, банки не грабил, из партийной кассы не кормился, за поражение своего отечества не агитировал, шпионажем не увлекался, во время следствия ни в чем не каялся, никого не заложил. Но самые благие замыслы облагодетельствовать единым махом все страждущее человечество, перекроить, перепланировать, преобразовать сложнейшую жизнь по четырем правилам арифметики никогда добром не кончались.

Если бы в мире ином Николай Гаврилович повстречался с Иваном Денисовичем и узнал, как материализовалась его возлюбленная социалистическая идея, он бы, наверное, заплакал и проклял универсальные прожекты вечного счастья и вечного двигателя.

Прав был Николай Бердяев: к сожалению, утопии ныне стали осуществимы, человечеству придется подумать, как их избежать.

2011

[2] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. в 20 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. VI. С. 324.

Анна САФРОНОВА

ЖИВОЕ ДЕЛО ВИКТОРА СЕЛЕЗНЕВА

А. Сухово-Кобылин. Дело: драма в пяти действиях / Комментарии В. М. Селезнева, Е.С. Калмановского, послесловие В. М. Селезнева. – М.: Новый хронограф, 2015. – 288 с.

Книга, вышедшая уже после смерти Виктора Макаровича Селезнева (21 марта 2012 года), возвращает нам его голос и вновь приобщает к делу всей его жизни – исследованию творчества Александра Васильевича Сухово-Кобылина.

Полную библиографию работ Виктора Селезнева читатель может найти в НЛО (№119, 2013), она подготовлена Еленой Олеговной Селезневой; многие работы ВС, в том числе и нынешняя книга, готовились при ее незаменимом участии. В вышеупомянутом номере НЛО, помимо библиографии и биографической справки, – первая посмертная публикация: «Я другой такой страны не знаю...» (фрагменты книги воспоминаний[1]). Речь идет о саратовском филфаке 50-х годов, ВС занимался в семинаре Ю. Г. Оксмана.

Ключевой для нашей темы эпизод:

«Когда осенью 1952 года Оксман задал традиционный вопрос: «Чем вы будете заниматься в новом году?», я без всяких колебаний назвал ему имя Сухово-Кобылина. Поначалу Юлиан Григорьевич отверг мое предложение, сразу сказав "нет". Тогда я не без демагогии, как я сейчас понимаю, сослался на доклад Г.М. Маленкова на XIX съезде, на его известное и популярное в ту пору высказывание: "Нам Гоголи и Щедрины нужны". Правда, какие большевикам были нужны Гоголи и Щедрины – на эту тему и в то время – можно обойтись без дискуссий.

Оксман принял мою тему. Хорошо, сказал он, продолжайте заниматься драматургией: был "Борис Годунов", теперь будет Сухово-Кобылин.

Я только позднее понял, что никто, кроме Оксмана, не позволил бы мне в 1952 году заниматься такой одиозной, по понятиям советского времени, фигурой – крепостником, монархистом, как его клеймили чуть ли не все официальные литературоведы. Драматурга, которого никогда не признавало академическое литературоведение – ни в императорской России, ни в пролетарском Советском Союзе! Которого не было – как нет и по сию пору! – в университетских программах, по советской традиции сочиняемых схоластами из МГУ. При одном упоминании коего морщилось и без того сморщенное лицо заведующего кафедрой русской литературы.

Не приняв сначала мое предложение, Юлиан Григорьевич, конечно, опасался не столько за себя, сколько за меня: понимал, что у меня и без того путь в науку будет не самым легким».

И Оксман был прав: ученых степеней и должностей ВС не обрел, среди преподавателей саратовского филфака никогда не значился, но:

- издал трилогию А. В. Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» в академической серии «Литературные памятники» (1989, совместно с Е.С. Калмановским),

- издал сборник воспоминаний «Дело Сухово-Кобылина» в «Новом литературном обозрении» (2002, совместно с Е. О. Селезневой),

- выпустил «Слово о жизни и деле Сухово-Кобылина» (Рыбинск, 2015),

- антологию А.В. Сухово-Кобылин: pro et contra» (СПб.: РХГА, 2010, совместно с Е. О. Селезневой).

- плюс множественные публикации в литературных толстяках, включая нашу «Волгу» (в вышеупомянутой библиографии числится 126 позиций). Но не только Сухово-Кобылин интересовал Виктора Селезнева; среди работ иных направлений особо отмечу вступительную статью и составление сборника: Оксман Ю. Г., Пугачев В. В. «Пушкин, декабристы и Чаадаев», изданного в Саратове в 1999 году при непосредственном участии журнала «Вол-

[1] Попутное дополнение, имеющее косвенное отношение к нашей теме: в 5-й ссылке в комментариях к публикации воспоминаний ВС работа Белова Б.С. «Художник Н.М. Гущин» обозначена как неопубликованная (так и было на момент написания мемуаров); она напечатана в «Волге» в 2010 году (№3-4)

га». Издание это завершалось уже после смерти В. В. Пугачева, и мне (редактору этой книги) не забыть нежнейшего, можно сказать, отношения ВС не то что к каждому листочку – а к каждой буковке разрозненного, несистематизированного на тот момент архива.

И вот новая книга. Воспроизводится первое, лейпцигское, издание «Дела» 1861 года, все отличия от последующего, подцензурного уже издания тщательно обозначены в комментариях. В послесловии ВС, основываясь на архивных документах, дает хронику издательских перипетий: помня цензурные мытарства предыдущей пьесы, «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылин изобретает хитроумный план для продвижения «Дела» в России: «... сперва издать его небольшим тиражом за границей и лишь потом, заручившись внушительным признанием публики и прессы, штурмовать отечественные цензурные редуты». Первая часть плана удалась, и 1 мая 1861 года драматург уже подписывал новенькие 25 экземпляров «Дела».

Эта книга – первое и последнее бесцензурное издание Сухово-Кобылина. На обороте титула значилось: «для частного пользования».

Со второй частью хитрого плана всё было гораздо хуже. «Дело» последовательно запрещают; как пишет ВС, «Критики-жандармы оказались куда проницательнее литературных критиков, точно оценив дальнобойность и убойность сатиры Сухово-Кобылина». И только в 1989 году в Москве выходит трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело» (вторая редакция) и «Смерть Тарелкина».

И только теперь, в 2016 году, увидела свет первая, неподцензурная версия пьесы. Слово Виктору Макаровичу Селезневу: «Лейпцигское издание до недавнего времени считалось советскими театроведами и литературоведами безнадежно утерянным, была известна только его писарская копия, хранящаяся в РГАЛИ. Однако в октябре 1985 г. мне удалось отыскать один экземпляр вольной книги – и не где-нибудь там на заброшенном чердаке в Тагиле или в каком-нибудь полузабытом подвале Тмутараканьего уезда, а в самом центе мировой научной мысли: столицы нашей Родины городе-герое Москве, на Рождественском бульваре, в отделе книжных фондов Государственного Литературного музея, разместившегося в роскошной квартире кремлевского графомана и грабителя Демьяна Бедного-Придворова. Первое издание “Дела”, возможно, попало в Литературный музей из ценнейшего собрания придворного баснопевца, рыскавшего по бесчисленным и плохо охраняемым завалам книг, захваченных чекистами у их законных владельцев».

Вторая редакция «Дела» 1869 года – тоже авторская. ВС сохраняет объективность, говорит о том, что «в каждом конкретном случае трудно точно утверждать, где автор что-то сокращал, пытаясь перехитрить цензуру, а где была чисто литературная правка. Но, очевидно, Сухово-Кобылину в 1869 г. пришлось отказаться от многих афористических выражений, метких характеристик, сатирических ударов, так украшающих лейпцигское “Дело”».

Читатель и сам может сделать выводы благодаря обширному комментарию, где, помимо обычного пояснения каких-то реалий, рассматривается каждый случай разночтений в первой и второй редакции.

Реальный комментарий не просто точен, он эмоционален – и подвигает читателя к соразмышлению. К примеру, комментатор берет реплику Ивана Сидорова (попутно восхитимся современным звучанием текста): *«Было на землю нашу три нашествия: набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли; а земля наша что? – и смотреть жалостно: проболела до костей, прогнила насквозь, продана в судах, пропита в кабаках и лежит она на большой степи неумытая, рогожей крытая, с перепою слабая»*. «Не преувеличил ли Сухово-Кобылин всевластие русской бюрократии? Правомерно ли сравнение отечественных чиновников с чужеземными захватчиками? Давайте заслушаем, как положено в истинном суде, все спорящие стороны. А чтобы не попасть под гипноз титулов, званий и имен, зашифруем пока цитаты под номерами». Далее ВС приводит семь высказываний, некоторые из которых являются взаимоисключающими. И уже систематизировав разные мнения, комментатор раскрывает имена их авторов. Он делает вывод – но и показывает читателю механизм своего выбора. Только один этот комментарий занимает три книжных страницы.

Важны комментарии, раскрывающие связь пьесы с реальной биографией Сухово-Кобылина: дело об убийстве его гражданской жены, француженки Луизы Симон-Деманш тянулось много лет, целую вечность – уже уйдет николаевская эпоха, уже Александр II простит живых декабристов и объявит о подготовке крестьянской реформы – и далее: таким образом, личный опыт драматурга сомнению не подлежит, а его произведения окажут воздействие на ход истории – а именно на судебную реформу Александра II.

Сравнительная часть комментариев не менее интересна. Неподцензурная редакция «Дела» проливает свет на прототипы. В частности, имя персонажа Николая Платоновича Гарева во втором издании изменено: «Так Сухово-Кобылин напоминает о друге своей молодости – Николае Платоновиче Огареве, имя которого в то время уже было запрещено упоминать в печати. <...> Разумеется, в 1869 году цензура не пропустила бы имя одного из ведущих деятелей революционной эмиграции. Поэтому в трилогии Гарева заменил Шило».

Новая книга – бесценный подарок филологам и историкам, кроме того, предполагает ВС, первая редакция может быть учтена при театральных постановках пьесы. Тираж по нынешним временам даже пристойный – 550 экз.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ

Іванів В. Себастиан и в травме. – М.: Коровакниги, 2015. – 60 с.

Книга завораживает свободным перемещением через пласты времен и культурное многоголосье, причем услышано и увидено все это вскользь, как будто автор перед нами хаотично переключает каналы телевизора. Обрывки песен, переиначенные названия каких-то кинолент, цитаты стихотворений, все это якобы безумие в стихах держится на фонетике, на смысловых сдвигах. Так диктует язык, и реальность подстраивается под него, художественными средствами корректируя наше представление о мире.

Ты видишь все ты слышишь все
как слышно
Ты путаешь два имени с глаголом
Ну и что дальше дальше едет Вишну
К тебе домой как карнавал веселый

Что дальше у насвай мгей прайд и тигра
Вся гордость или крошки ру рунета
Что дальше там мы там хотим танцевать
как диггер
Упавший с минарета с минарета

Что дальше там так загребая грабли
Все вверх царапая царапкою кошуркой
У белой цапли белой кобры мизерабли
Так мы поем святые под штукатуркой

Калейдоскопичность картинки, стихия карнавала привычны для многих хороших поэтов, но у Іваніва эти инструменты используются по-другому. Название книги прямо говорит о визионерской составляющей поэтики, равно как и травматическом типе сознания поэта. Так уж нам повезло, что мы все время попадаем на стык эпох, деформация и распад – вот что пытаются не столько преодолеть эти стихи, сколько склеить, странным образом починить. Это не остранение, это намеренное неправильное сочленение, полевая хирургия, может быть, с примесью чистого шаманства. С другой стороны, это сочетание работает – и работает замечательно.

Я не уверен, что при таком методе можно взять и, чудесным образом настроившись, с ходу понять логику стихотворения, но на самом деле это и не нужно. Парадокс в том, что художественный текст до сих пор у нас воспринимают как некую инструкцию, написанную, чтобы объяснить что-то вокруг. А стихи – это катализатор реакции внутри читателя, хорошие – катализатор множества одновременно запущенных реакций.

Под лампой фонаря горят невидимы
Комарики все января Овидия
И не тебе одной о море петь
В котором заперта ты в клеть

И белена течет из моего рта
И кровь пробьет аорту сонную по горло
Где так топорно

Мимо рта
Я расстилаю простыню для черной

Май бэйби блю
И ты Тристан
Я так люблю
Афганистан Афганистан Афганистан

В тексте мы попадаем из пространства мифа в шансон со скоростью света, проходя практически весь спектр от красного до синего. Это головокружительное падение – одно из главных свойств поэзии Іваніва. Но опытный глаз сразу увидит склейки, т.е. следы искусного монтажа, движение камеры, смену оптики и прочие кинематографические приемы. И тогда предположение, что перед нами книга не только стихов, но и фильмов, не покажется таким уж странным, как на первый взгляд.

Надо заметить, в этих, как и в других стихах, ощущается особая нервность, которая очевидно происходит не из неуверенности автора, а из-за преодоления свойств материала, с которым работал ВІ. Не просто борьба с инерцией силлаботоники, а борьба с осколками зеркала масскультуры, стратегия постпанка, которая свойственна современной новосибирской поэзии. Книга составлена таким образом, что это сопротивление считывается не сразу, списывая возникающий эффект то на счет обэриутского влияния, что справедливо, то на прием имитации сбивчивой разговорной речи.

Есть и еще один из вариантов прочтения – я надеюсь, что их будет много, книга того стоит, – как собрание диалогов с теми, кто уже давно вошел в пантеон поэзии, с Пушкиным, с Мандельштамом, Введенским и другими, письма о самом важном перед короткой разлукой (встречей). Разумеется, разговор в этом случае обходится без иронии, а пафоса ровно столько, сколько ему и положено быть в элегических стихах.

В раю декабрьская ночь
Уже в дверях не обернуться
И ты высовываешь нос
Как будто в окна окунуться

Уснуть и тихо уплывать
На дальней лодке звездной барке
Меж двух небес и тосковать
Курить погасшие огарки

Твоих ракетниц и шутих
И в Рождество бьет колокольчик
Китайский тихий и все мнит
Что вспоминать не надо больше

О том что было и потом
Сбылось и стало легче легких
Расселенных по полу ковром
Краев далеких

Тему войны, которая звучит на протяжении всего корпуса текстов, Виктор Іванів в последнем стихотворении переводит в область сакрального («Если хочешь чтоб сделалась церковь...»), не пряча и не маскируя жутковатые подробности времени. Вот этот переход и заставляет возвращаться и перечитывать отдельные строчки, еще раз прислушиваться к звучанию этих слов внутри себя. Привыкать к ощущению, что на этот четырежды безумный мир можно смотреть и с такой высокой точки.

Сергей ТРУНЕВ

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ: НЕСЛУЧАЙНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО

Алексей Григорьев. Книга случайных чисел. Стихи. – Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2016. – 84 с., илл. – Книжные серии Товарищества поэтов «Сибирский тракт»

Книга Алексея Григорьева является первой в рамках нового проекта поэтического издательства СТиХИ – книжной серии Товарищества поэтов «Сибирский тракт» (презентация состоялась в Москве 5 марта 2016 года). Что касается автора, то перед нами известный поэт, публиковавшийся в журналах «Волга», «Нева», «День и ночь», «Современная поэзия», «Зеркало», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра», «Алконостъ», «Сибирские огни», в сетевых изданиях «45-я параллель», «Сетевая словесность» и др.

«Книга случайных чисел» при первом же приближении оказалась не только интересной и сложной по замыслу (в силу игры случайного и не случайного), но также крайне неудобной для какого бы то ни было анализа. Составляющие ее стихотворения представлены тематически объединенными блоками по три стиха (всего блоков 13), к которым добавлен случайно выбранный текст. Все это сопровождается комментариями тринадцати авторов, предложивших свои ассоциации по поводу каждой цифры, а также (разумеется, случайно подобранными) иллюстрациями Полины Болотовой. При подобной подаче есть опасность, что разговор о картине будет подменен любованием ее рамой. И дабы не стать очередным участником игры в «случайное-неслучайное», оставив без внимания все эти изыски, обращусь непосредственно к стихам. Точнее, попытаюсь очертить сквозные темы, которые создают дополнительные связи между блоками, формируют книгу как единое целое и дают некоторое представление об авторском мировосприятии.

Прежде всего, отмечу взаимосвязанные темы языка и понимания, которые возникают уже в первом стихотворении и проходят пунктиром через всю книгу: *«отныне через рупор донных рытвин / бог будет говорить с тобой на рыбьих / давным-давно забытых языках»* (7). Поэт, таким образом, оказывается способным уловить и понять забытый божественный язык, вероятно, для того, чтобы насытить смыслом исчерпавший себя язык людей: *«Привыкаешь: любовь – это полое слово – / колокольчик на мертвом твоем язычке»* (8). И, далее: *«Снег шелестит: “а ну давай / не мельтеши в строке, потише, / я подскажу тебе слова...” – / Снег говорит, а я не слышу»* (25). В метафизическом аспекте язык есть то, что объединяет противоположности жизни и смерти: *«Поскольку жизнь есть видимость и звук / То смерть собой являет форму слова»* (73).

Итак, жизнь есть видимость, и этот тезис выводит нас на вторую значимую тему – видимого и невидимого. Именно здесь обнаруживается, что в поэзии Алексея Григорьева та жизнь, которую мы называем реальной, оказывается лишь своеобразной поверхностью, корнями прорастающей в глубокий метафизический мир. Иначе говоря, видимость жизни имеет невидимую простым смертным подкладку, она точно леска заброшенной в воду снасти: *«неприметной рыболовной леской / жизнь его тихонечко звенит»* (9).

я стоял не при делах
за гаражами
в автомобильных зеркалах
не отражаясь (80)

К указанной теме вплотную примыкает тема ангелов, как бы соединяющих с известной только им целью два мира: *«Ангел бродит по квартире / чуть заметней, чем всегда»* (19). Или вот:

В золотой рабочий томный полдень,
Сдобренный кленовым вязким жиром
Выпивали ангелы над полем
Открывая пробки по ранжиру (21)

Образ ангелов настолько характерен для стихов Алексея Григорьева, что мне нет никакой нужды приводить здесь все фрагменты. Ограничусь еще парой: *«Ты девочка, игрушка, травести, / озябший ангел над церковной крышей»* (44); *«утешает ангел ночью молодого рыбака»* (81). И добавлю, что в сотканном автором мире по-настоящему существуют лишь те, кто обладает способностью летать: ангелы, птицы и... некоторые из людей.

Все отмеченные темы объединяются темой Бога как небесного рыбака: *«Я маленький и скоро я усну / зацепленный за лунную блесну»* (13); *«и висит человек на блесне / никудышной приманкой для Господа»* (61). Да, Бог есть, но человек забыл к нему дорогу, он может лишь слышать или не слышать Его забытый язык. Оттого, наверное, земная любовь оказывается в лучшем случае «полым словом», а в худшем – словом до боли невыразимым:

она смотрит мимо него в окошко
теребит на коленке в горошек платье

а потом он случайно роняет ложку
и она начинает плакать (45).

Стихотворение «Троица» из блока «Нежное» в этой связи есть пронзительная констата-

ция, нет, не того, что упавшая ложка заплакала (по контексту понятно, что плачет женщина), но того, как земная любовь со временем растворяется в тарелке ежедневного творога, поедаемого никчемным любящим мужем.

Таким образом, книга оказывается гораздо менее «случайной», нежели декларировал ее автор, напротив, она являет собой нечто целое, не сводимое к простой совокупности составляющих ее текстов. Это действительно своеобразная вселенная, в которой реальность соединяется со сновидениями и параллельным миром, видимое обнажает свою бесплотность, а невидимое обрастает призрачной плотью, где возможно практически все. И поскольку критиковать здесь нечего (за исключением, возможно, некоторого количества не принципиальных шероховатостей), остается надеяться на то, что и последующие книги серии Товарищества поэтов «Сибирский тракт» будут не менее качественными. По стихам, разумеется.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ЧАСТНОСТИ

Дмитрий Данилов. Есть вещи поважнее футбола. – М.: РИПОЛ, 2015. – 320 с.

Александр Ильянен. Пенсия. – Kolonna Publications, 2015. – 666 с.

Бывают прозаические жанры, не то чтобы обречённые читательскому успеху, но достижение этого успеха серьёзно приближающие. Например, трэвелоги, рассказы о детстве, о практическом и культурологическом восприятии полузабытых вещей, биографии известных людей – принимаются публикой, как правило, весьма тепло. К этой же категории, думаю, надо отнести автобиографическую прозу более или менее известных литераторов. Это вполне понятно: заслужив читательский успех, автор начинает быть интересен не только своими книгами, но и как частное лицо тоже.

Стало быть, ответственность писателя, обратившегося к жанру в той или иной степени автобиографическому, резко возрастает: чем легче условия задачи, тем менее интересно её решать. В то же время задача поиска чего-то принципиально нового уже давно неизмеримо сложна. Как бы сильно автор не рисковал, найдётся некто ленивый, кто непременно скажет: «Было!» И скорее всего, окажется прав. Вот, скажем, давным-давно в сильно зацитированном эссе «Гамбургский счёт» Виктор Шкловский написал: «Мы сейчас переживаем эпоху неощутимости сюжетной формы, которая так ушла из светлого поля сознания, как в языке перестала ощущаться грамматическая форма»[1]. Ну, да. С небольшими перерывами та эпоха (и, соответственно, переживание оной) продолжается по сей день. Свидетельство этому, в том числе, – новые книги А. Ильянена и Д. Данилова. Первая из них своеобразно отражает события, наблюдавшиеся автором в течение нескольких лет, действие второй охватывает один футбольный сезон.

Уточнение: сюжетная форма у этих авторов не то чтоб неощутима, но ей легко пренебречь без особого ущерба для восприятия. С формальной точки зрения Дмитрий Данилов посещает домашние и выездные игры любимого клуба «Динамо» (Москва), а также нескольких команд рангом пониже, и описывает свои впечатления. Отбор этих впечатлений довольно строг: насколько можно судить по кратким упоминаниям, параллельно происходят интересные, порой – не самые радужные события, но они остаются на периферии повествования. Тотальность описания, кажется, этап для Данилова пройденный ещё при написании романа «Горизонтальное положение». Столь же не много внимания уделено собственно анализу происходящего на поле и деятельности фанатов. Книга не имеет отношения ни к области спортивной журналистики, ни к рассказу об околофутбольном движении. И хорошо, поскольку в этих поджанрах написано уже очень много и очень разного. А вот довольно сдержанное описание личного отношения к футболу и отношения к нему же окружающих, выездов на матчи и наблюдения не только за происходящим на поле, но и, скажем, за послематчевой жизнью маленького стадиона, то

[1] Шкловский В. В. Гамбургский счёт: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 484-542.

есть, собственно, рассказ о том, что формирует вокруг футбола ауру – вещь редкая.

Аналогично, Ильянен не предлагает нам ни последовательного дневникового рассказа о собственном бытии, ни потока сознания, обусловленного этим бытием. Вот, например:

«с замечательными людьми», в закулисье ЕУ встретил Дениса Ларионова, Аллу Горбунову, Данилу Давыдова, Наталию Курчатову, Наталию Романову, Григория Ющенко, Либуркина Сашу, Дашу Суховей, профессора, автора книги про Павла, (продолжение следует)

Останина Бориса, вдову Кривулина Ольгу, Александра, замечательного оператора, Африку, героя моей офицерской юности, Диму Голынко, Диму Чернышева (продолжение следует)

Диму Григорьева, Валеру Земских, Сашу Сухина и Марину, Петра Разумова, Александра Секацкого, Нину Савченко, Коровина, С. Носова ("голодное время"), Арсена Мирзаева, Стратановского, мужа Аллы Горбуновой, безымянную девушку, Дину Гатину, Павла

однажды Глеб Алексеевич сказал "какой Вы щедрый, Саша"»

Очевидно: на словах «продолжение следует» возникала некая активная коммуникация автора с кем-то из поименованных людей. Тем более, такая коммуникация возникла на оборвавшем абзац имени смутного Павла, но раз нам о результатах той коммуникации знать не след, мы и напрашиваться не будем. Приём умолчаний такого рода более характерен для поэтического высказывания, нежели для прозы, но у Ильянена, как и у Данилова, – именно проза. И это, наверное, много сложнее: поэзию в окружающей действительности легко найти, так многие умеют. А вот попробуй найти там качественную прозу. У рассматриваемых авторов это получается.

Конечно, как и у всяких состоявшихся прозаиков, манеры письма Ильянена и Данилова принципиально различны. Хотя есть важные и неожиданные точки пересечения. Скажем, фраза «Дальше уже и писать не стоит. Слова "высоковольтные линии" электропередач красивы и высоки сами по себе» обнаружена в «Пенсии», а могла б оказаться и в «Вещах поважнее футбола».

Но это редкость. Чаще некое единство целей наблюдаем за текстом. Вот у Ильянена интересно «волновое» письмо. Например, переход от утренней прокрастинации к вечерней активности. И дивный набор ассоциаций, этим переходом вызываемых:

«потихоньку встать, зажечь "машину письма", написать несколько строк и пойти на кухню приготовить фёрстбрекфест

доктор О. велит съесть семьдесят пять граммов творога и выпить зелёного чая. Пока доктор не видит я заварю френчкофе (из финской баночки). Две их у меня: французская и ф.

может показаться странным, что кофе из финской баночки, но френч! способ заварки так называется

наш любимый учитель запрещал нам "объяснять".

кстати, на кухне заметил "летнее время"! сирота перевёл уже стрелки часов. Последнее "летнее время" как в Древнем Китае

Император приказал больше не переводить стрелки часов (из "дневника гейши" или Сей Сенагон)»

Данилов пишет совершенно иначе, его «машина письма» кажется зажжённой постоянно. Впрочем, это, конечно, не так – читателю просто не показаны моменты, когда эта машина выключена. И вот тут, снова вспомнив о существовании читателя, мы приходим к очень существенному моменту. Дневниковая, личная проза существует в поле давней, если не вечной традиции несвободы. Причём несвободы куда более жёсткой, чем любой другой жанр. И чем проза более личная, тем несвобода сильнее.

Вновь процитируем Шкловского: «Марк Твен всю жизнь писал двойные письма – одно посылал, а другое писал для себя, и там писал то, что думал»[1]. Зная склонность Виктора Борисовича к авантюрам и мистификациям, мы вольны ему не поверить, но факт того, что он сам много сделал для формирования гиперответственного письма, несомненен. О чём и писал, к примеру, Вениамин Каверин: «...в середине двадцатых, биография кончилась или, точнее, сломалась. Но и сломанная биография могла пригодиться – по меньшей мере до тех

[1] Шкловский В. Третья фабрика. М.: Артель писателей – «Круг», 1926. С. 15.

пор, пока о ней еще можно было говорить и писать. Так появилась “Третья фабрика“ – трагическая книга, в которой Шкловский впервые попытался доказать, что нам не нужна свобода искусства»[2]. Но далее, в той же книге Каверин пишет уже не о Шкловском, а о себе: «Теперь, через пятьдесят лет, самая возможность писать (не только для себя и своих друзей) о том, что в нашем искусстве нет свободы, выглядит странной. Приказано, чтобы искусство считало себя свободным, несвобода вошла в плоть и кровь, стала воздухом, которым мы дышим, и если она вдруг исчезла бы, все были бы поражены, как если б увидели человека без тени». Это очень важный момент, фиксирующий именно внутреннюю несвободу. Писатель чувствовал запредельный уровень ответственности перед всеми. Перед читателями, перед друзьями, включая ближних, перед врагами и вообще перед миром. Причём ответственности не за качество текстов, а за кривизну мироустройства. Оттого дневники благополучных советских литераторов вроде Нагибина читать порою больней, чем воспоминания людей, действительно пострадавших. Тут, конечно, можно всё свалить на советскую власть, но смотрим выше о Марке Твене. Нет, конечно, это общеклассический и общемодернистский канон – печаль о мироздании. Меняется только внешний виновный, однако ни наличие такого виновного, ни виновность самого автора сомнению не подлежат.

Ну, и вот от этого новые литераторы кажутся вполне свободными. Скажем, Дмитрия Данилова не пустили в Европу, отказав в визе:

«Но нет шенгенской визы, кончилась.

Приехал в новое помещение фан-клуба Динамо (небольшая комната на Беговой улице), сдал деньги и документы (все делается через клуб). Ожидание.

Ну, по идее, не дать визу не могут. Есть билеты на самолет и на футбол, есть все документы, кроме справки с работы (в виду отсутствия работы), но зато есть выписка с банковского счета. В паспорте стоят несколько шенгенских виз (в том числе годовая голландская), есть и американская двухлетняя. Ну не могут не дать.

Вообще волноваться не о чем.

Прошла информация, что паспорта надо забирать в визовом центре Бельгии и Нидерландов на “Серпуховской” 17 февраля, за два дня до матча. Приехал. Девушка долго искала паспорт и наконец пришла к выводу, что его нет. Нет у нас вашего паспорта. Как нет. Ну, нет, отсутствует. Его нет в нашей реальности, хотя в какой-то другой реальности он, наверное, есть. Вам надо уточнить у человека, который сдавал документы на визы. Вам надо исследовать разные сектора Реальности и выяснить, в каком из них находится ваш паспорт.

Вышел на улицу, потому что там, внутри, пользоваться мобильными телефонами нельзя. Солнце, легкий мороз. В голове почему-то сразу запульсировала мысль: “Бог наказал”. Вот именно такими словами.

Хотя, почему “почему-то”. Это такое дело. Всегда есть, за что. То есть, нет такого момента в жизни человека, когда он может с чистой совестью сказать, что вот прямо сейчас Богу совершенно не за что его наказывать».

Словом, что теперь, плакать что ли? Идиотизм окружающего мира и отдельно – идиотизм бюрократов в доказательствах не нуждается, разве что подтверждается, чуть чаще, нежели хотелось бы. Нет, можно, конечно, начать жалобу на пару страничек, дескать «русских людей обижают» или наоборот: «Мы заслужили такое обращение, скоро нас не будут выпускать даже в Гондурас», но цель? Лишнего читателя привлечь? Ну, право...

Аналогична реакция на неурядицы внутриполитического свойства:

«Рубль резко обвалился, цена на нефть резко обвалилась, в России наступил экономический кризис. Что будет дальше с Динамо в частности и с российским футболом вообще – неизвестно. Будет ли доигран этот сезон, и если будет – в каком качестве (с какими игроками и так далее) его будет доигрывать Динамо – неизвестно. Продолжится ли строительство нового стадиона “Динамо“ – неизвестно.

Все – неизвестно.

Как всегда, когда речь заходит о Динамо – очень тревожно».

Вот так: имеет значение то, что может произойти с «Динамо». Да и то лишь в контексте написания книги: жалко будет, коли оная прервётся.

[2] В. Каверин. Эпилог. М.: АГРАФ, 1997.

Подход Ильянена к внешним событиям, кажется, аналогичен. Причём под определение событий внешних подпадают и происшествия из, казалось бы, ближнего круга. Насколько можно судить по книге, конечно. Вот сквозная и загадочная героиня «госпожа Б.» звонила из некой долговой ямы. Событие это вызывает цепочку аналогий, схожих с теми, что несколько раньше вызывала поездка на купание. То есть вопрос в том, как об этом написать, дабы качественней было, и есть перебор вариантов:

«ехал полем купаться на Черную речку

Летом красным ехал купаться на Черную речку».

Прямых же объяснений о помощи госпоже Б. или оставлении её в беде не воспоследует. И в этом не равнодушие, а дозволение героине её собственной судьбы. В сущности, мы ведь ничего не знаем даже о реальности существования этой персоны. Нам это неважно, нам важно соотнесение бытия её или других людей (неважно – подлинного или книжного бытия) с культурой, доступной нам в ощущениях:

«постмодерн это когда на кладбище вы втыкаете в снег пять белых гвоздик и одну фиолетовую

невольный постмодерн это когда Л. Х. переводит вместо настурции нарцисс»

Даже в тех очень частых случаях, когда в пространство повествования вторгаются люди, безусловно существующие и даже публичные, их появление также включает каскад реакций, имеющих отношение не к ним, а к сущностям более интересным. И в этом каскаде близость писательства с, например, идиотизмом в хорошем и добром исходном смысле термина выглядит крайне естественной:

«”Я идиот”, выдавил из себя дьякон Кураев в передаче. Тут же

объяснил, что в Греции так называли человека живущего частной жизнью

Э. писал о профессиональном идиотизме

задание для американских школьников из моего пособия по родной речи. Назовите антоним слова “идиот”

многие, наверное, хотят пристрелить любимого автора. На эту же тему: “он как поэт и офицер был пулей друга успокоен”

Рене Жирар объясняет желание убить любимого автора желанием самого автора быть убитым и съеденным любимым читателем

речь идёт о высшей форме страсти, которая к счастью недоступна большинству смертных»

Вот так. Словом, что мы имеем в не слишком сухом остатке? Правильно: те самые «письма для себя», то ли придуманные, то ли введённые в наш культурный оборот Шкловским. И написанное для себя, конечно, много интереснее адресованного напрямую нам. Это, конечно, многие понимают. Только умеют немногие. Ну, тем интересней находить исключения.

Михаил РЕШЕТНИКОВ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ
(Фрагмент)

Публикация Олега Решетникова

Михаил Петрович Решетников родился 18 сентября 1921 г. в селе Сорокино Петровского района Саратовской области. В 1929 году их крестьянская семья переехала в Саратов. С 1929 по 1940 г. Решетников закончил семь классов школы. С 1940 г. работал учеником слесаря на заводе «Универсал». 15 марта 1941 г. был зачислен курсантом Энгельсского авиационного училища. С марта 1942 г. по май 1945 г. был на фронте. Закончил службу в мае 1946 г. гвардии сержантом, командиром отделения связи 315 гвардейского противотанкового артиллерийского полка.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу, «За победу над Германией» и орденом Славы III степени. Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г.

Вернувшись в Саратов, работал на разных должностях на хлебозаводе №3 и мукомольном заводе №2. В 1984 г. вышел на пенсию по возрасту. Умер 9 ноября 1991 г.

Воспоминания были записаны сначала шариковой ручкой на тетрадных листах, затем автор перепечатал их на машинке. Описание заканчивается 1984 годом. Мы публикуем отрывок из мемуаров, о предвоенном Саратове.

Мои родители жили в Петровском районе, село Сорокино. По моей памяти и рассказам родителей, жили в крестьянстве после революции и до революции. В 1909 году поженились, по богатству были ровные.

Мать и отец были совершенно неграмотные. Отец учился у попа один год и на этом закончил учёбу, научился только буквам, да и расписываться кое-как. Мать совсем не училась, буквы выучила самоучкой, расписываться не могла, но деньги считала отлично – хорошая память.

Восемь детей не все одновременно выросли, это всем ясно, при такой семье отцу с матерью было тяжело сводить концы с концами. Главное – расчеты на жизнь: сколько хлеба нужно до нового урожая, на одежду кое-какую. На покупку одежды почти не рассчитывали. Отцова мать или моя бабушка брала в аренду самодельный ткацкий станок и на нём ткала льняное полотно, из которого потом шили юбки и штаны. Правда, ещё пряли пряжу из овечьей шерсти, вязали носки, женские чулки, валяли валенки, но не всем – валяли только тому, кто работал в своём хозяйстве. Шили шубы из овчин – тоже для тех, кто работает.

В хозяйстве была лошадь, на которой обрабатывали своё поле, отведённое обществом села Сорокино. Была корова, ещё полуторница[1], бычок и пятнадцать штук овец. За всё это хозяйство платили налог, кто ухитрялся держать больше – и платил налог больше. Вот на этом хозяйстве надо прожить семье в 10 человек. Работать у богатых – не прокормить семью, так что скота было много, но мяса почти не ели – всё продавали. В зиму скота оставляли мало, чтобы прокормить его. Молоко ели только снятое, сливки все шли на масло, которое тоже продавалось, чтобы уплатить налоги, купить соли да сбрую для лошади, чтоб можно было на ней работать. Обувь, в основном, были лапти, тоже отцу приходилось заказывать у мастеров, сам он плести не мог, да и время не хватало, чтобы всё делать – помощники были один одного меньше.

[1] *Т.е. корова, готовая к продолжению рода, которой исполнилось 18 месяцев (Здесь и далее прим. ред.).*

1921 год (год моего рождения) был засушливый, урожая не было, была сильная голодовка, правда, в то время у нас была семья 7 человек с бабушкой, но всё-таки её надо прокормить. Вышло то, что у отца уродилось хорошее просо и это здорово помогло как в питании, так и на корм скоту. С трудом прожили этот год, для многих этот год стоил жизни. Но всё-таки, какой не был тяжёлый год, а дети рождались.

Всё население было верующее, боялось и верило в бога, работали церкви. В нашей деревне церкви не было, ходили за 5 км в деревню Лопатку, где родилась мать. В 1923 году сгорел наш дом в Сорокино, да он не только наш был, он принадлежал отцову брату и его семье, вообще сгорела вся деревня. У нас остался один подвал, накрытый землёй, и баня. Вот всё наше богатство, которое не сгорело. Было время – горела вся деревня, а тушить было нечем, не было пожарных, да чего там говорить, даже вёдер не было, были деревянные шайки, в которых носили воду из колодца в дом и с речки за километр.

Стирали большие стирки в бане, полоскали бельё на речке, если его так можно было назвать, потому что на бельё было не похоже. Всё сшито вручную простой иглой и суровой ниткой. Баня у нас была своя, самодельная, топилась по-чёрному. Возле бани протекал ручей, он разливался весной в большую речку, заливая весь наш огород. Когда уходила весна, из речки получался ручеёк, его приходилось запружать плотиной и воду можно было брать для бани и для огорода, а кто запарится, выбегали из бани голыми и купались в запруде, даже зимой делали во льду прорубь. Была каторжная жизнь для людей.

Общество помогло построить дом, строили всей деревней по очереди, даже из других деревень приезжали помогать кто чем мог, кто трудом, кто деньгами. Лес был рядом, дали всем пострадавшим от пожара бесплатно. Мать с отцом возили лес на своей лошади по ночам, днем надо было работать на своём поле, чтобы прокормить свою семью. Вот такие были трудности, а они были бесконечными. Помню я только одно, как мы с сестрой Дусей бежали из деревни во время пожара в другую деревню Лопатку. После пожара нас привезли из Лопатки домой, а дома не было, одни головёшки, да печь стояла посреди головёшек. Отец взял меня на руки и понёс по саду, поднёс к горелой яблоне с яблоками и велел сорвать мне яблоко. Я его сорвал, а оно было печёное, в руках у меня размялось. Вот этот момент и бегство из деревни я запомнил на всю свою жизнь до старости.

В это трудное лето родился еще сын Георгий. Ещё труднее стало матери, правда, стала немного помогать, в основном нянчить, старшая сестра Елизавета. Дом был срублен за лето. Зиму зимовали в своём доме, крытом соломой, да и вся деревня была покрыта соломой. Видел, как покрывали наш дом соломой, да ещё глиной поливали, чтобы ветром не унесло.

Нас, малых детей, пускали на улицу только летом, по траве босиком. Зимой смотрели в окно, и оно было заморожено. Продуем очко и смотрим в маленькое яблочко, увидят старшие – загонят на печку. К печке были пристроены полати, на печке и полатях спала вся семья, а внизу на полах на кухне были телята, ягнята, так что на печке и на полатях была вонь, и никто на это не обращал внимания, лишь бы было тепло. Печка большая, бабушка нас усадит четверых, да соседних принесут играть, так что на печке и полатях пыль столбом. Купали нас зимой всех дома на печке, в баню нас водить было не в чем. В передней комнате было холодно, и никто зимой в ней не находился, кровать была деревянная, без перины, спали на досках. Подросли Лиза и Дуся, они кровать у матери с отцом отобрали, и мать с отцом на полатях вместе с нами, малышами, спали. В жаркое лето спали на полу на соломе все подряд, взрослые и дети.

В 1925 году умирает у нас бабушка, отцова мать. Матери стало ещё труднее с детьми и по хозяйству. Еще был я и Георгий, а у нас в 1926 году родился Николай, нянькой стала Дуся, хозяйство стало у нас увеличиваться, я имею в виду и скота. После уборки урожая отец излишки отвозил на базар в Петровск, а поздней осенью резал лишний скот и отвозил на лошади в Саратов за 112 км. Он, конечно, ездил не один, из деревни лошадей десять. Соберутся в обоз – и до Саратова, а из Саратова брали извоз с арбузами или рыбой и везли до Петровска. Эти купцы, так их называл отец, нанимали извозчиков и всех лошадей из деревни, везли товары из Петровска в Саратов и

обратно, за все эти операции получали большие барыши. Вот этим способом отец стал приспосабливаться к другой жизни, дома зимой бывал мало, больше в извозах.

В 1927 году стали притеснять личное хозяйство, облагать налогами, сначала небольшими, потом всё больше и больше. Отец надумал всей семьёй уехать в Саратов. Посоветовался с матерью и своими старшими братьями, которые пытались отговорить, но он никого не послушал, поздней осенью забивает свой скот и везёт в Саратов, продаёт, приезжает в зиму в деревню. В извоз его брать не стали, потому что всех купцов пересажали в тюрьму за эксплуатацию крестьян.

Весной 1928 года, когда у матери народилась Шура, отец надумал уехать из деревни в Саратов. Взял с собой Дусю и меня, корову привязал за телегу, и поехали. Правда, матери вспахал огород и землю, которая отводилась нашей семье. Мы втроём отправились в Саратов, ехали два дня. По дороге доили корову, молоко пили, что оставалось – отдавали хозяевам, у кого ночевали. Матери в деревне и пятерым ребятам молоко приносили родные по отцу, молока у них было много, а девать было некуда, вот они и приносили каждый день матери молоко для ребят. В это лето выходит замуж Лизавета, по закону тогдашнему ушла жить к мужу Колобкову П.П., в этой же деревне. С матерью остался самый старший сын Дмитрий.

Приехав в Саратов, отец снял квартиру, где можно было поставить лошадь и корову. Отец по утрам отвозил Дусю на базар с молоком, она продавала, на эти деньги покупали всё необходимое, платили за квартиру. Ознакомившись с городом, стали разносить молоко по домам. Отец с утра до вечера работал на Волге, перевозил дрова по домам, весь город отоплялся дровами. Перевозил с Волги на базар арбузы, дыни. Машин было мало, все перевозилось на лошадях и тележках по мостовым, шум, грохот от колёс, асфальта почти не было. Отец подзаработал денег, купил ещё корову. Для Дуси прибавилось работы: надо разнести молоко, очистить коровник от навоза, напоить, накормить, помыть, прожарить всю посуду под молоко. Да и я был обузой для неё, надо накормить, постирать, помыть пол в своей комнате и у хозяйки. Для 16-летней стало невыносимо тяжело. Отец передал в деревню наказ матери, чтобы продавала дом и ехала всей семьёй в Саратов. Мать не послушала и ничего не делала для переезда в Саратов, да и дом продать некому, вся деревня стала выезжать кто куда, бросали свои дома и уезжали.

В зиму 1929 года отец продал коров и увёз нас с Дусей обратно в деревню. Прошла зима, весной отец собрался обратно в Саратов, купил там маленький домик, передал матери, чтобы переезжала в свой дом в Саратове. Мать выезжать не стала, жаль было бросать огород, на котором поспевал хороший урожай.

В это время в нашей деревне стали создавать колхоз. По дворам стали ходить активисты по организации колхоза. В этом активе был комсомолец Решетников М. И., отцов племянник, и трое других из нашей деревни, которых я не знаю. «Вот, Татьяна, мы пришли принимать вас в колхоз». Мать ответила: «У меня нет дома хозяина, а я этот вопрос решить не могу, идти нам в колхоз или нет». – «Подумайте, мы придём через неделю».

Мать с Дмитрием и Дусей стали срочно убирать урожай с огорода, урожай был хороший, собрали много картофеля, капусты, тыквы, кормовой свеклы, торопились быстрей убрать урожай и уехать в Саратов. Через несколько дней пришли активисты и стали предлагать вступать в колхоз, на мать стали кричать, чтобы она слезла с печки от малых ребят. Мать стала стыдить активистов, чтобы они не пугали малых детей. Дмитрий спрыгнул с печки и стал драться с активистами, его, 15-летнего мальчишку, быстро скрутили и отправили в сельский совет. Мать за него беспокоилась, плакала до полуночи, пока его не отпустили домой. Предупредили его, что мы тебя посадим в тюрьму, а в деревне про тюрьму мало знали и слышали, тюрьмы очень боялись.

Активисты чаще стали приходить домой с угрозами, заставляли писать заявление о вступлении в колхоз. Наложили налог 200 рублей за огород, а 200 рублей в то время были очень большие деньги. Конечно, платить было нечем, хлеба не было. Был обыск, нашли два пуда муки да полмешка овса для лошади. Через несколько дней приехал отец, собрал, что мог, на первый случай, нас всех малышей отвез в Петровск на вокзал. С матерью были Михаил, Георгий, Николай и Шура, всего 5 человек. Ни поезда, ни машин мы никогда не видели, зашли в вокзал, одетые в

лохмотьях. В вокзале я увидел в середине зала большую круглую люстру на длинном шнуре и говорю матери: «Здесь и солнце висит на крючке». Посторонние, сидевшие рядом, посмотрели на меня и засмеялись, мы все ребятишки увидели это впервые.

Наконец подошёл поезд, мать стала суетиться, сажать нас в вагон. Как помню, в вагоне были одни скамейки, мы сели рядом кое-как, окна для нас были высоко, и мы до них не доставали. Ехали долго, ночь и день.

К вечеру подъехали к Саратову, поезд остановился у вокзала. Встречала нас Елизавета, собрали нас в кучку и повели по тротуару домой. От вокзала мы жили далеко, у завода красного кирпича, километров 6 или 7 примерно. Соседская лошадь везла кое-какую нашу рухлядь, самых маленьких – Шуру, Николая и Георгия – посадили на телегу. Я был старший, шёл рядом с сестрой и матерью, по дороге собирал обёртки от конфет. Так как у штанов не было карманов, грязные бумажки с картинками складывал за пазуху. От этих бумажек весь живот был грязный, руки тоже. Когда я собирал бумажки от конфет, на меня все прохожие обращали внимание, а я трусцой бежал за телегой. Мимо нас проезжали трамваи, стуча звонками, как железкой по чугуну, тогда были такие звонки.

Асфальта почти не было, были кругом мостовые, вымощенные булыжником. Наша лошадь везла нас по мостовой, телега так гремела и трясла, что мозги от этого болели, дети просились идти с нами пешком. Обгоняли нас фаэтоны. Как кареты, они были на рессорах, меньше гремели, возили пассажиров кому куда надо, так что от вокзала ехала целая вереница лошадей. Улица Ленина (Московская) от вокзала была загажена лошадиным навозом, наверное, улица убиралась один раз в сутки. Мы доехали до Ильинской (Чапаева) улицы и поехали по ней сначала вниз, затем стали подниматься в гору, повернули на Пристанскую, где был наш дом.

Заехали во двор, стали разгружать вещи, продукты, которые мы привезли с собой. Пока разгружали, я заснул, прижавшись к стене дома. Меня разбудила Елизавета, завела в дом, полы к нашему приезду были чистые, кругом всё пусто – ни стола, ни скамеек. Мать наварила картошки, в это время приехал отец с работы, принёс от соседей большую скамейку, поставили её у окон, стали ужинать и обедать – всё заодно. Елизавета принесла вязанку сена, расстелила на полу, уложила всех нас спать, накрыла стёганым одеялом, из которого торчала вата, и дерюгой. Вот такое начало жизни в Саратове мы испытали.

Мне исполнилось 8 лет, но меня в школу мать не пустила, у меня не было что одеть и обуть. Наш сосед моего возраста пошёл в школу, на уроке учеников спросили, кого они знают из ребят, кто не ходит в школу, передайте им, чтобы они шли в школу. Тогда мальчик из школы пришёл прямо к нам, передал матери, чтобы Миша шёл с ним завтра в школу. Мать ему ответила: «Скажи, сыночек, учительнице, что ему не в чем идти в школу, а скоро холода пойдут». На другой день мальчик пришёл в школу и сказал учительнице, что мне не в чем ходить в школу. Потом к нам пришла комиссия из школы, посмотрели, как мы живём, через несколько дней принесли мне из школы ботинки и пальто. Потом мать мне сшила рубашку из старья, повела меня записывать в школу. Показали мне класс и место на парте, где я должен сидеть. На следующий день мне соседский мальчик дал тетрадь, карандаш и мы пошли с ним в школу.

Ростом я был большой, таких, как я, было несколько ребят. Сразу отличишь городских от деревенских ребят, городские были лучше одеты, с магазинными ранцами. Деревенские хуже одеты, большинство в шубах, самодельные сумки и ранцы. Раздался звонок, все сели на свои места, а меня на своё место не сажают, потому что я был третий, было тесно за партой втроём. Заходит учительница, все встали, а я стою в сторонке у парты. Подходит ко мне учительница, спрашивает меня, почему я не сижу на своём месте. Ребята крикнули все хором: «Его не пускают». Тогда она взяла меня за руку, подвела к парте, ребятам сказала, чтобы они подвинулись, а мне сказала: садись, и здесь будешь пока сидеть. Потом поздоровалась с ребятами и велела всем сесть.

Начался для меня первый урок. Ребят и девчат вызывали к доске писать слова, а я ещё и буквы не все знал. Следующий урок был чтение, ребята уже читали по слогам несложные предложения. После последнего урока учительница оставила меня одного, всё расспрашивала, умею ли я чи-

тать, знаю ли я все буквы. Вместо ответа я заплакал, я не знал, что ответить. Я подумал, если я отвечу, что не умею писать и читать, мне скажут, чтобы я не ходил в школу, но так как я заплакал, учительница мне сказала: «Иди домой и учись писать и читать».

Когда я вышел из класса, меня ожидал мой сосед и ещё двое ребят не из нашего класса, но рядом живут. Они меня стали расспрашивать, почему я плачу, но я им ничего не сказал. До дома было примерно два километра, и мы вчетвером быстро зашагали домой. Пришёл я домой, меня встретили во дворе братья, у меня была сумочка из мешка, они её схватили и бегом в дом и хором кричат: «Мама, Минька из школы пришёл». Она меня накормила одного, все малыши уже пообедали. После обеда я пошёл к своему товарищу. У него были младшие братья, которые ещё не учились. Старшая его сестра уже работала на кирпичном заводе. Вот он меня спрашивает, ты уроки выучил, я ему ответил, не умею учить. Он сказал, вот придёт Маруся, мы с ней будем учить. А у меня все неграмотные, мне и помочь было некому. Только Дмитрий учился одну зиму и бросил.

Когда Дмитрий приехал в Саратов, ему было 15 лет, он со своим товарищем, который был на один год его старше, поехали устраиваться на завод им. Ленина. Товарища приняли, а Дмитрию не хватало одного года, тогда по рекомендации товарища они исправили метрики и его тоже приняли на работу. И вот у нас в семье уже стало двое рабочих, а через некоторое время устроилась работать в столовую ученицей повара Дуся за 10 км от Саратова, где строился аэродром Дубки. В основном обеспечивал семью отец, работал тяжело с раннего утра до позднего вечера и без выходных. Приезжал домой, мать помогала ему распрячь лошадь, приготовить корм для лошади. Накормит отца, и он валился с ног как убитый от усталости.

Двор у нас был большой, обнесён забором со всех трёх сторон, в одном углу двора у нас была сложено в копну сено, за забором была тропа на другую улицу. Вот кто-то из прохожих бросил окурок в сено, и оно загорелось. В это время я с товарищем ушёл в магазин за карандашами, и вот когда мы вернулись домой, а в нашем дворе полно народу и пожарные лошади с бочками воды. Я увидел, что сгорело сено, и чудом спасли наш дом. Перепугался, и меня схватили взрослые, многих я не знал, и привели в дом, стали спрашивать, зачем я зажёг сено, и кто со мной был ещё. А я знать не знал, потом приехал отец с работы, узнал всю историю и всё свалили на меня. Но мне веры не было, отец взял вожжи и отпорол меня по всем правилам, ни за что ни про что.

Не прошло и года, нам из деревни прислали налог. Мы не живём в деревне, а на отца налагают налог. Жалобу давать по этому вопросу было некому. Налог платить нам было нечем, да и не за что. Прошёл месяц, к нам утром рано приходит участковый милиционер. Вся детвора спала на полу, на сене, как снопы подряд, одеты кто одеялом, кто дерюгой. Милиционер открыл дверь и увидел всю нашу детвору, лежащую на полу. В это время отец уже уехал на работу. У нас стоял один стол и длинная скамейка. За этим столом мы питались, учили уроки. На столе стояла лампа с разбитым стеклом.

Милиционер сел за стол и стал расспрашивать мать. Мать отвечала на вопросы, потом сказала, что в деревне остался дом забитый, вот пусть его забирают за налог. Милиционер написал акт и велел расписаться матери, она ответила: «Я неграмотная, расписываться не могу». Тогда он послал мать за соседями, мы все дали такого ревака, что милиционер вышел из дома на улицу. Пришёл сосед, он ему прочитал бумагу, сосед расписался, и милиционер ушёл и больше не приходил.

Вечером приехал отец, с работы пришли Дуся и Дмитрий. Мать со слезами стала им всё рассказывать, что спрашивал милиционер, после рассказа сказала отцу: поедем обратно в деревню, тебя могут посадить в тюрьму, что я буду делать с этой детворой? Долго у них шёл шумный разговор об отъезде в деревню, но постепенно стали обживаться, привыкать. Мы с Георгием стали ходить в школу. Дмитрий и Дуся стали приносить зарплату, прибавка к отцовой.

Отец работал частным путём, приезжал утром на биржу к определённому времени, когда все извозчики трясли жребий, кому ехать первому, второму и так далее. Приходили на биржу клиенты и нанимали извозчиков. Платили за работу наличными каждый день, за сколько договоришься, так что заработанные деньги отец привозил каждый день, сколько заработает.

Постепенно жизнь стала улучшаться. Мать стала покупать нам обновы для школы, старшим – Дусе и Дмитрию – подороже, так как они уже были взрослые по росту, а по годам молоденькие, но

уже работали. Купили деревянную кровать, другую привезли знакомые из деревни. Отгородили спальню за печкой. В передней спали Дуся и маленькая Шура. На печке спали Георгий и Николай, а мы с Дмитрием – на полу на сене. Хлеб мать пекла из муки в печке в неделю два раза, а печку топили каждый день, готовили сразу на целый день. Щи, картошку или пшённую кашу ели с подсолнечным маслом без сахара. На зиму отец покупал подешевле бычка, резал его, засаливал в кадушке на всю зиму. Муку покупали на базаре пудами.

В 1932 году, осенью, отец уехал в колхоз на уборку урожая и с ним ещё 10 извозчиков. Договорились работать за рожь и просо. Работал он до самой зимы, заработал много хлеба и проса. А в зиму началась карточная система, вернее голодовка 1933 года. На рабочего давали 500 г хлеба, на детей и иждивенцев – по 300 г, никаких круп и жиров не было. По карточкам хлеб продавали в магазинах, а иногда по несколько дней не привозили ничего. Люди стояли в очередях по нескольку дней, умирали голодные у магазинов. На базаре буханка хлеба стоила 50 рублей, по тогдашним ценам за эти деньги купишь два мужских костюма. Появились банды грабителей, которые грабили, убивали за булку хлеба. Отец купил ружьё, чтобы не ограбили. В соседях зарезали лошадь прямо в конюшне, так как у лошади ноги были заперты на цепях, её угнать было невозможно. Бандиты заперли хозяина в дому, а лошадь зарезали и увезли, ноги на цепях оставили хозяину. Была милиция, посмотрели, записали и ушли; жителям сказали – будут лезть в дом или сарай – убивайте на месте, отвечать не будете.

В мае 1933 года начался сплошной голод, что было запасено на зиму, всё подъели. Народ умирал с голоду на улицах, в домах. Однажды ночью, часа в два, подошли бандиты к нашему дому и стали пробовать запоры. У нас всё было заперто двойными запорами. Дмитрий сидел на чердаке с ружьём. Банда стала отрывать доски от конюшни, у которой был вход в дом. Когда оторвали доску, Дмитрий выстрелил с чердака, за ним стали стрелять соседи, выбегли все на улицу кто с чем, у кого вилы, у кого лом. Вся банда разбежалась, народ не уходил с улицы до утра, банда не появилась. В банде была местная молодежь, которая всех знала, кто как живёт, кто чем богат.

Однажды на биржу пришёл милиционер за лошадьми везти груз, досталось ехать моему отцу и ещё двоим. Приехали в дальний Затон и стали вытаскивать из домов мертвецов. Наложили три телеги, закрыли тряпьём и повезли на кладбище. Милиционер от них ушёл и велел им везти одним. По дороге они купили вина и напились пьяными, лошади развезли хозяев по своим домам. Лошадь привезла всех мертвецов домой, была уже ночь. Мать встретила лошадь у ворот, распрягла, отец спал на телеге на лохмотьях и мертвецах. Утром чуть свет мать разбудила отца, он запряг лошадь и погнал по мостовой на кладбище, по дороге потерял труп. После кладбища поехал на Волгу мыть телегу, которую мыл целый день, и от неё всё пахло трупами.

Так голодовка продолжалась до осени 1933 года, затем открылась торговля коммерческим хлебом, некоторые голодающие покупали хлеб и объедались, умирали от переедания. Несмотря на то, что у нас была большая семья, мы голода не испытывали, это благодаря нашему неграмотному отцу, который, мне думается, определял всё наперёд, что будет.

В конце 1933 года голода уже не было. Мы продали свой маленький домик сестре матери, которая со своей семьёй жила под Москвой. Купили на этой же улице большой дом с садом и полуподвальным помещением, где была конюшня для лошади. Жить стало легче, и жить мы стали лучше. Стали покупать вещи и одежду для старших и младших. У отца с матерью была одежда ещё смолоду, да некогда было носить, всё время были заняты работой. За всю свою долгую жизнь мать моя один раз ходила со мной в кино, помню, шла картина «Федька», а отец не был ни разу. Он ходил в цирк, один раз, так как он участвовал в строительстве цирка, ему дали два билета бесплатно, вот они с матерью посетили цирк, один раз за свою жизнь, так как на это не хватало времени.

В 1934 году родилась у нас ещё Валентина, она была последняя, и нам как многодетной семье давали государственное пособие. Разрыв от старшей до младшей – 24 года. В моей памяти осталось, когда мать собралась рожать, ушла к дочери Лизе домой, они жили от нас через несколько домов. Матери было уже 45 лет, мне было 13 лет , и вот когда мать принесла домой Валю, я ей со злобой

сказал: зачем ты её принесла, что, тебе нас мало? Она посмотрела на меня и заплакала. «Вырастешь большой, сыночек, всё поймёшь». Мне её стало жалко, я тоже заплакал и вышел из дома.

В школе я учился кое-как, за мной некому было следить, учился по желанию, захочу хорошо, то вытяну на хорошо. Мои любимые предметы – это математика, история и география, остальные как-нибудь. Отличников младших братьев и сестёр не было, подталкивать на хорошую учёбу было некому, все неграмотные. Когда учился в 6-7 классе, пропускал уроки, вместо школы ходил с такими же ребятами, как я, ловить птичек за город. К хорошим товарищам меня не тянуло, а тянуло к самым хулиганам.

Во время летних каникул играли в клёк и козны, так называли мослы от коровьих ног. Покрасим их краской или чернилами фиолетовыми. Во время игры кто проиграет эти козны, если у него есть деньги, то покупает костяшки и снова играет с утра до вечера. Кушали на ходу, кусок чёрного хлеба, игра эта азартная. Клёк – это отпиленная от палки 10-сантиметровая чурка. Чурка ставится внутрь квадрата размером примерно 70 сантиметров. Сколько игроков, столько и палок. Примерно пять игроков с палками, а один без палки стоит у клёка – вадит. Вот игроки с палками бьют по клёку, он летит, вадильщик бежит за клёком, игрок – за палкой. Кто первый добежит до черты, тот снова может продолжать игру, кто отстанет, тот вадит у клёка. Бывало, заваживали до слёз, тогда на этом заканчивали игру. Причём играли все босиком, в обуви родители играть не разрешали. Обувь была дорогая, любых ботинок хватало на две недели от силы. Приходили домой, ноги были грязные до цыпок, если мать не заметит, ложились спать с грязными ногами. За день так набегаешься, поужинаешь и валишься с ног, как убитый, за всю ночь ни разу не проснёшься.

А тут ещё мать с отцом купили корову, стали у нас лошадь и корова. Отец стал меня приучать к хозяйству, чистить навоз из конюшни, воду носить из колонки для еды и стирки. Был у нас во дворе колодец, из него поили только скот и поливали огород, для стирки вода не годилась.

В 1935 году решением горисполкома Пристанская улица подлежала сносу [1]. Всех предупредили, что где найдётся место, туда перевозите свои дома и стройтесь. Нам, как помню, заплатили две тысячи рублей за сад, сарай и дом. На нашем месте стали строить городской фильтр. Место нам отвели на овраге, на Вольской улице. Нам это место понравилось, но с гор как уезжали, все плакали, так как привыкли к соседям и нашим товарищам.

Отец нанял плотников, которые разобрали дом. Дмитрий с отцом перевезли дом на Вольскую улицу, на овраг, где было место на 4 дома. За лето был построен такой же дом, как на старом месте. Меня перевели в другую школу по месту жительства. В классе я был самый большой, но не самый хулиган, были такие, которых исключали из школы и переводили в спецшколу, где все были такие же. На новом месте меня встретили новые товарищи из Узенького переулка, они приходили на овраг и ждали, когда мы с Володей Ивановым приходили из школы, чтобы с нами познакомиться. Мы с Володей берём вёдра и идём за водой, чтобы сделать разведку, кто там пришёл на встречу. Если видим, что пришло много ребят, мы не выходим, ждём, когда разойдутся.

Постепенно знакомились, стали играть в мяч или чижик, это была интересная детская игра. Футбол мы узнали позже, и мне приходилось играть только в школе, когда учитель физкультуры приобрёл футбольный мяч и стал на уроке физкультуры обучать нас правилам игры в футбол, а как кончался урок, учитель забирал мяч и уносил с собой в учительскую. После уроков делали самодельный мяч из старой шапки, набитой тряпками, и гоняли его по двору. Из школы приходил грязный, когда мать меня спрашивала, где я так извозился в грязи, я отвечал, что на уроке физкультуры играл в футбол. Мать ещё не представляла, что такое футбол, а когда узнала, то крепко предупредила: если порвёшь ботинки или штаны, будешь ходить в рваных штанах и ботинках.

Старший брат Дмитрий уволился с завода и стал работать на лошади вместо отца. Отец стал носить на базар молоко, а мать продавала по базарной цене. Мать разносила молоко и по домам,

---

[1] *Выселение происходило в 1934 г. «Правда Саратовского края» писала 1 января 1935 г.: «На 98 процентов закончены работы по освоению новой фильтровальной станции городского водопровода».*

кто заказывал, на дом разносили подороже. Мать пораньше побыстрее разнесёт молоко и за домашние дела принималась, а дел было непочатый край, я просто не знаю, когда только она могла отдохнуть.

Сестра Дуся стала уже невестой, мать стала готовить ей получше одежду, обувь. Дмитрий тоже стал парнем, тоже требования прибавились. А с одеждой было очень плохо, в магазинах ничего не было, привезут какой-либо материал или одежду, надо занимать очередь на ночь. Всю ночь стояли в очереди, то пересчёт, то проверка, то милиция разгонит. Всех забирали в милицию, штрафовали, были случаи, когда наловят из очереди человек 15-20, увезут за город, высадят с машины и иди пешком за 15 км. Пока придёшь к очереди, магазин уже открыт и всё продано. Нам с Дмитрием часто приходилось ходить в очереди на ночь. Иногда покупали вещи у спекулянтов, которые доставали их в магазине и тут же продавали дороже. Магазинные товары спекулянты с барышом продавали и на базаре.

Очень плохо обстояло дело с промтоварами, а с продуктами питания стало получше, в продуктовых магазинах стали продавать крупы, сахар, конфеты. Мясо было только на базаре у частников. Мать покупала мясо подешевле или сало. Наварит щей, нажарит сало, заправит картошку салом, а мы не брезговали ничем, ели всё подряд, зимой – щи, картошка с кислой капустой, и мы, младшие, думали, лучше ничего не бывает. Летом – суп картофельный или лапша своего изготовления.

В свою очередь враги мира нарушали наш покой. В 1936 году, как я помню, война на озере Хасан на Дальнем Востоке, в 1937 году – война в Испании. Хотя она не касалась России, но наше государство помогало Испании техникой, продовольствием, добровольцами, хотя и сами испытывали трудности в продовольствии. У испанских берегов были потоплены два советских корабля с продовольствием, так писали наши газеты. Стали прибывать в СССР пароходы с испанскими детьми-сиротами, у которых родители погибли на испанском фронте или от бомбёжки.



Решетников Петр Иванович и сыновья Михаил, Георгий и Николай (1939-1940)

В 1940 году война с Финляндией. В Саратове были сформированы добровольные лыжные батальоны. В Саратов, в госпитали поступали раненые и обмороженные командиры и красноармейцы, так в то время называли солдат. Война была короткой, но сразу всё пропало, хлеб продавали по карточкам, крупу, сахар тоже. В это время я, не закончив 8 класс, пошёл работать на завод «Универсал»[1] учеником слесаря. Дмитрий был взят на финский фронт вместе с автомашиной. Мы все за него переживали, письма он писал редко, но утешительные. Писал, что подвозит снаряды к фронту, пуль и снарядов финнов не слышит, от передовых позиций далеко. В газетах писали о продвижении наших войск на территории Финляндии. До октябрьской революции Финляндия входила в состав России. Во время революции Финляндия откололась от России и стала самостоятельной, также откололись Литва, Латвия и Эстония. Вот СССР почувствовав силу, стал обратно присоединять все те республики, которые откололись во время революции.

Вот эта доля освобождения коснулась Дмитрия, его по окончании боёв в Финляндии перебросили в Молдавию, которой владела Румыния. СССР предупредил Румынию, чтобы отвела свои войска. Румыния вывела свои войска из Молдавии без боёв. Так закончилось объединение потерянных во время октябрьской революции территорий.

В этом же году, когда немцы стали оккупировать Польшу, СССР подал руку помощи Украине и Белоруссии. Закончилась вся эпопея объединения, только тогда Дмитрий демобилизовался из армии, немного погулял и поступил работать шофёром на завод «Комбайн». В это время у нас лошади не было, была одна корова, этим хозяйством занимались отец и мать. Георгий тоже стал работать на заводе «Комбайн». Этот завод уже стал выпускать военные истребители Яковлева. Георгий работал на сборке самолётов слесарем-сборщиком.

Я уже стал ходить зимой на домашние вечера, на которые нас приглашали девчата в моём возрасте. Танцевали на домашних вечерах под двухрядную гармошку, гармонист был мой товарищ Саша-татарин. Он был очень весёлый парень, хорошо плясал и танцевал, всегда был заводилой и умел постоять за своих товарищей. Был у нас с ним такой случай: мы познакомились с девчатами, одна с Чапаевской, другая – с Симбирской. Они были подругами по школе, учились в 10-м классе. Вот ребята из их класса встретили нас в садике Чернышевского у театра. Ребят было двое и нас было двое, подходят к нам и говорят: бежите отсюда, а на девчат сказали: вы оставайтесь с нами. Девчата в ответ: «Вы, что, нас купили? Этого не бывать». Они начали бить девчат ладошками по щекам, тогда мы не выдержали и схватились с этими ребятами, девчата нам помогали, царапали им глаза. Мы поддавали кулаками, попало им, как миленьким. Нас окружили прохожие по садику, кричали милицию. Это было летним вечером, девчат наших и одного парня забрали в милицию, мы с Сашей убежали, погони за нами не было. В милиции девчат допросили и отпустили домой, парня отпустили позже. Конечно, они в школе встретились, угрожали девчатам, девчата им угрожали милицией. Стычек больше не было. Однажды мы собрались в кино с этими девчатами, посмотрели фильм, как помню, «Дубровский», выходим из кино, а нас у выхода встречают родители девчат. Схватили их за руки и потащили от нас, приговаривая: «Вот вы как учитесь».

Настало время идти мне и моим товарищам в армию, проходили комиссию, приписывали, кто куда зачислен. Борису Степачёву назавтра сказали прийти с вещами, он оповестил своих товарищей, устроил вечер проводов. Пригласил своих товарищей, девчат, которых знал. Выпили вина, как полагается, танцевали, плясали до утра. Утром в военкомат, а затем на товарную станцию, посадили в телячий вагон и до свидания, в Монголию.

Затем проводил соседа Володю Иванова. На вечёрке у Бориса я познакомился с Хоревой Надей, с ней гулял до самой армии. Меня несколько раз уже вызывали в райвоенкомат, но оставляли до следующего вызова. Надя мне нравилась, в любви она мне не признавалась, да и как мне признаваться, когда она знала, что меня вот-вот заберут в армию? Надя была моложе меня на два года, училась на первом курсу госуниверситета. Встречались с ней по субботам и воскресеньям, мне это не нравилось, хотелось встречаться каждый вечер, вот я это и делал без неё.

[1] *Правильно «Универсаль». Ныне агрегатный завод на углу ул. Университетской и Вавилова.*

В 1941 году, 10 марта, вызывают меня в райвоенкомат, а призыв мой в армию был только осенью. В чём дело, я в недоумении, пришёл к начальнику, он взял мою повестку, даёт мне другую и говорит: «Желаешь летать?» Я ответил: «Желаю». – «Мы тебя берём 15 марта в Энгельсское авиационное училище». Я очень обрадовался, что рядом с домом. Пришёл домой, сказал матери, а вечером мать объявила всей семье и родным, что 15-го меня забирают в армию.

12 марта я получил расчёт с завода, мастер пожелал счастливо отслужить, отдать долг Родине. 14 марта я сделал вечеринку с вином и пивом, собрались товарищи, девчата, родные, гуляли всю ночь. Надя со своей подругой плакали, по какой причине, я спрашивал, ответа не последовало. Утром мать с отцом благословили, мать плакала, я ей говорил, здесь рядом, в любое время можно приехать, товарищей ведь – на Дальний Восток и на западную границу.

Из дома в военкомат провожали с гармошкой, пели всю дорогу. Кировский военкомат находился на улице Ленина (Московская), где и сейчас находится. В военкомате построили и повели строем по улицам Ленина и Чапаева, посадили на трамвай, доехали до Волги, там простился я со своими братьями, которые вместе с товарищами и девчатами пожелали мне счастливой службы. Надю я спросил – будешь ждать меня, она ответила, надо ещё прожить это 4 года, да и папа мне сказал: война будет. Простились мы с ней, постояли немного, помахали друг другу рукой.



Решетников Михаил Петрович (1941)

Пошли через Волгу по льду пешком. Волга была широкая, мелководная, автомоста не было, троллейбусов в Саратове не было, троллейбусного завода в Энгельсе тоже не было. Пришли мы, а нас было 150 человек, в Энгельсское авиационное училище, нас завели в казарму, где было тепло и пусто. Старшина построил нас, пересчитал и велел следовать за ним. Привёл нас к куче соломы,

дал матрацы и велел набивать их соломой и нести в казарму. Потом принесли со склада кровати, стали их устанавливать, после заняли каждый свою. Я успел познакомиться с Кащеевым Михаилом, жил он у вокзала, койки заняли рядом. У нас была на сутки еда, поужинали мясным – и спать, другие стали допивать водку, у кого осталась недопита. Пришёл старшина, у кого стояли бутылки – отобрал, приказал всем спать.

Утром к нам в карантин пришёл писарь, переписал наши фамилии и откуда прибыли, он сказал нам: «Вы пробудете в карантине пять дней, вас распределят по взводам, затем получите обмундирование и вы – курсанты училища». Эти пять дней мы сидели, как в тюрьме, нас никуда не выпускали, в столовую строем и обратно на боковую спать. За эти пять дней нам ещё добавили казахов из Казахстана, все они были грамотные, хорошо говорили по-русски.

Прошло пять дней, нас повели в баню, одели нас в военную форму. С этого дня мы стали военными. Наступила непривычная для нас дисциплина, нас распределили по взводам, отделениям, указали наши койки, где мы должны спать. Койки стояли в линейку, одна к одной с проходом у каждой койки, тумбочка и табуретка. Предупредили, чтобы в тумбочке ничего не было из еды, тумбочки были для учебников и тетрадей. Чернильница, ручка на нижней полке, было место для мыла и зубного порошка.

Утром следующего дня нам объявили подъём в 6 часов утра. Командир нашего взвода, лейтенант, был уже у наших коек и торопил каждого из нас – быстро одевайтесь и в строй. На подъём положено 5 минут, за это время я должен одеться, обуться и встать в строй без ремня. Вышли на улицу и бегом по асфальту один километр, сделали остановку на площади, встали на вытянутые руки, началась гимнастика. Затем турник и прыжки через козла, всего 45 минут. У меня ничего не получалось ни на турнике, ни на козле. Меня лейтенант взял на заметку, и таких оказалось больше половины, мы все были записаны в журнал.

После гимнастики – туалет и завтрак. На завтрак повели строем и с песней, которую выучили за один вечер до отбоя. Кормили хорошо, большинство из нас так дома не питались, а поправляться с этого питания не было возможности. С 6 часов утра и до 23 часов вечера одни мучения, первые дни особенно. Строевая подготовка два часа, остальные часы занятия, кроме одного часа отдыха после обеда. Он назывался мёртвый час, все должны спать, а кто шушукается с соседом и заметит дежурный, так получишь наряд вне очереди.

Это у нас было – как всем отбой, а штрафники занимаются уборкой полов, туалета и у казармы. Как всё задание выполнишь, а на это уходило часа три или четыре, после чего ты имеешь право ложиться спать, а наравне со всеми подъём. Так что получил наряд вне очереди, спать приходилось меньше. Если на занятиях будешь дремать, командир поставит по стойке смирно на целый час и вся дремота исчезнет. Мне были назначены дополнительные занятия по физкультуре – это турник и козёл, кроме этого, надо было готовиться к занятиям на завтра, так что у меня не хватало времени написать домой письмо. Наступило воскресенье, гимнастики не было, подъём в 8 утра, туалет и завтрак. И вот только в воскресенье у меня нашлось немного времени написать домой письмо и дать свой воинский адрес.

Меня учили на стрелка-радиста, караулить хвост самолёта от противника и передавать на землю обстановку полёта. Занятия у меня по азбуке Морзе были никуда не годные, никак не мог освоить на слух ни буквы, ни цифры. Ещё дополнительно заставляли заниматься по азбуке Морзе, и всё равно дела по Морзе были никудышные. Только одно у меня было отлично – стрельба из спаренного пулемёта по мишеням. Самолёт был привязан на канатах, его раскачивали, как качели, и когда самолёт идёт вниз, я должен стрелять по мишеням. Вот за неуспеваемость по Морзе меня вызвал замначальника училища по политической части. Всё меня расспрашивал и сказал мне: «Лентяй, идите в класс, тренируйтесь, пока не научитесь принимать 40 букв в минуту».

В один из воскресных дней ко мне приехали из Саратова ребята и девчата с гармошкой. Позвонили дежурному по эскадрильи из пропускного пункта, что ко мне приехали брат и сестра. Я доложил старшине эскадрильи, он мне дал увольнение на 2 часа, а мне сказал: «Будешь хорошо учиться, дам на 12 часов». Встретились у контрольной проходной, поздоровались, они меня не

узнали в военной форме, длинный, сухощавый, пострижен наголо, зато форма была лётчика-курсанта. Раньше меня на улице оказался курсант Белов из другой группы, вот он и объяснил Наде и её подруге, что меня скоро выгонят из училища в пехоту. «Вон казарма пехоты, туда и будете приезжать». Они ему ответили: «Вот и хорошо, у них нет забора из проволоки, и они служат два года». Эти слова его они мне передали, а я ребятам и девчатам сказал в шутку: «Скоро буду дома, так как признают тупым по азбуке Морзе».

Время шло, приближался праздник 1 Мая, началась усиленная подготовка к параду и демонстрации, строевая подготовка, всевозможные кроссы, соревнования по бегу, стрельбе и, конечно, классные занятия – устранение неисправности пулемёта ШКАС. Утро 1 мая 1941 года было холодное, мы, курсанты училища, пошли на парад в летней форме в гимнастёрках. На городской площади г. Энгельса, куда мы прибыли, держал речь секретарь горкома, примерно около часа. Мы не слушали, а дрожали, ожидали, когда нам скомандуют «шагом марш», а когда скомандовали, мы прошли мимо трибуны. Прошли примерно километр, а затем послышалась команда «бегом марш», через полчаса мы были уже у военного городка и в казарме отдышались, обогрелись.

После обеда, кто заслужил, отпустили в городской отпуск на несколько часов. Меня, конечно, не отпустили, у меня была задолженность по морзянке, командир взвода сказал: «Иди в класс и занимайся». Пошёл в спецкласс, где были установлены ключи, наушники, нас было в классе 10 человек, таких, как я. От азбуки пи-пи-пи у меня заболела голова, я бросил наушники и ключ, сел на окно, откуда был виден в вечернее время весь Саратов. В голову лезли всякие небылицы, которым сбыться не было возможности, вокруг городка была колючая проволока и сторожевые вышки, так что курсанты и не думали о самоволке.

Был в городке хороший клуб, или ДКА[1]. В наш ДКА тоже надо увольнительную, ходили патрули, проверяли увольнительные. В городок приходили девчата, которые работали как вольнонаёмные в столовой, прачечной и других местах. В ДКА демонстрировали кинофильмы, был танцевальный зал. В этом зале танцевали и знакомились, а толку от этого знакомства – никакого. Курсантов не каждое воскресенье пускали в увольнение, а примерно в месяц один раз и тому, кто заслуживал.

Примерно в середине мая меня отчислили из курсантов за неуспеваемость по азбуке Морзе. Это объявили на утренней линейке. После завтрака пришёл за мной старшина, взял передаточную ведомость и меня. Пришёл в другую казарму, где было примерно 15 коек. Старшина мне сказал: «Будешь сегодня дневальным по комнате». Примерно в 16 часов стали приходить с аэродрома мотористы, оружейники, все уже по третьему году службы. Против них я был зелёный, мне не было и двадцати лет. Вся комната моя ушла на ужин, а я остался, пришёл один сержант и послал меня в столовую.

Пришёл в казарму, все авиаспециалисты были в сборе. Меня окружили, стали расспрашивать, кто я, откуда, какими судьбами попал к ним. Я, конечно, им всё рассказал. На следующий день нас построил старшина и повёл на аэродром, конечно после зарядки и завтрака. Нас подвели к линейке самолётов в количестве 12 штук. Нас встретил инженер эскадрильи. Техник показал мне, что делать – чистить кабины штурмана и пилота от грязи и пыли. Эту работу я выполнял, в то же время осматривал все приборы управления самолёта. Самолёт марки СБ или скоростной бомбардировщик, трёхместный, скорость которого не превышала 260 км в час, дюралевый, клёпаный. На следующий день техник заставил меня чистить кабину стрелка-радиста, она мне уже была знакома. Кабина расположена в хвосте самолёта, в ней установлена вращающаяся турель, её можно повернуть в любую сторону для защиты от истребителей, с какой бы стороны они не атаковали самолёт.

Однажды подзывает меня инженер и говорит: «С сегодняшнего дня ты будешь учитывать бензин данной эскадрильи». Жизнь у меня пошла хорошая, сам себе хозяин, никому не подчинялся, кроме инженера, а его я видел только утром. У меня была машина-бензовоз, на которой я

[1] *Дом офицеров Красной Армии при Энгельсской военной авиационной школе.*

подвозил бензин к каждому самолёту, записывал, сколько бензина взял каждый самолёт, техник расписывался за бензин. В 16 часов я сдавал отчёт в штаб. На этом моя работа была окончена, и я был свободен. В город, конечно, выходить не разрешалось, увольнительную давали только в воскресенье.

В одно из воскресений мне дали увольнительную с 10 часов утра до 19 часов вечера по городу Энгельсу. До центра от городка полчаса ходьбы, пришёл на берег, где была пристань-переправа в Саратов, долго сидел на берегу и думал, как уехать домой, а увольнительная была в Энгельс. Подошёл пароход, я взял билет до Саратова, взошёл по трапу на борт, направился вниз, народу было много, воскресный день. До Саратова было 30 минут хода, я решил выйти на палубу, а мне навстречу – мой инженер с женой, тоже ехали в Саратов. Он меня позвал пальцем к себе, спросил, куда у меня увольнительная, и спросил, почему я еду в Саратов. Я ответил, что решил просто покататься по Волге. «Только смотри не попади в Саратов, заберут патрули, плохо будет». Я ответил: «Этого не будет», и вся моя затея полетела прахом. И это была моя последняя увольнительная, которая не увенчалась успехом.

В воскресенье 22 июня нам объявила войну Германия. В это время мы играли в волейбол на площадке, где был закреплён громкоговоритель. Нами была внимательно выслушана речь т. Молотова, которая призывала к защите Родины. На все учебные самолёты по тревоге стали устанавливать пулемёты и бомбодержатели, по всем дорогам установили контрольные посты. На третий день войны была задержана легковая машина с пулемётами и винтовками. Куда они были предназначены, я узнал много позже. Готовилось восстание республики немцев Поволжья, которое было вовремя пресечено, впоследствии всю республику немцев Поволжья выселили в Сибирь. Мы, красноармейцы, так называли нас в ту пору, думали, что война продлится недолго, а между тем наши войска отступали на всех направлениях, оставляли город за городом, некоторые думали – это тактика наших войск. В первых числах июля выступил с призывом к народу глава нашего государства т. Сталин И.В. Из этой речи стало ясно, что война будет долгая и решительная до полной победы. В печати писали, что немецкие самолёты бомбили Воронеж, были полёты на Москву.

Утром 6 июля по боевой тревоге меня и ещё несколько человек вызвал старшина и направил к капитану. Он записал нас, дал команду выдать оружие и продовольственный паёк на одни сутки. В 12:00 мы, примерно человек 50, сели на пароход, переплыли Волгу и направились на железнодорожный вокзал. От Волги до вокзала ехали трамваем по улице Ленина, в то время по ней ходили трамваи. По пути я стоял в дверях вагона, и мне хотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, чтобы передать родителям, что меня отправляют неизвестно куда. Вся наша команда тоже не знали, это было секретно.

Чтобы выпрыгнуть из трамвая с оружием и бежать домой – это сочтут дезертирством. Хотел передать кому-нибудь винтовку, пока сбегаю домой, никто её не брал, все боялись наказания. У вокзала капитан нам сказал, что два часа будем ждать посадки на поезд, и тут я увидел знакомого парня. Я просил его передать моим родным, что нахожусь на пассажирском вокзале, ожидаю поезда. Он быстро сел на трамвай и ко мне домой.

Примерно через 30 минут приехали на вокзал мать и отец, сестры Шура, Дуся с сыном Геннадием, ему в то время было примерно 9 месяцев. Увидев меня, все плакали и спрашивали, куда отправляют. Я отвечал – не знаю, так оно и было, что я не знал. Мы с отцом подошли к буфету, и отец взял всем провожающим по кружке браги, выпили. А я выпил полкружки, больше не мог. Дали команду: по вагонам. У перрона стоял пассажирский поезд Саратов–Воронеж. Поезд тронулся, все мои родные плакали, может, больше не придётся увидеться, война – это не игрушка. Я тоже прослезился, но не из-за боязни, что убьют, а жаль расставаться на неопределённое время.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 апреля 2016 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.